две
ночи

SHOUT
SHARE
IT

- Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]
  -
  - И. Кузьмичев Об этой книге
    -
    - 1
    - 2
    - 3
  - Автобиографические заметки
    - Автобиография
    - Господин редактор, благодарю вас...
  - Из дневников и записных книжек
    - Из дневника 1949—1953 гг.[1]
    - Из дневника 1959—1966 гг.[4]
    - Абрамцево. Фенологический дневник. 1972 г.[5]
    - Из записной книжки 1981 г.[6]
  - Из повести "Две ночи" ("Разлучение душ")[7]
    -
    - Ночь первая
    - Арбат был завален обломками...
    - И уже пять лет...
    - Зависть[8]
    - Песни леса[9]
    - Пропасть
      - 1
      - 2
      - 3
  - Наброски рассказов
    - Вечерний звон
    - Ангел небесный
    - Молодой инженер-химик саша скачков волновался...
    - Нет, бывает все-таки счастье...
    - Девятый круг
    - Навсегда-навсегда
    - Чиф
    - Смерть, где жало твое?
    - Старый дом
      - 1
      - 2
    - Мне все помнится...[11]
    - В первый раз попал я в Печоры...[12]
    - Закарпатская проблема[13]

- «И все это два какие-то дни...»[14]
- Румынские впечатления[15]
- Четыре времени года (Ода Архангельску)[16]
- Мальчик из снежной ямы[17]

○ Статьи, интервью
- Северный волшебник слова[19]
- Вдохновенный певец природы[20]
- Щедрость души[21]
- Добрый талант[22]
- Песнь человеку и природе[23]
- Памяти Хемингуэя[24]
- Ответы на анкету журнала «вопросы литературы» (1962, № 9)[25]
- О Лермонтове[26]
- Предисловие к роману А. Нурпеисова «сумерки»[27]
- Несколько слов о В. Лихоносове[28]
- Рассказчик Олег Кибитов[29]
- О Владимире Солоухине[31]
- Выступление в книге «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме»[32]
- Не довольно ли?[33]
- О Бунине[34]
- Вилла Бельведер[35]
- Поедемте в Лопшеньгу[36]
- Ф. Поленов и его рассказы[37]
- Опыт, наблюдение, тон[38]
- «Вот и опять север...»[39]
- «Единственно родное слово»[40]
- Для чего литература и для чего я сам?[41]

• notes
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12
○ 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41

Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]

Сборник «Две ночи» — последняя, в сущности, новая книга Юрия Казакова — наряду с законченными произведениями включает наброски повести и рассказов, автобиографические и путевые заметки, выдержки из дневников и записных книжек, литературно-критические выступления писателя. Значительное место в книге занимают архивные публикации.

Юрий Казаков
Проза. Заметки. Наброски
Москва
«Современник»
1986
Серия: Новинки "Современника"

И. Кузьмичев Об этой книге

Юрий Казаков скончался в ноябре 1982 года.

Если вспомнить, что печататься он начал в 1952-м, его литературная деятельность укладывается в тридцать лет: он энергично заявил о себе во второй половине пятидесятых годов, наиболее активно выступал в шестидесятых, в семидесятых в его работе случались продолжительные паузы, однако его присутствие в литературе живо ощущалось и тогда, когда он подолгу ничего не публиковал.

Не публиковал — еще не значит не работал и не писал. Личный архив, которому в силу ряда обстоятельств нанесен непоправимый урон, тем не менее документально подтверждает, что у Казакова всегда было множество неосуществленных замыслов; он оставил изрядное количество набросков, отражающих богатство его творческих поисков; Казаковым написано множество писем — их еще предстоит собрать.

1

Сколько-нибудь последовательной автобиографии Казаков не написал. Не раз принимался за нее, но не доводил до конца. Между прочим, одна из причин здесь, может быть, та, что он считал свою биографию заурядной, ничем не примечательной. Он вообще придерживался той точки зрения, что жизнь, насыщенная экстраординарными событиями, вовсе не обязательна для писателя, и придавал большее значение «внутренней биографии». «Человек с богатой внутренней биографией, — заявлял Казаков, — может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок».

Среди биографических материалов, представленных в сборнике «Две ночи», — сведений, рассеянных по различным заметкам и интервью, двух биографических набросков — особое место занимают выдержки из юношеского дневника 1949—1953 годов, проливающего свет на важнейшую веху внутренней биографии Казакова — на тот начальный период духовного становления, когда решался основной для него вопрос: быть или не быть писателем, когда истинное призвание властно дало ему о себе знать.

Юрий Казаков родился в Москве в 1927 году и долго жил на Арбате, чем гордился. Он рос в малообеспеченной рабочей семье, домашнее воспитание никак не предвещало будущей страсти к писательству. Отрочество, выпавшее на годы войны, послевоенная юность — глухая, безрадостная полоса в его жизни, и единственным, что как-то скрашивало это «самое печальное», по его словам, время, была музыка. Казаков начал заниматься музыкой в пятнадцать лет, сперва учился игре на виолончели, потом на контрабасе, в 1946 году поступил в училище имени Гнесиных и, закончив его в 1951-м, стал профессиональным музыкантом.

Музыкальная одаренность, несомненно сослужила Казакову добрую службу, но занятия музыкой, как потом выяснилось, все-таки не принесли ему должного удовлетворения и, дав первую профессию, не слишком-то способствовали образованию и духовному возмужанию писателя. «Когда я занимался музыкой, — признавался Казаков впоследствии, — то главным считал не культуру музыканта, а технику, то есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо шесть — восемь часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше... Словом, мое

занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне...»

К тому же профессия оркестранта никак не гарантировала Казакову средств к существованию. Найти надежное место в Москве молодому музыканту тогда было нелегко, а Казакову, учитывая некоторые семейные обстоятельства, в особенности. Дневник 1949—1953 годов, со всей очевидностью подтверждающий, с какими трудностями, не только материальными, сталкивалась семья Казаковых в то время, полон отчаянных признаний на этот счет. Наивность и пылкость юного романтика, решившего посвятить себя искусству, сочетается в этом дневнике с настойчивостью трезво мыслящего человека, которому весьма дорого достается хлеб насущный. Суждения о литературе и музыке перемежаются здесь постоянными жалобами на отсутствие работы по специальности, на то, что с оркестрами сотрудничать случается эпизодически и потому вечерами приходится играть на танцверандах «все эти па-де-грасы», в поте лица «биться за жизнь, за деньги». Не попав, как он того хотел, в консерваторию, Казаков готов был взяться за что угодно: пытался устроиться грузчиком на кондитерскую фабрику, репортером в фотохронику ТАСС, подумывал о работе музыкантом на периферии. «Был слушок, — записывал он в ноябре 1952 года, — что нужны-де контрабасисты в Улан-Удэ. Вот это я понимаю! Места, что называется, «не столь отдаленные».

При таком явном житейском неблагополучии, о чем правдиво сказано в дневнике 1949—1953 годов, нельзя не удивляться той настойчивой тяге к писательству, какая проснулась в Казакове на грани сороковых — пятидесятых годов, и не радоваться той целеустремленности, какую проявил он в те годы вопреки всему. «Сегодня снова получил отрицательные отзывы о моей новой пьесе, — жаловался Казаков в дневнике в октябре 1951 года. — Снова и снова злоба и отчаяние охватывают меня... Но все равно я буду писать и напишу нечто очень яркое, свежее и талантливое. Пусть мне отказывают. Пусть! Но победа будет за мной...» Неудачи словно подстегивали самолюбие начинающего писателя, закаляли волю и прибавляли веры в свое призвание.

Дневник 1949—1953 годов свидетельствует: Казаков писал в то время любовные стихотворения в прозе и не чуждался стихов; сочинил, как он сам выразился, «небольшую по формату и скромную по таланту» пьесу на злобу дня, мыкался по редакциям, где ее и брать не брали, и отказывать не отказывали; пробовал писать очерки о природе и даже, как ни странно, рассказы «из американской жизни», — короче говоря, старался испытать себя в

разных жанрах и на различном материале.

Записи в этом дневнике подкупают искренней взволнованностью и трогательным простодушием, за ними чувствуется упорство, воля, серьезность целей, и вместе с тем — неловкость юноши, и еще — легкая поза, по-своему естественная: неумение верно соотнести свои литературные занятия с профессиональной литературной практикой. В записях налицо сомнения, если угодно, «технологического» порядка: «не знаю, как мне это удастся», «очень трудная штука повесть». Казаков удручен тем, что пишет медленно и тяжело, «по многу раз исправляя написанное». Но, несмотря на это, любит «ворошить слова и переделывать фразы», надеется, что литературным ремеслом в конце концов овладеет: «не все ведь сразу». Хуже, когда возникают кризисные ситуации психологического, что ли, характера, когда Казакову моментами кажется, что он «вовсе неспособный к этому делу человек, и когда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо». Но такие настроения он умел побеждать, заставлял себя писать «по плану», рисовал дальние перспективы.

В январе 1953 года Казаков попробовал подвести в дневнике итоги. «Почти четыре года прошло со времени, когда я начал эту тетрадь, — записывал он. — При моих темпах записей мне, вероятно, хватит ее надолго. Еще в 49 г. я мечтал о литературе, хотел быть писателем. Сегодня то же самое. Но дела мои становятся хуже... Временами мне нравятся мои творения, которых, кстати, очень мало, временами же я теряю всякие надежды на какой-нибудь хоть мельчайший успех на поприще литературы. Отчего это происходит? На мой взгляд, — по двум причинам. Во-первых, конечно, все мои творения (многие, большинство в набросках) далеко не прекрасны, если не сказать более. Ну, а так как у меня все же есть какое-то критическое чутье и способность к самоанализу, то и получается так, как будто я просыпаюсь вдруг и с ужасом и тоской убеждаюсь в несовершенстве своих начинаний. Вторая причина — это недоступность, недосягаемость редакций...»

Так Казаков начинал писательский путь.

А когда через десяток лет с блеском утвердил свое имя в литературе, давние неудачи воспринимались куда спокойнее, и о тех же редакциях в наброске «Автобиографии» (1965), который публикуется в сборнике, он уже вспоминал по-доброму.

Автобиографические наброски и выдержки из дневника 1949—1953 годов, открывающие сборник, отчасти как бы восполняют собой начальную главу не написанной Казаковым автобиографии. К сожалению, впоследствии сколько-нибудь систематических,

постоянных дневников Казаков не вел, хотя, когда требовалось, принимался за них с энтузиазмом. Так, в июле 1956 года, в дни студенческой практики, он завел «Дневник пребывания в г. Ростове-Ярославском и окрестностях». В период своих северных поездок тщательно фиксировал путевые впечатления, послужившие затем основой для «Северного дневника». Живя в Абрамцеве, вел фенологический дневник. И помимо всего этого время от времени заносил в разрозненные записные книжки мысли по поводу возникавших у него сюжетов, делал там психологические зарисовки, анализировал причины своих литературных промахов и т. д. При всей скупости подобных записей они представляют неоценимый материал для изучения биографии писателя, для выяснения истории создания его произведений, для правильного истолкования его творческих принципов.

2

Как обмолвился Казаков в дневнике 1949—1953 годов, многое из задуманного им уже тогда оставалось в набросках. Он был щедр на замыслы, они одолевали его, хотя иной раз и вовсе не ложились на бумагу. Недаром Казакову в конце жизни казалось, что сделал он по сравнению с задуманным слишком мало.

Это особый разговор — замыслы Казакова. Были среди них такие, которые он лелеял десятилетиями, не приступая к ним вплотную: например, книга о Бунине. Были замыслы, что называется, мимолетные — о них он скоро забывал. Но, пожалуй, самым значительным из всех следует считать замысел повести «Разлучение душ» («Две ночи»), мучивший писателя буквально до последних дней, — замысел, который был навеян воспоминаниями о военном детстве, о Москве 1941 года.

В 1959 году Казаков писал В. Ф. Пановой: «Я в Москве был всю войну и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом — война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает».

В этих словах — зерно той общечеловеческой проблемы, которая волновала Казакова, когда он примеривался к своей повести.

В 1962 году, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», Казаков говорил: «Со страхом и надеждой я приступаю теперь к антивоенной повести. Вот, кстати, важная проблема, может быть, самая важная сейчас, и страшно, что можешь написать об этом недостаточно сильно. Как я хочу написать об этом честно и сильно!»

Тогда же, в 1962 году, он рассказывал В. Конецкому в письме, что повесть «очень выходит необычная — с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: «Возраст Иисуса Христа». Герою теперь тридцать три года, герой этот, — признавался Казаков, — в большой мере я. О ком же писать кроме?»

Насколько можно судить по авторским высказываниям разных лет и по сохранившимся наброскам, сюжетной пружиной повести служило сопоставление двух ночей. Первая заставала героя тринадцатилетним мальчишкой, она была «полна страхами,

плачем, горем и великим мужеством», вторая — в назойливых, повторяющихся снах — настигала его через двадцать лет. Перебирая в памяти события своей недолгой жизни, казаковский герой жаждал подвести итоги ее, понимая свою нынешнюю силу и «свою ответственность перед судьбами людей».

Как выстраивается сюжетная канва повести? Какова ее внутренняя логика?

Действие начиналось июльским вечером 1941 года, когда на крышу арбатского дома, где-то возле Вахтанговского театра, поднимались на ночное дежурство жильцы. Их было четверо: Василий, простой работяга (в одном варианте — заводской токарь, в другом — местный водопроводчик), грубый, себе на уме, бывалый парень; татарка Фаина (Таисья), дворничиха дома, маленькая, смуглая и тонкая, счастливо влюбленная в Василия; восемнадцатилетняя циркачка-мотогонщица Лена (Вероника), известная всему Арбату, девушка с «ангельски красивым лицом», с недавнего времени учившаяся на курсах медсестер; и музыкант, виолончелист Дима (Элигий). Они были совсем молоды, войну воспринимали как «войну вообще, для всех, для других», каждый не сомневался, что он-то уцелеет вопреки любым напастям. Они были молоды — и все-таки взрослые, а пятым на крыше оказался мальчик Коля — «мальчик как мальчик, с розовыми, пламенеющими на свету ушами, с белобрысой челкой и тем неопределенным цветом светлых глаз, с их трудно постижимым, переменчивым выражением, какие постоянно встречаются у ребят его возраста — а ему было тринадцать лет».

Такова расстановка героев повести в первом эпизоде, а сам эпизод этот: бомбежка, во время которой Коля вместе со взрослыми, превозмогая страх, тушил зажигалки и чуть было не погиб, а мотогонщицу Лену скинуло с крыши. Безвольное, мертвое тело Лены на битых стеклах дымного двора, раненые на Арбате, мать Коли, обезумевшая, бросившаяся к нему с «хриплым, чужим криком», поверив было, что он убит, что «понесли сыночка», — эта страшная картина навсегда врезалась в Колину память, и ощущение пережитого кошмара легло роковым бременем на всю дальнейшую жизнь.

А двадцать лет спустя, — когда его уже величали Николаем Петровичем, он был давно женат и его сын Петя очень напоминал собой того Колю, «ушедшего навсегда во тьму времен»; когда по поводу своих тридцати трех он обычно слышал: «О! Возраст Иисуса Христа!» и почему-то стыдился, понимая, что не совершил еще ничего легендарного, — посещали казаковского героя сны, неумолимо возвращавшие его в ту июльскую ночь над Арбатом. Ему снилась война, только другая, атомная, — опять опускалась

вроде бы та же ночь, и надо было бежать куда-то; он метался, люди в подворотнях сдавливались, как под гробовой крышкой, и над городом — это даже была не Москва! — вспыхивала и «заливала все вокруг невыносимым зимним блеском» атомная бомба...

После таких снов Николай Петрович обычно окидывал взглядом всю свою жизнь, беспорядочно думал и о прошлом, и о том, что случилось неделю назад, — он «будто бы поднявшись, как космонавт, над Землей, а она перед ним поворачивается, и он, когда надо, сразу приближается и рассматривает пристально ту или другую картину, тот или иной день. Но сперва он все-таки вспоминает ту далекую ночь на крыше, а потом пути всех, кто там был тогда. Он знает, что Т. убит под Вязьмой и В. убит на Карельском фронте, а Ф. умерла в Ленинграде, она в августе уехала в Ленинград и умерла там».

Почему они погибли? Кто виноват в этом?

Авторские размышления в набросках повести подсказывают, что проблема вины за гибель людей на войне понималась писателем масштабно, в плане социально-историческом, и тут характерны рассуждения Казакова о фашизме: «И я подумал о фашизме, не о фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, стрелялись, которые были потом убиты, расстреляны, повешены, многие из которых упали, захлебнувшись своей кровью, на нашу землю — я думал о самом высшем фашизме, о человеке, который, достигнув власти, все подчиняет себе. Это не бесчисленные зеленые солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожая расстрелом. Это не генералы и штурмбанфюреры творили зло, — зло творил он, он дорвался до власти, он постепенно обожествил сам себя, он стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, никто не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, исполнять его волю, подсказывать ему. И чем лучше они советовали и исполняли, тем они все возвышались в его глазах и в собственных. Но не они были главное зло, а главное зло была система. Та система, при которой мог зародиться, подняться и существовать он, во веки веков, пока жив, пока живы его солдаты, его исполнители».

Герой повести не претендует на столь высокие обобщения, он думает о своем погибшем отце, о тысячах безвестных солдатских могил, разбросанных «по всей великой земле». И перед ним встает другой вопрос: «Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще обо всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и

мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле и быть верным моему отцу, моему великому рабочему?..»

Герой повести с ненавистью думает о министрах, президентах и генералах, планирующих атомные «блицкриги», воображает их так, как видел в кинохронике: с раскрытыми ртами, перед микрофонами, в мундирах, над картами, на маневрах, и негодует на то, «по какому праву все эти люди, родившиеся где-то на других континентах, задолго до того, как родиться ему, не знающие ничего о его жизни, тем не менее угрожают ему смертью».

И еще он думает об ученых, обо всех этих «отцах» всяческих бомб, об этом «племени роботов», они представляются ему марсианами из фантастических романов, существами, чуждыми всему живому, «всем полям и лесам и тихим рекам, любви, рождению», — не только чуждыми, но и враждебными всему этому.

Не претендуя на обобщения и лишь взыскуя правды о самом себе, казаковский герой в своем мучительном самоанализе неизбежно приходит к осознанию себя правомочной, мыслящей частицей человечества, к осознанию своей личной причастности к судьбе будущего. Как человек, «появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов», человек, для которого жизнь проста и естественна, он не ищет в ней высшего смысла — «смысл не ему решать», — однако всем своим существом чувствует, что «если жизнь человечества бессмысленна, значит, бессмысленна и его жизнь. А если жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит, и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений».

«Мир сегодня, — заявлял Казаков в 1963 году, — не просто дни без войны. Это бесконечное развитие жизни. Поэтому и повесть свою я задумывал и писал не только как антивоенную. Мысли ее героя обращены к главному — к историческим судьбам человечества».

Повесть не далась писателю с единого замаха. Стараясь понять, что же ему мешает, Казаков в 1963 году размышлял в дневнике: «...все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.».

Будучи недоволен своей работой, Казаков до конца своих дней не оставлял намерения справиться с повестью, считая ее той обязательной для себя вещью, «которую все-таки писать надо».

В 1964 году Казаков сообщал «Вопросам литературы»: «Сейчас у меня наступила интереснейшая пора в работе над повестью: я должен «сделать» некоторые архивные изыскания. Хотя время, о котором я пишу, еще живо в памяти всех нас, а время это — 1941 год, но это уже одновременно и история. И вот для того, чтобы эта история была как можно более точной, я хочу порыться в архивах Великой Отечественной войны. Никогда так не боялся самого себя, своей неумелости, как сейчас, во время работы над этой повестью. Повесть эта будет называться «Две ночи».

И все же этот магистральный замысел не был реализован. Уже в 1979 году Казаков рассказал, что в свое время наполовину написал «повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год», — под названием «Разлучение душ». Действие ее должно было завершаться в начале шестидесятых годов в Кракове и Закопане: тогда, согласно какому-то астрологическому «предсказанию», следовало ждать «конца света» — и писатель использовал эту апокалипсическую ситуацию как своеобразный прием, перенеся в повесть «ту атмосферу».

«Возраст Иисуса Христа», «Две ночи», «Разлучение душ» — вариации и осколки одного неосуществленного произведения, порожденного воспоминаниями о военном детстве, и понятно, почему Казаков с такой ответственностью и опаской прикасался к столь больному для него материалу.

Потрясенное сполохами мировой катастрофы, ломкое сознание тринадцатилетнего московского мальчишки, едва пробудившись, выдержало натиск поистине нечеловеческой силы. Испытанное им душевное напряжение и та нравственная высота, с которой, по зрелом размышлении, казаковский герой оглядывал и судил самого себя с присущим ему духовным максимализмом, позволяли брать для сравнения самые проверенные всечеловеческие образцы, не избегая и древней символики. При доскональном знании бытовой обстановки военной Москвы, Казаков в «Разлучении душ» задавался целью, не подчиняясь быту, не замыкая в нем своего повествования, вывести это повествование на уровень общезначимой бытийности и дать собственную художественную концепцию решающих мировых явлений первой половины XX века.

В сборнике публикуются три отрывка из повести.

«Ночь первая» в свое время подготовлена к печати в виде отдельного рассказа самим автором.

«Арбат был завален обломками...» — серия подобранных составителями набросков, непосредственно связанных с «Ночью первой», в них пунктирно прослеживается внутренняя эволюция

главного героя повести.

«И уже пять лет...» — наброски, относящиеся, по всей видимости, к другому сюжетно самостоятельному варианту повести, но с родственным, в сущности, тем же героем: его размышления о войне, о счастье, о смысле жизни воссоздают духовный облик человека того же поколения и схожей судьбы.

Казаков принимался за работу над этой повестью неоднократно. Сохранилось несколько ее зачинов, первых страниц — текстуально они друг друга не во всем повторяют. Сохранились также неотделанные, черновые страницы с более подробным описанием московской военной ночи — в них нет четкой последовательности, отчего возникает трудность их публикации без сопутствующего комментария.

Кроме названных набросков, в орбиту замысла повести «Разлучение душ» попадает рассказ «Зависть», где тоже фигурируют воспоминания о «первой ночи», о Москве 1941 года, — этот рассказ Казаков опубликовал в свое время в журнале «Простор» (1965, №1), но в книги свои никогда не включал. Определенная перекличка с повестью (со вторым ее вариантом, где один из эпизодов связан с Ленинградом) наблюдается, на наш взгляд, и в рассказе «Пропасть». Он написан Казаковым не позднее 1958 года, еще до возникновения замысла «Двух ночей», но при жизни автора по каким-то причинам не был напечатан. Этот рассказ, как явствует из письма Казакова к матери (18 ноября 1958), имел, между прочим, два варианта финала: в одном — героиня уезжала, в другом — умирала. В рукописи, которая публикуется, последние страницы рассказа отсутствуют.

Среди прочих казаковских замыслов, представленных в сборнике, обращают на себя внимание те, в которых, как и в повести «Разлучение душ», присутствует так или иначе тема смерти, сквозная тема казаковских рассказов, чаще всего трактуемая широко — как тема жизни и смерти, тема веры и бессмертия.

Один из набросков — «Навсегда-навсегда...». Это, как и в ряде других случаев, — первая страница рассказа, и пока трудно сказать, была ли она единственной. На этой странице дана картина «ослепительного утра середины марта» на крохотном кладбище, где два парня — Егор и Вантяй — сидят у вырытой ими могилы, предназначенной для московской артистки, «неизвестно почему пожелавшей лежать на кладбище именно в их деревне». Судя по всему, сценка эта представляет собой начало того «свирепого рассказа», про который Казаков писал Э. Шиму в 1969 году: «...герой хоронит свою любовницу-актрису за городом, в церкви отпевает и все такое, март, чистота небес, прозрачность

леса, снег, заметенные, будто облитые глазурью могилы и проч. прелести...» А затем, по дороге домой, герой рассказа соблазняет подругу умершей, и вопиющая бессмысленность этого выморочного поступка нависает над героем жестокой моральной карой.

Другой набросок — «Ангел небесный» — всего двенадцать строк, но их, кажется, достаточно, чтобы увидеть «странного, странного» человека, равнодушного ко всему на свете, и к чужой смерти тоже, человека, не ведающего ее великого таинства...

Еще набросок — страничка о смерти Чифа, любимой собаки Казакова. Плач по Чифу как по человеку, по живой душе, горе от сознания быстротечности всякой жизни и вместе с тем восхищение ее мощью и красотой...

И наконец набросок с названием «Смерть, где жало твое?» — три с половиной страницы, посвященные судьбе Николая Михайловича Акользина, бывшего кандидата и доцента, москвича, а с недавних пор лесничего в глухих северных краях, куда он приехал по своей доброй воле — приехал, собственно, умирать...

Еще когда сумрачным дождливым днем плыл он на пароходе по осенней реке, «что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него». Предвестие этого сдвига и духовное преображение Акользина и должно было, по всей вероятности, стать предметом повествования.

В ранних казаковских рассказах (таких, как «Ни стуку, ни грюку», например) юный восторженный охотник-созерцатель убегал из столичного города на лоно природы, дабы насладиться ее прелестью, не слишком вдумываясь в причины своего безотчетного влечения. И вот на закате жизни уходил в природу человек, привыкший «думать и говорить исторически», пользовавшийся широкими категориями, человек, пытавшийся понять: «Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное направление?»

Со свойственным ему художественным лаконизмом, Казаков на нескольких страницах обнажает суть того внутреннего конфликта, который гнетет Акользина, — конфликта разума и сердца, воли и смирения, рациональной учености и интуитивного знания, конфликта, во многом определяющего жизненный выбор каждого человека. В том «душевном пространстве», какое нес в себе Казаков, а следовательно, и в художественном мире его прозы этот конфликт изначален.

Но было бы неверно думать, что темой смерти исчерпываются неосуществленные казаковские замыслы. Замыслы у него были

самые разнообразные — и веселые, легкие, праздничные: например, фрагмент безымянного рассказа о том, как молодой московский инженер-химик Саша Скачков собирался ехать туристом в Париж; и озорные, сатирического оттенка: набросок рассказа об аспиранте Федоре Коне, который думал «преимущественно о двух вещах» — о бросившей его жене и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации»; и замыслы, совсем уж для Казакова необычные.

Об одном из таких писатель упомянул в ноябре 1979 года в «Литературной газете»: «Вот совсем недавно закончил рассказ несколько неожиданный. Он вырос из поездки к другу, из случая в дороге. Я попал в туман, а туман всегда рождал во мне ощущение потерянности. Но никогда еще — столь полную иллюзию неподвижности. Я понимал, что машина движется, но не мог оторвать глаза от стрелки, показывающей, что бензин на нуле. И вот возник сюжет: некто едет, видит на дороге дом за странно непрерывной оградой, входит — так начинаются чудеса. Этот рассказ, поскольку он несколько фантастический, написан в иронической манере, совершенно не свойственной мне...» Рукопись этого рассказа не обнаружена.

К сожалению, многое из архива Казакова — в разное время и по разным причинам — пропало безвозвратно. Тем дороже публикуемые фрагменты и наброски, художественная самоценность которых представляется очевидной.

Рассказы постоянно тревожили воображение Казакова, — рассказчик он был прирожденный. Но не менее важное место в его наследии занимает и путевая проза.

Странствия, путешествия, любовь к дороге и всему дорожному для Казакова всегда были столь же значимы, как и писательский труд: само слово «дорога» как бы вмещало в себя и образ жизни, и художественную программу.

Причем нужно подчеркнуть, что маршруты путешествий для Казакова — момент принципиальный. Он не ездил, что называется, лишь бы куда. Объясняя, почему еще студентом Литинститута отправился на практику в Ростов Великий, Казаков говорил: «Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, что мое дело изучить Россию...» Это была его всепоглощающая цель — изучить Россию: в ее истоках, с ее корнями, во всем объеме ее истории, со всеми особенностями русского национального характера.

Недаром в «Северном дневнике» Казаков заметил, что ему «всегда хотелось пожить не на временных становищах, не на полярных зимовках и радиостанциях, а в деревнях — в местах исконных русских поселений, в местах, где жизнь идет не на

скорую руку, а постоянная, столетняя, где людей привязывает к дому семья, дети, хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и кресты на могилах отцов и дедов».

Интерес Казакова к русскому Северу общеизвестен. Но та же тяга к «местам исконных русских поселений» приводила писателя (о чем свидетельствуют материалы настоящего сборника) и в устье Дуная, в маленький городок Вилково, основанный беглыми староверами в XVIII веке, и в псковские Печоры, и в Тарусу, и на Ловать, в тот облюбованный им в последние годы новгородский край, что простирается между Торопцом, Холмом и Осташковом. В Вилкове («Мне все помнится...») Казакова восхищала неутомимость, с какой вот уже двести с лишним лет обживали здесь некогда гонимые русские люди Дунай, храня верность древним своим преданиям и обычаям. В Тарусе и Поленове («Поедемте в Лопшеньгу») — Ока, самая русская из всех русских рек, и культурные традиции этих «милых художнических мест», круг интеллигентов старой закалки, с кем Казакову посчастливилось общаться. В Печорах — «необычайно сильное ощущение русского», такое, что не везде случается, ощущение древности псковской земли, позволяющее с особенной остротой почувствовать свою сыновность, свою принадлежность к родной истории...

Но, конечно, самым влекущим был для Казакова все-таки «тихий зов Севера». И самым славным среди городов и весей русского Севера был Архангельск, его столица, исторический центр, при мысли о котором Казаков, по его словам, всегда испытывал «глухое, мощное и постоянное волнение». Архангельску отведено немало лирических страниц в «Северном дневнике», не однажды обращался к нему писатель в своих письмах и заметках, и с той же неизменной любовью пишет он об Архангельске и архангелогородцах в очерке «Четыре времени года», публикуемом в настоящем сборнике. Этот очерк, эта «ода Архангельску» — еще одно доказательство преклонения Казакова перед вольной душой «просторного города», воплотившего в себе и современные трудовые ритмы, и спокойную уверенность старинного порта, и вековые традиции российской государственности, — не случайно заканчивается очерк восклицанием автора: «Эх! Маху дал наш Петр Великий — не на Неве ему строить было свой парадиз, на Двине!»

С Архангельском связано много памятных для Казакова встреч, оставивших в нем след на всю жизнь. Здесь познакомился он, например, со Степаном Григорьевичем Писаховым, и еще в 1959 году в статье «Северный волшебник слова» (она включена в сборник) назвал творчество поморского сказочника и живописца

«явлением первородной мощи». И сказки Писахова, где герой их, всесильный Сеня Малина, саркастически смеется над злом, пьет звездный дождь и спит на берегу, натянув на себя море; и писаховские картины, которые можно поставить в один ряд с полотнами Нестерова, Поленова и Левитана, — Казаков считал произведениями первооткрывателя.

И там же, в Архангельске, могла произойти, — но, к великому огорчению Казакова, не произошла! — его встреча с легендарным ненцем Тыко Вылкой, которому в «Северном дневнике» Казаков посвятил заключительную главу «И родился я на Новой Земле» (1972), а позже, основываясь на новых разысканиях, написал о нем повесть «Мальчик из снежной ямы» (1972—1976) и сценарий двухсерийного художественного фильма «Великий самоед» (1980).

В июле 1973 года в интервью «Литературной газете» Казаков говорил: «Что я пишу сейчас? Вот летом поеду в Архангельск, буду собирать сведения для повести о Тыко Вылке. Я уже написал о нем очерк, но мне кажется, что в биографии этого замечательного ненецкого художника, полярного исследователя и общественного деятеля заключено еще очень много интересного, и пока живы люди, знавшие его, нужно торопиться...»

Повесть «Мальчик из снежной ямы» — она печатается в сборнике по тексту, опубликованному после смерти автора в журнале «Новый мир» (1983, № 10) — представляет собой попытку воссоздать «внутреннюю биографию» Тыко Вылки. Прибегая к его собственным воспоминаниям, к устным рассказам хорошо знавших его людей и к разного рода историческим свидетельствам, Казаков не ставил себе задачей дать последовательное жизнеописание этого героического человека, на долю которого выпало столько страданий, а стремился прежде всего раскрыть секрет его личности, понять истоки его гражданской мудрости и его творчества. При этом, рассказывая о Тыко Вылке и размышляя о его жизненном подвиге, Казаков рассказывает и о себе, о своих странствиях по Северу и сам становится героем повести, что придает ей особую открытость и откровенность.

Стараясь постигнуть характер и жизненную философию Вылки, Казаков обращается взором к истории его народа и, ссылаясь на известного писателя-этнографа С. В. Максимова, чью книгу «Год на Севере» он знал и любил, прослеживает, как в незапамятные времена, оставив свою прародину за Саянскими хребтами, появились на Севере самоеды, как обживались они в пустынной, выстуженной тундре, как нужда заставляла их двигаться дальше и дальше, пока не достигли они островов в

Ледовитом океане. Рассказывает Казаков и об отце Вылки — бедном пастухе, в поисках лучшей доли добравшемся до Новой Земли и оказавшемся там в числе первых российских поселенцев. Страница за страницей перебирает писатель книгу жизни Вылки — его детство, когда он жил в чуме, «а приходилось и в снежной яме»; путешествия в проводниках у В. А. Русанова; учебу в Москве, где он занимался живописью; вспоминает роковой 1911 год, когда, приехав в свое стойбище «на каникулы». Вылка после неожиданной смерти двоюродного брата должен был, по обычаю ненцев, жениться на вдове, иначе она и шестеро ее детей были обречены на голодную смерть, — этот трагический поворот в судьбе Вылки особенно Казакова потрясал.

Перебирая страницы биографии своего героя, Казаков задумывался над тем, почему так безоговорочно уважали Вылку его соплеменники и все, кто с ним общался? Вылка был чист душой, бескорыстен и храбр, он говорил ненцам и людям вообще: не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь жестока, но хороша, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно! Вот за эту жизнеутверждающую философию, неотделимую от повседневного поведения, за полную духовную слитность со своим народом и ценил Казаков Тыко Вылку, видя в нем пример исключительной личности, пример человека, соединившего в себе мудрость древности и современное гражданское самосознание.

И живопись, картины, искусство Вылки находились в полном согласии с его нравственными устоями. Мир, запечатленный на этих картинах, с их чистыми красками и бесхитростными сюжетами, был суров, тревожен, безмолвен, и вместе с тем, он словно высвечен изнутри, одушевлен присутствием человека, согрет щедрым, любящим сердцем. Так спокойны, невозмутимы задумчивые ненцы у костра. Так теплы и уютны среди ночного безмолвия светящиеся окошки одиноких домов. Так добродушны и любопытны белые медвежата, симпатичны собаки и олени. Так вызывающе выразителен, как подметил Казаков, простой электрический фонарь на столбе, соперничающий с мистическим полярным сиянием... Надо было обладать незаурядной стойкостью и душевной силой, чтобы столь оптимистично, с наивной нежностью изображать этот мир ледников и скал, этот пустынный остров, затерявшийся в просторах Ледовитого океана.

Работу над повестью «Мальчик из снежной ямы» Казаков не закончил и печатать ее не торопился. Однако, при известной незавершенности, повесть эта состоялась в главном — самобытная фигура Тыко Вылки выписана по-казаковски страстно, с завидной художественной убедительностью.

3

В заключительном разделе сборника представлены разного рода литературные заметки — короткие статьи, рецензии, предисловия, высказывания, ответы на анкеты, — позволяющие судить об эстетических взглядах Казакова, о его отношении к собственному творчеству. Впервые собранные воедино, эти заметки дают наглядное представление о круге идейно-художественных проблем, интересовавших писателя.

На протяжении всего творческого пути Казаков задумывался над ролью литературы в современном мире. Свято веря в высшее предназначение писателя, он в первую очередь обращался взором к русским классикам, при всяком удобном случае напоминая об их писательском и гражданском подвижничестве. «Русская литература, — писал он в 1967 году в статье «Не довольно ли?», — всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории. Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества».

Эта подчеркнутая оглядка на классику не всегда находила должное понимание, а стремление Казакова возрождать традиционные формы русского рассказа нередко воспринималось как преднамеренное стилизаторство. Каких только влияний не приписывали Казакову — от Карамзина до Пришвина! Каких только параллелей не выискивали в его рассказах! Между тем классики не являлись для Казакова учителями лишь в узком, ремесленном смысле. Они открывали ему свой внутренний мир, свою философию, вселяли уверенность в великой воспитательной пользе литературы, Казаков словно жил с ними бок о бок, и результаты такого духовного общения вовсе не сводились к натужному ученичеству.

Кто из классиков был особенно дорог Казакову?

Первым, пожалуй, следует назвать Лермонтова, чья таинственная и трагическая судьба запала Казакову в сердце довольно рано. Роковая тайна этого «изжелта-смуглого поэта с сумрачными глазами», этого гениального русского человека, погибшего в неполные двадцать семь лет, волновала Казакова,

когда писал он о Лермонтове рассказ «Звон брегета» (1959) и когда высказывался о великом поэте в связи со стопятидесятилетием со дня его рождения («Вопросы литературы», 1964, № 10). Было что-то вещее в казаковском тяготении к Лермонтову, в его желании разгадать — почему Лермонтов с такой легкостью шел навстречу своей гибели: «Какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке?..»

В Лермонтове, в его несправедливо короткой жизни заключалась какая-то фатальная недосказанность, и это вызывало у Казакова досаду. А вот Лев Толстой — его Казаков почитал больше, чем кого-либо из классиков, — поражал всеведением, всеобъемлемостью своего человеческого и писательского опыта. Толстой, сын своего века, знал ту правду о человеческой душе, значимость которой одинакова во все времена, и поскольку задача литературы, — как заявлял Казаков, — изображать «именно душевные движения человека, причем главные, а не мелочные», постольку и Толстой для литературы бессмертен.

Художественный мир Толстого незыблем, как сама жизнь, — Казаков верил в это непреклонно. «Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, — размышлял он в интервью «Вопросам литературы» (1979, № 2), — подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его «В чем моя вера?», его «Не могу молчать». А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом — и человека под этим небом?»

И Лермонтова, и Толстого, и других русских классиков Казаков принимал душой, в споре с хрестоматийными стереотипами их восприятия. О Чехове сказал: «Он вошел в мою жизнь, как говорится, с младых ногтей, вместе с Толстым. Знакомство с ним, когда я не помышлял еще о писательстве, было плавным и как бы необязательным». В этой «как бы необязательности» и кроется причина той легкости в постижении традиций, той тонкой художественной восприимчивости, какая всегда отличала Казакова.

И только Бунин, о чьем влиянии на Казакова толковали так много, «достался» ему непросто. В отличие от Толстого и Чехова,

признавался Казаков, Бунин ударил по нему «резко, внезапно, неестественно сильно», присущее Бунину «ястребиное видение» человека и природы сперва заворожило и подавило молодого писателя. «Конечно, я подвергся самому откровенному влиянию, — признавался Казаков, — и несколько моих рассказов — ну, например, «Старики» — написаны явно в бунинской манере. Но вот что обидно: когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последующие мои вещи написаны вообще вне этого влияния), мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин, Бунин, Бунин... (Ну, разве «Осень в дубовых лесах» — Бунин?)».

И «выбравшись из-под Бунина», Казаков продолжал его любить и хотел написать о Бунине книгу в духе цвейговских «Звездных часов человечества». Будучи во Франции в 1967 году, встречался с Б. Зайцевым, Г. Адамовичем, расспрашивал о Бунине всех, кто был с ним мало-мальски знаком: не просто «собирал материал», а как бы сливался с бунинской средой, ощущая себя законным ее наследником. Своеобразной страницей книги о Бунине можно считать отрывок «Вилла Бельведер», публикуемый впервые. Однако написать книгу о Бунине, к великому огорчению, ему не довелось.

В кругу близких Казакову русских классиков нельзя не упомянуть и Аксакова. Говоря о нем, Казаков в 1959 году в заметке «Вдохновенный певец природы» обращал внимание на то, что Аксаков не мог ничего «сочинять», писал только то, чему сам был свидетелем, — потому его проза насквозь автобиографична, а «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» являют собой яркий пример того, как «биография одного человека перерастает в биографию целого края, в биографию общества». Казаков подчеркивал благотворность влияния Аксакова на последующую русскую литературу: «Певцами родной природы, — писал он, — стали потом многие прекрасные поэты — от Тургенева до Пришвина. Но первым певцом ее был Аксаков, и тихие песни его звучат для нас через столетие».

Среди советских писателей, продолжавших аксаковскую традицию, Казаков выделял Пришвина, о котором еще в 1949 году заметил в дневнике: «Бывает, спрашивают у меня в разговоре, кого я из советских писателей люблю больше других. Каждый раз я отвечаю: Пришвина. Пришвин — писатель совершенно особого склада. Читать его наслаждение, почти равное наслаждению живой природой. В каждом человеке есть свое тайное, глубоко запрятанное, и, по-моему, ни один из советских писателей не трогает так это тайное, как Пришвин...» Личность и принципы «творческого поведения» Пришвина, равно

как и его художественный опыт, неизменно интересовали Казакова.

И еще об одном писателе необходимо сказать — о К. Паустовском, который радостно приветствовал появление Казакова на литературном горизонте. В своих воспоминаниях о нем («Поедемте в Лопшеньгу») Казаков восхищался тем особым климатом доброжелательства и деликатности, той атмосферой влюбленности, что царили вокруг признанного мастера в последние годы жизни. Казаков не считал себя учеником К. Паустовского «в прямом смысле этого слова», он не учился в его литинститутском семинаре, но с благодарностью, подобно многим, воздавал К. Паустовскому, «нашему общему учителю», в сердце своем.

Роднила Казакова с Паустовским приверженность к лирической прозе, которую он связывал с классической традицией, в частности с Чеховым, и которую вместе с тем рассматривал как порождение конкретной литературно-общественной ситуации конца 50 — начала 60-х годов.

Участвуя в дискуссии, развернувшейся на страницах «Литературной газеты» в 1967 — 1968 годах, Казаков писал о том, что в недавнем прошлом лирическую прозу сопровождали версты проработочных статей, что ей нужно было быть достаточно мужественной, чтобы отстоять самое себя, — и все-таки она выжила и процвела, и произошло это потому, что лирическая проза «пришла на смену потоку бесконфликтных, олеографических поделок и принесла в современную литературу достаточно сильную струю свежего воздуха». Сначала робко, а потом все смелее она ломала установившиеся каноны и в самой прозе, и в критике, требуя подтягиваться «до уровня нового писателя».

Заслуги и возможности лирической прозы стали тогда очевидны, и все же ей зачастую отводили роль падчерицы в литературном процессе, не принимая в расчет ее неоспоримых достижений. Возражая своим оппонентам, Казаков спрашивал в статье «Не довольно ли?»: «Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о высоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, — если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?» Спрашивал и давал понять, что названными качествами характеристика лирической прозы не исчерпывается, — не случайно споры о ней выходили

обычно далеко за пределы ее жанрового своеобразия.

Размышления Казакова о лирической прозе тесно связаны с его размышлениями о рассказе. Немало тонких замечаний об особенностях русского рассказа, в отличие от западной новеллы, о поэтических ресурсах и преимуществах его отточенной формы содержится в казаковских разборах рассказов Г. Горышина, В. Солоухина, В. Лихоносова, Ф. Поленова, О. Кибитова.

В силу мощного, но сдерживаемого художественного темперамента, обладая напряженно чутким слухом и остро осязая предметную, вещную плоть мира, Казаков закономерно усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. В 1979 году в беседе «Единственно родное слово», рассуждая о своей долголетней привязанности к рассказу, он говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не могу уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». И при этом вроде бы сетовал: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который в силу своего жанра пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня... так, видно, и суждено умереть рассказчиком».

Романа Казаков не писал и, насколько известно, не замышлял, — так что, собственно, никакого фиаско он тут не терпел. Роман действительно не его форма. И все же своеобразный опыт работы над романом Казаков получил, в течение нескольких лет переводя с казахского эпопею А. Нурпеисова «Кровь и пот». Об этой работе он рассказал в предисловии к первой части эпопеи — «Сумерки» (1966).

Как подтверждают материалы сборника, Казаков обладал достаточно разносторонним литературным опытом и задачи перед собой ставил весьма ответственные, всегда и во всем стараясь оставаться писателем *настоящим,* таким, для которого цели литературы равнозначны историческим устремлениям человечества. Он отдавал себе ясный отчет в том, сколь извечно и коварно в мире зло, как изворотлив и опасен фашизм, как важно сегодня каждому человеку сопротивляться глобальной атомной угрозе, и обращался к мировым проблемам, страстно уповая на мужество писателя, на его правдивое, искреннее слово.

В интервью «Для чего литература и для чего я сам?» Казаков, тревожась, что Слово великих властителей дум, казалось бы, не подвинуло нравственность человечества вперед, объяснял, почему современный писатель все-таки писать обязан: «Да потому, что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в

человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота, — если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь и великой литературы? Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни. Хоть на день! — это ведь так много...»

Честные, выстраданные слова!

Сборник «Две ночи» — первая значительная посмертная публикация из литературного наследия Юрия Казакова (осуществленная Т. М. Судник и А. Ю. Казаковым). Архивные материалы соседствуют в сборнике с журнальными и газетными, они впервые сложены вместе и объединены в разделы по жанровому признаку. За пределами сборника, однако, остались еще путевые дневники, сценарии, письма, их публикация — дело ближайшего будущего. Выпуск сборника, конечно, послужит стимулом к дальнейшей работе над архивом писателя, а материалы сборника, хочется надеяться, займут свое место в собрании сочинений Юрия Казакова — необходимость подготовки такого собрания, без сомнения, назрела.

И. Кузьмичев

Автобиографические заметки

Автобиография

Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои — бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я — первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом.

Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой. В 1942 году в школе, в одном со мной классе, учился музыкант. Одновременно он посещал и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость музыкой в значительной мере повлияла и на меня, а мои природные музыкальные данные позволили и мне в скором времени стать молодым музыкантом. Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда на контрабас, потому что контрабас вообще менее «технический» инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех.

Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях — о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию **напечатанной** в афише, в газете или в журнале.

Тяга к писательству все-таки пересилила, я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, **как они сделаны.** А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса, и по недостаточной литературной образованности — плохо. Все-таки, видимо, было нечто в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее, и в 1953 году я уже успел

напечатать несколько небольших очерков в газете «Советский спорт» и в том же году был принят в Литературный институт...

15 декабря 1965

Господин редактор, благодарю вас…

Господин редактор,

благодарю Вас за намерение включить мою автобиографию в издание «Современные авторы». На анкету я не буду отвечать, потому что не понимаю английского и, кроме того, сведения о себе, которые я Вам сообщу, наверное, также будут и ответом на вопросы анкеты.

Я намерен говорить только о своей литературной деятельности, т. к. это и есть, в сущности, моя жизнь за последние десять лет.

В 1953 году я выкурил полпачки папирос на лестнице Литературного института, прежде чем осмелился зайти в учебную часть. Я тогда держал конкурс на поступление в институт. Конкурс был очень большой, примерно сто человек на одно место. Естественно, что я страшно волновался. Мимо меня все ходили вверх и вниз, и когда спускались, то редкие спускались счастливыми. Наконец и я взошел наверх, и мне сказали, что я принят. Так я стал студентом Литературного института. Тогда я написал два или три рассказа. Наверное, это Вам покажется странным, но первые рассказы, которые я написал, были рассказами об американской жизни. И вот с ними-то я и поступил в Литинститут. Тогда же мой руководитель, прочитав эти мои рассказы, навсегда отбил у меня охоту писать о том, чего я не знаю.

Родители мои, простые рабочие люди, хотели, чтобы я стал инженером или врачом, но я стал сначала музыкантом, потом писателем. И отец и мать до сих пор не особенно верят, что я настоящий писатель. Потому что для них писатель — это что-то вроде Толстого или Шолохова.

И вот тогда, на первом курсе института, а мне было тогда уже двадцать пять лет, тогда как моими товарищами стали люди гораздо моложе меня, но уже настоящие поэты и прозаики, т. е. уже печатающиеся, уже писатели, как я думал, — тогда-то я испугался. Я понял, что я ничего не знаю, я не знаю, как писать и что писать. И я еще не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь напечататься. И тогда я хотел даже уходить из института. Потом очень скоро моя робость прошла, мало того — она перешла как бы в свою противоположность. Я стал думать, что я непременно стану выдающимся писателем. Сначала для меня нужно было выяснить, кто вообще писал лучше всех. Года два я только и делал, что читал. Читал по программе и без программы. И после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех

писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они. Ни у кого в особенности я не учился, я просто уловил нечто общее, присущее всем нашим лучшим писателям, и стал работать.

Писал я мало. Вообще наши русские писатели мало писали и пишут. Сведения, например, о том, что Уильям Сароян написал за 10 лет 1500 рассказов, десятки повестей и романов — кажутся нам невероятными. Я не помню, сколько именно написал я до сегодняшнего дня, но, кажется, что-то около сорока рассказов.

Очень скоро (после первых четырех-пяти рассказов) я стал ходить уже в гениях. Мне прочили славное будущее. Многие и тогда еще называли меня лучшим рассказчиком современности. Нужно сделать скидку и на тогдашнюю нашу молодость и на студенческую среду вообще. Студенты всегда любят преувеличивать, как в своих симпатиях, так и в антипатиях. К счастью, все эти громкие слова не повредили мне, т. е. не заставили меня относиться к делу небрежно.

Все годы я много ездил. Вообще мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил (теперь я выпиваю, но хочу бросить, это мешает, когда много пьешь, и вообще писателю нужно быть здоровым), так вот, я не пил, занимался альпинизмом, охотился, ловил рыбу, много ходил пешком, ночевал где придется, все время смотрел, слушал и запоминал. Многие критики потом упрекали меня за то, что я якобы выискивал осколки прошлого. Они были неправы, потому что не видели того, что видел я...

23 февраля 1964

Из дневников и записных книжек

Из дневника 1949—1953 гг. [1]

1949 г.

Бывает, спрашивают у меня в разговоре, кого я из советских писателей люблю больше других. Каждый раз я отвечаю: Пришвина.

Пришвин — писатель совершенно особого склада. Читать его — наслаждение, почти равное наслаждению живой природой.

В каждом человеке есть свое тайное, запрятанное, и, по-моему, ни один из советских писателей не трогает так это тайное, как Пришвин.

Бывает, идешь дорогой среди ржи, страшная жара, мучит жажда, и вот видишь в стороне небольшой островок леса, жизнь которого успокаивает глаз... Пьешь холодную ключевую воду и чувствуешь, как в тело возвращается жизнь. Так и Пришвин — ручей среди пустыни.

23. VII. 49 г. Луза

Подушка пахнет козьим молоком и сеном. На дворе пряный запах подсыхающих березовых веников, вдали крик петуха.

Вот обстановка, в которой я живу. Природа на Севере бедна, но гораздо сильнее жизненной цепкостью, чем южная.

Сенокос в самом разгаре. Косят литовкой и горбушей. Подсыхающее сено кружит голову ароматом. Все лето трава вбирала в себя жизненные <силы> земли, свет солнца, <...> и лесов, и вот теперь, скошенная, прощаясь с жизнью, отдает людям запах.

Скоро охота.

2. VIII. 49 г.

Погода самая осенняя. Моросит мелкий дождь. Холодно. Под крышей сиротливо висит паутина, а хозяина нет. Сбежал от холода и ветра.

6.II.50 г. Москва

Найти себя в творчестве, ощутить пульс жизни своей — в этом вся задача.

22.VIII.50 г. Луза

Никогда еще не испытывал такой тоски. Через два-три часа уезжаю из Лузы. Казалось, нужно было бы радоваться, а у меня что-то все скребет и скребет на сердце.

Сегодня уехал человек, к которому я очень привык и испытывал хорошее человечное чувство. Он уехал, а я остался, и вот, укладываясь в дорогу, с грустью думаю о превратности судеб человеческих.

21. IV. 51 г.

Написал пьесу «Новый станок». Не приняли. Печально. Неужели всем моим произведениям предстоит такая же судьба?

16. V. 51 г.

Слушал передачи о Шаляпине. Что за человек! Что за судьба! Когда окидываешь взором всю жизнь его, невольно ставишь вопрос: мог ли где-нибудь в иной стране родиться такой человек? И отвечаешь: нет, не мог! Не мог! Ибо колоссально талантлив наш народ, и, кажется, нет границ его таланту.

Много было у нас певцов. И вот Шаляпин, вобрав в себя все лучшее, поднялся во весь свой исполинский рост и поразил мир. Уверен, что его песня, его голос будут жить, и особенно у нас, русских, вечно. Быть может, людям доведется увидеть и услышать не менее великих артистов, но таких, как Шаляпин, не будет.

Странно смотреть на моих коллег. Стоит спросить о впечатлении о той или иной книге, картине, симфонии — и услышишь стереотипный ответ: ничего! Ну, как новая картина, интересна? — Ничего!

Это «ничего» просто убийственно. Где критика, где споры, где понимание искусства? Вот нравы моих знакомых. Особо о контрабасистах. Ни разу не слышал похвалы от чистого сердца какому-нибудь контрабасисту. Спрашиваешь: как играет Чертович? — Плохо, фальшиво. Техника богатая, звук плохой. — Раков? — Звук хороший, техники нет. — Кусевицкий? — Неважно. — Дмитриенко? — Часто фальшивит. — Фокин? — Рубит. Трещит.

29. VII. 51 г.

Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Там сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе. Там остались мои родители.

Очень плохо складывается жизнь. Отца вижу раза два-три в год. Мама тоже часто и надолго уезжает к нему.

Сегодня узнал, что экзамены в консерватории начинаются 2.VIII, а не 8-го, как раньше предполагалось. Это тоже нехорошо. Ведь я с 14 июня не брал инструмента в руки. За десять дней я бы еще подготовился, а вот за четыре — вряд ли. Что делать, если не примут в консерваторию? Какой удар маме!

В Солге я познакомился с Лилей Г. Девушка ничего особенного из себя не представляет, но... полюбила меня. И вот я, в сущности, равнодушный к ней, почему-то очень тронут этим, и грусть тонкой пеленой затягивает сердце. Жалость это? Нет? Может быть, сожаление, что не полюбила меня девушка, которую и я мог бы полюбить? Она обещала помнить меня всю жизнь. Смешно! И ведь когда давала это обещание, наверное, и сама

верила ему, была искренна. Но пройдет месяц, может быть, два, и все позабудется... И такие же клятвы будут даваться другому...

Сейчас второй час ночи. По радио поет Козловский... А на меня навалилось какое-то плохое предчувствие. Вот прошло и еще одно лето. Еще одно лето моей жизни. 8 августа мне исполнится 24 года. Порядочный возраст. Грустно...

24. VIII. 51 г.

Как и следовало ожидать, я никуда не попал. Почему, спрашивается? Неужели я такой уж неспособный чурбан? Не думаю. Нет. Просто все еще слишком легко отношусь к жизни. Это в мои-то годы! Когда Добролюбов 24 лет умер знаменитым. Лазо 23 лет командовал фронтом. Что же это за люди? То ли гении, то ли люди с железной волей, которая все сокрушает на своем пути.

26.IX.51 г.0 час. 30 мин.

Когда я с таким позором провалился в трех институтах, передо мной встал вопрос: что делать дальше? И вот я начинаю искать работу. Ищу, ищу... И по сей день ищу. Правда, мне довелось пробоваться в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное.

В общем, неутешительная картина для меня и для моих близких, особенно матери.

Но есть и небольшая, правда, но отрадная сторона в моем существовании. Это то, что я разрешился наконец от своего годового почти писательского кризиса.

Удивительно, как влияет на творчество (я говорю о себе, конечно) неудача. В прошлом году я написал пьеску. Небольшую по размеру и скромную по таланту. Написал я ее, и пошла она, бедняга, мыкаться по редакциям. И брать не берут — и отказывать не отказывают. Так до сих пор и блуждает. Правда, пока она нашла себе пристанище в «Трудрезервиздате», и мне даже пообещали ее напечатать, но дело опять застопорилось, и, вероятно, снова возвратят. Вот это-то и отбивает охоту писать еще что-нибудь.

Итак, об отрадной стороне. Я все-таки понемногу сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать. Пишу пьесу (одноактную) и два очерка о природе. Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу. Природа и рассказы о ней — старая моя страстишка. Вот и сейчас закончу запись и начну снова копаться в рассказах, ворошить слова и переделывать фразы. Интересно, так ли пишут свои вещи большие писатели?

6.X.51 г.

Наступил необычайно оживленный период в моей писательской деятельности. 2-го числа закончил одноактную

пьесу, вчера — рассказ, а сегодня — еще один. По плану нужно будет до 15. X написать еще один рассказик, вернее, очерк «Просторы Родины» и публицистическую статью в «Литературную газету». Это первый очерк (статья), что я напишу, и не знаю, как мне это удастся. ...

Вот скоро три месяца, как мама живет с папой в Солге. А я тут один. Отца я вообще не вижу годами. Как плохо устроена жизнь! Вот 15.X.51 день рождения мамы. А как я могу его отметить? Что подарить ей? Я ведь сам не работаю, и денег нема. Хоть бы сгорели эти деньги!

В Москве определенно неурядица с оркестрами. Оркестров мало. И много музыкантов, особенно из молодых, ходят без работы. А в том числе и я. Когда же это кончится? Я уж столько денег разъездил, обивая пороги различных муз. учреждений, и все без толку. Хоть специальность меняй.

Писательство же мое пока не дает ни гроша. Вот окончу все свои намеченные вещи, разнесу их по редакциям и буду ждать ответа. Хорошо, если хоть дядя Федя поможет отпечатать их на машинке. А то вообще — гроб!

А вот еще неурядица и неприятность: я так ждал отца в Москву, так хотел с ним увидеться, а теперь ему и остановиться негде. <...> Приедет ли он вообще? Мама наконец-то скоро приезжает. Как я ее заждался.

14.X.51 г.

Сегодня снова получил отрицательные отзывы о моей пьесе. Снова и снова злоба и отчаяние охватывают меня. Ведь я отлично понимаю, что, например, будь автор этой пьесы не Юрий Казаков, <...> ее с огромным удовольствием напечатали бы. Ведь то и дело я читаю вещи гораздо более плохие, нежели моя пьеса. Но все равно я буду писать. Я чувствую, что могу написать и напишу нечто очень яркое, свежее и талантливое. Пусть мне отказывают. Пусть! Но победа будет за мной!

Я сегодня очень расстроен. В понедельник пойду устраиваться на кондитерскую фабрику и в фотохронику ТАСС. Надо же биться за жизнь, за деньги! Неужели сидеть безработному?

Задумал повесть. Нечто оригинальное. Посмотрим, как она получится! Год! Два! Буду работать над ней, а закончу ее.

22.X.51 г.

Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действ. лиц, и всех их нужно обрисовать, показать развитие характеров и т. д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-

то идею. А как это сделать? Ну ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу. Я успокаиваю себя мыслью о том, что и крупные писатели работают над повестью или романом несколько лет.

Временами же мне кажется, что я вовсе не способный к этому делу человек, и тогда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо.

Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку «Красный Октябрь». Ничего не получилось. <...> Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги! Деньги — это эквивалент счастья. Под счастьем в данном случае я подразумеваю удобства, хорошую одежду, обильное питание и т. д., и т. п. Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: «Где взять денег на хлеб, на квартиру, на питание?» Деньги и средство их добывать — вот что пока занимает меня непрестанно.

Мать пока еще не приезжала из Солги. Безобразие!

25.X.51 г.

Сегодня несколько часов сидел над рассказом. Пытаюсь склеить его из уже ранее написанного мной. Временами испытываю некий творческий подъем, а временами прихожу в отчаяние, что ничего не получается.

С новой пьесой «Большое дело» у меня ничего не получилось — не берут, а жаль, такие симпатичные у меня получились человеки (на мой взгляд, конечно). Вот завтра буду звонить в «Молодую гвардию» относительно этого дела. За этим же зайду в ВДНТ[2].

Откровенно сказать — хоть я и считаю это дело пропащим, однако где-то в глубине моей оптимистической души еще шевелится надежда. Совсем малюсенькая, правда, но шевелится. Что делать? Человек живет надеждами.

А матери с отцом все еще нет. С ними было бы легче и морально и материально.

17.XI.51 г.

Сегодня уехал отец в Шарью. Очень как-то тяжело от этого и пусто на сердце. Тем более под поезд, которым уезжал папа, попал какой-то парень. Раздавило его, и, наверное, насмерть. Мы услышали об этом и, страшно перепуганные, пошли смотреть, думали — не отец ли? Да, вот жил с нами папа, и мы частенько ссорились по поводу моей безработицы. А вот уехал — и грустно. Ведь я его год не увижу теперь. А может... и совсем. Очень тяжелая судьба у моего папы, очень тяжелая, и я его жалею всем сердцем, но помочь, к сожалению, не могу.

27.XI.51 г. 0 час. 30 мин.

Позавчера проводил маму. Уехала в Батуми — на край света. Очень я беспокоюсь за нее. Не случилось бы с сердцем плохо.

Дело в том, что мы опаздывали на поезд и бежали как сумасшедшие. А с ее сердцем это не игрушки.

Вот и опять я остался один. Из ВДНТ получил пьесу на доработку и даже с весьма положительной рецензией. Зато из «Молодой гвардии» так ответили, что ужас. Сейчас работаю над пьесой.

11.XI.1952 г.

...Со времени последней моей записи прошло несколько месяцев. Прошло лето. Прошла осень... И вот стучится уже в сердце зима.

Погода нынче стоит плохая, т. е. самая обыкновенная ноябрьская погода: дождь, снег, слякоть, туман... Я все это время пользуюсь всеми жизненными благами, т. е. работаю в оркестре, получаю башли[3] и постепенно разочаровываюсь во всем понемногу. И в первую очередь — в себе. Опубликована первая моя пьеса. Дало ли мне это радость? Так... чуть-чуть... совсем немного.

Все лето пришлось играть мне на танцверанде. До чего же осточертели мне все эти танцы! И я сейчас одному рад — тому, что не слышу более всех этих па-де-грасов и прочих «па-де...».

Во всей моей идиллистической обстановке, наверное, наступит скоро перелом. Дело в том, что меня увольняют — и я снова остаюсь безработным. Но теперь это долго продолжаться не будет, т. к. я надеюсь найти работу на периферии. Так что даже такая резкая перемена в моей жизни не вызывает теперь во мне беспокойства. В общем, все должно решиться 15 ноября. Посмотрим...

20 ноября 1952 г.

Решилось! Я — уволен. И снова я вольная птица без гроша в кармане и с ужасной скукой в душе. Уманский пока хлопочет (или уверяет меня, что хлопочет), не знаю, что выйдет из этого, но пожалуй, ничего не выйдет. Придется сматывать удочки из благословенной богом Москвы и искать пристанища где-нибудь подалее. Был я в Комит. по дел. искусств. Там определенного ничего не сказали. Но был слушок, что нужны-де контрабасисты в Улан-Удэ. Вот это я понимаю, места, что называется, не столь отдаленные.

Странно, но я берусь за эту тетрадь тогда, когда мне туговато приходится.

3 января 1953 г.

...Скоро два месяца, как я без работы. И временами дохожу до страшного отчаяния и зверской тоски... Скоро должен прийти ответ из Свердловска, из театра оперы и балета, и если условия там будут мало-мальски подходящие, я не задумываясь поеду.

...Окончил недавно рассказ об Америке, о неграх. Кончаю рассказ об измене (любовной). Пишу рассказ о слепом музыканте. На очереди стоит переделка старого моего рассказа о ребятах и доканчивание еще двух рассказов о природе. Ну, а в будущем — Лит. институт. Я очень стремлюсь попасть туда, так как там можно многое узнать о литературе, о творчестве, кроме того, там — «среда». Именно та литературная, пишущая среда, от которой я сейчас совершенно оторван. Сейчас же настроение пакостное... Со старинным другом своим поругался и разошелся, наверное, навсегда. Конечно, обидно это, но, видно, такова уж жизнь, постоянного — нет.

16 января 1953 г.

Почти четыре года прошло с тех пор, как я начал эту тетрадь... Еще в 49 г. я мечтал о литературе, хотел быть писателем. Сегодня то же самое. Но дела мои становятся хуже... Омерзительно чувствовать себя все на том же уровне знаний и возможностей. Временами мне нравятся мои творения, временами же я теряю всякие надежды на какой-нибудь хоть мельчайший успех на поприще литературы. Отчего это происходит? На мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, конечно, все мои творения (многие, большинство в набросках) далеко не прекрасны, если не сказать более. Ну, а так как у меня все же есть какое-то критическое чутье и способность к самоанализу, то и получается так, как будто я просыпаюсь вдруг и с ужасом и тоской убеждаюсь в несовершенстве своих начинаний. Вторая причина — это недоступность, недосягаемость редакций. Еще бы! Ведь ни одной моей вещи до сих пор не напечатано, если не считать пьески. В этом даже иногда начинаешь подозревать какой-то злой рок... Откровенно говоря, давно нужно было бросить это занятие. Но если бросить, то что же остается? Музыка? Я до сих пор все без работы... Как все противно! Не писать я уже не могу. Пусть неудачны все мои произведения, пусть каждый раз отказывают мне в редакциях, я снова и снова буду браться за перо! Может быть, время вылечит меня от этой болезни. Пока же передо мной стоит основная задача: знание! Знания мне нужны, как столяру рубанок, их у меня, скажу откровенно, маловато. А сейчас мне предстоит окончить четыре рассказа. И две пьесы. Рассказы о спорте в мире капитала, в мире наживы, о сборщике подписей в Америке, о подвиге (слепой) и о любви. Пьесы: о бюрократе-подхалиме Култышкине и о сборщике подписей (вариант рассказа). Рассказ мой о полисмене все не печатают. Он мне уже не нравится, и я взял бы его из редакции, если б не нужда в деньгах и в напечатании.

2.III.1953 г.

Чуть-чуть было мне не повезло в жизни. Но все дело сорвалось. Рука судьбы беспощадно карает меня. В конце февраля я окончил рассказ о боксерах в Зап. Германии. Понес в газету «Сов. спорт». Там прочли, одобрили и... предложили переделать. Кроме этого, мне предложили, даже без всякого намека с моей стороны, стать их постоянным, штатным сотрудником, т. е. корреспондентом. Я не знаю, как мне удалось удержать в себе весь восторг, который охватил меня. Еще бы! Четыре месяца без работы, а тут вдруг как с неба счастье. Я уже было подумал, что наконец-то бог и судьба сжалились над бедным человеком. Ан нет! Не тут-то было! И тут жизнь подставила мне подножку. Я заполнил анкету, написал автобиографию, повели меня к зам. ред. Тот встретил меня с шикарной улыбкой. Но заметив, что я заикаюсь, как-то увял, поблек... Когда я осторожно намекнул ему о работе, он весьма вежливо сказал: перерабатывайте пока рассказ, а потом договоримся.

Рассказ я переработал, принес ему, он его взял, но о работе уже ни слова. Так и пропала моя корр. работа ни за понюшку табаку. А я-то уж было размечтался...

За это время я написал след. вещи: пьесу о подхалиме «Култышкин», рассказ о любви («Персидская песнь»), рассказ о боксерах («Триста долларов»), рассказ о слепом музыканте («Подвиг»). Рассказ «Обиженный полисмен» напечатали в «Московском комсом.» 17 января. Я его немножко отшлифовал и отнес в издательство «Молодая гвардия» (Альманах молодых). За это время я претерпел столько неудач, столько мытарств, столько отказов, что могу с уверенностью сказать, что и на все эти вещи получу отрицательный ответ.

6 марта 1953 г. Ночь.

Не спится. Сижу и размышляю над своей судьбой и вообще обо всем. Последние дни мне упорно «везло». Рассказ мой о боксерах соглашались взять сразу две редакции — «Московский комс.» и «Сов. спорт». Кроме того, был согласован вопрос о принятии меня на работу разъездным спец. корреспондентом в газету «Сов. спорт». Я написал автобиографию, заполнил анкету, с великим трудом достал справку из домоуправления, с работы... и все эти документы сдал 5 марта секретарю редакции. Редактора не было. Он должен был быть вечером и провести меня приказом. 6 марта, т. е. сегодня, я должен был уже явиться в редакцию за назначением. Но сегодня утром над страной разнеслась тяжелая весть — умер Сталин... И я не поехал в редакцию: до меня ли там сейчас! На душе тяжело. Сегодня весь день по радио передавали трагические мелодии, и Левитан читал правительственное

сообщение о смерти вождя. В Москве объявлен траур на три дня. Траурные флаги, афиши заклеены белой бумагой, кино не работает. Завтра я все же пойду в редакцию. Быть может, меня уже провели приказом. Если же нет, то тогда, значит, вообще не примут на работу. Сегодня стали известны результаты совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. В правительстве большие изменения. Вполне вероятно, что изменения эти коснутся и Комитета по делам физкультуры и спорта, а следовательно, и газеты. Будет другой редактор, другая будет и обстановка.

В общем, завтра в моей личной судьбе все выяснится. Я почему-то уверен, что мне не повезет и на этот раз. Так уж паршиво складывается жизнь моя. Что делать?

Из дневника 1959—1966 гг. [4]

20—22 августа 1959 г.

В окно машины летит сенной дух, смешанный с пылью.

Под дождем старая, заросшая подорожником дорога загорелась красно-коричнево (цветы подорожника).

Сухой лен, ставший уже рыжим, с шоколадным отливом наверху, звенит под ветром, сухой звенящий шелест (или шелестящий звон).

Обратно (были в дер. Пустынь) шли вечером. На полях туман. Множество запахов, в осиновом и березовом лесу на дороге пахло то баней, то марганцовкой, а когда шли мимо льна — мокрым бельем.

Все время стоит <...> жаркая погода — хлеб, лен, клевер, горох — все горит. Во всем чуется неподвижная истома засухи. На дорогах пыль в два-три пальца. Но уже конец августа, и в солнце нет пыла и жара — только видимость силы. И есть во всей природе что-то лихорадочное, что-то больное и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хоть и далеко еще до него.

А ночи холодные, туманные, росистые, луна всходит над лесом и туманом полная, красная, будто крови напившись. Сумерки торопятся, уже в 8.30 наступают. Вот и еще одно лето отошло, отмерло и отпало с души навсегда.

Сейчас думал опять о Л[енингра]де 57 года, и опять ударило по сердцу. Господи, господи, за что такая мука мне. Другие если и счастливы, так хорошо, а я на всю жизнь болен. А главное в том, что не могу стряхнуть с себя это, и хоть рассказ написать впору тому счастью, чтоб уж и крест поставить. А все, как моль, кружусь вокруг огня.

24 августа 59 г.

Сегодня несколько часов провел в дер. Новоселье. Бесконечно милая деревенька в 7 дворов, затерянная, заглушенная перелесками. Обратной дорогой хорошо думалось о ней, о том, что вот если бы жил кто-нибудь в этой деревне близкий, помнил бы, думал, а ты знал бы это и возвращался иногда сюда из гула городов.

Думал также и о большом рассказе. Надо, чтоб герой не был бы старым — лет 42—43, и не он болел бы всю жизнь, а жена, и из-за нее не мог он жить, как должен был. Жить — значит вспоминать, жизнь — воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идем, оборотив лицо назад, и все видим, вспоминая себя в прошлом.

Денек сегодня замглился во второй половине, посоловел, но

теперь на закате опять солнце. Красное. Душно было весь день с утра, но и ветер налетал порывами, и ветер уже не летний, прохладный. Льняное поле, что давеча звенело, — вытеребили, стоит снопиками.

Не давать сердцу своему раскрываться, не позволять радоваться, говорить: «Не сметь! Не сметь!» — тогда хорошо, легче переносить страдания. А поверишь — и погиб, пропал.

9 мая 60 г. Голицыно

С востока почти черной стеной вставала грозовая туча, а с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им (деревья, дома) казалось по сравнению с тучей особенно, зловеще красным.

В апрельском, еще сквозном, лесу все было так напряжено, так переполнено, что пень от спиленной зимой березы был покрыт розовой шапкой пены, а рядом корень этого пня пустил по земле целый ручей сока, и к этому ручью со всех сторон слетались пчелы, шмели, первые бабочки и ползли муравьи.

6 июня 60 г. Голицыно

После грозы. Все пыльное, струящееся, и в то же время застывшее. Налетают короткие пыльные вихри. Небо обкладывается. Гроза с молниями и водяной пылью над крышами, над дорогами. А потом желто, робко выглядывает солнце предвечернее сквозь тучу, и все темно-зелено, все блещет, всюду каплет, и уже орут радостные по дворам петухи, и кошка вышла под небо, осторожно обходит лужи. Да, еще пустынно, все живое, попрятавшееся от грозы, еще не опомнилось, еще затаено, но петухи орут, и кошка вышла, и мокрая собака уж катается по мокрой траве — высшее наслаждение.

13 мая 61 г. Коктебель

До поездки на Север нужно написать:

1. Ночной разговор, 2. Вон бежит собака, 3. В ту далекую ночь, 4. Один час на Контемпоранул.

14 мая 61 г.

Сегодня вечером под грозу за 3 часа написал «Вон бежит собака!».

24 апреля 62 г. Таруса

На тяге. Из оврага тянет снежным холодом — такой чистый родниковый воздух. По дну оврага бежит ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожат, сгибаются и медленно выпрямляются в борьбе с течением. Где-то ниже ручей журчит на камнях, и такой звук, будто бьют сырое полено о полено, то будто кто-то вытащил с чмоканьем ногу из болота.

В полете вальдшнепа есть что-то неземное, как у пришельца из мира птеродактилей, кажется, у него перепончатые крылья, и

летит он волнами, и хоркает ни на что не похоже, ни на какой земной звук. И вот уже горит Венера, чистой блестящей каплей сверкает между черных ветвей, между бархатно-черными стволами дубов. А на востоке уже висит белая яркая и маленькая луна.

Подбитый вальдшнеп шуршит листвой под кустом, упруго подскакивает на одном месте, подпираясь крыльями, глаз у него огромный, и вся грудь, клюв, изгиб шеи устремлены ввысь, в тоске смертной. И еще что-то везде раздавалось, то заунывно и постоянно: у-у! у-у! у-у... то загадочно — в разных местах — тррр, тррр... А уж весь низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост на вырубке, шоколадно просвечивал сквозь них.

Видел только что токующего воробья. Самочка неподвижно сидела наверху, а самец, слегка развалив крылья, опустив концы их вниз, сделав спину корытцем и торчком подняв хвост, прыгал по веткам вокруг нее и чирикал изо всех сил.

10 января 63 г.

С нового года наконец сел за повесть о военной Москве. Написал всего три страницы, и все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.

Это, пожалуй, первая вещь, которая сразу мне не дается, но которую писать все-таки надо. Почему — не знаю, но уже года три-четыре она сидит во мне...

21 января 63 г.

Еле кончил первую главу — 6 стр., очень плохо идет. Мороз 35° (вечером).

23 февраля 63 г.

Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи.

Джаз поет о смерти, все о смерти — какая тоска! Но жизнь. А он все о смерти.

10 марта 66 г. Ясиня

Весна тут. Шумит Черная Тисса, которая вовсе не черна, а зеленовата. Вдоль дорог деревни, деревни с черепичными, тесовыми, плиточными крышами. Волы бредут. Лошади все парами, с красными кистями, а у возницы на кнуте у основания красная кисточка. Деревянные церкви с кладбищами, больше и меньше. По сторонам складчатые отлоги невысоких гор. В горах там и сям разбросаны хутора. Вечерами на черно-пепельном фоне

гор, под высоким смутным, резко отбитым небом дрожат красные звездочки — жгут костры, и даже кажется тогда, что видишь дымки, ползущие по складкам.

Еще выше уже никто не живет, начинаются леса. Потом и леса пропадают, и, как сахарные головы, сияют снежные округлые вершины. Когда солнце спускается за горы — снежные поляны глазурно блестят.

6 марта.

Алешка внезапно заснул, а мне захотелось вспомнить, как я проводил Т. и А. 1 марта в Москву, а сам, таща за собой такие полегчавшие санки, пошел домой. Как щемящи все-таки проводы, даже на подмосковной платформе, даже на 2—3 дня, если ты дорожишь теми, кого провожаешь.

Шипение, стук дверей, прощальное, уже смутное сквозь нечистое стекло, уже отрешенное от тебя лицо, подвывание моторов, мелькание вагонов — чем дальше, тем все более скорое, и вот уже вспыхнул красный огонь на светофоре, вот уже ты один на платформе — пора идти домой. Но я не сразу пошел домой, а решил по дороге свернуть на какую-нибудь улицу, поглядеть на пустые дачи, на заброшенность, на сады.

Попал я на ул. Горького и пока шел, пока глядел на все эти поэтически заколоченные дачи, так горько было мне от воспоминаний, от мыслей о своем житье десятилетней давности. Господи, чего бы я не отдал, чтобы перезимовать на какой-нибудь даче, сколько бы я наработал тогда!

Сыпал мелкий снежок, будто март поменялся с февралем, было тепло, пасмурно. Я тихо брел по улице, разглядывая дома, яблони. В одном саду большая яблоня вся была в замороженных темных яблоках — что это? Умер кто-то, и не до урожая стало, или уехали все раньше времени, или какая-нибудь немощная старуха жила и не смогла снять яблоки, а соседей попросить не захотела?

Шел я, шел и вышел на кладбище. Давно я знал про это кладбище, но попал на него впервые. Могилки в лесу. Тишина, усугубляемая сеющимся снежком, две-три свежие могилы, ограды, ограды... Отчего-то мода пошла последние лет двадцать на ограды — вглубь, бывает, не только гроб не пронести, пройти и то трудно. И так не хватает церковки! Зато лес кругом, и на кладбище лес, а это теперь так редко, всё мы хороним дорогих своих покойничков на пустырях каких-то.

На солнце капель, в тени 3°. Ходил сегодня с А. на лыжах, т. е. он ходил, а я его поддерживал за руку. Так он уморился, что, пообедав, пошел в свою комнату, полез на кровать и не залез — заснул — одна нога на полу, другая на кровати.

Вчера ночью мороз был 30°. Луна встает поздно и на ущербе. И дивно сияет по вечерам Венера. Так и знаешь — как объявилась

Вечера на закате, так, значит, весна.

1 час ночи на 7 марта. Мороз 20°. Звезды.

10 марта.

Вчера увидел, как пьют синицы. Садятся боком и несколько вниз головой на кончик сосульки (и не соскальзывают!) и подхватывают срывающиеся с сосульки капли. По-прежнему солнце, и по-прежнему ночью 23 — 25, днем 3—4°.

У забора и под елкой у окна показалась земля. Странно на всем буром и неживом видеть блеклую зелень листочков земляники.

Сойка к кормушке подкрадывается воровски. Садится в отдалении, затем перелетает за одну елку, через минуту за другую поближе, и так еще раза два, и, наконец, убедясь, что опасности нет, распугивая всякую мелкую тварь, бросается на кормушку. Жадность неимоверная.

11 марта.

Ночью было 27°, сегодня в полдень 14°. Морозы устойчивы, как в крепкую зимнюю пору. И все-таки во всем весна — в обилии света, в синеве неба, в винном цвете ветвей дерна.

15 марта.

Сегодня первый настоящий, прямо апрельский весенний день. В ночь с 12. III на 13 поднялся вдруг ветер, да такой сильный, что у нас на трубе свалило флюгарку, и я удивляюсь, как не упало ни одно дерево (они тут довольно слабо стоят и часто валятся). На следующее утро термометр полез вверх, днем было 4°, ночью на 14. III +2°. В доме стало сразу жарко, захотелось открыть все форточки, я в своей комнате отключил одну батарею, и все равно было жарко. Котел впервые за $2^1/_2$ месяца переведен был на тихий режим и теперь еле топится, отдыхает.

Вчера было солнце, и все таяло, но ветер по-прежнему гнул и встряхивал ели и березы. Какой-то яркий пронзительный тепло-холодный день.

Зато сегодня тихо, днем было +6°, южная часть крыши вся освободилась от снега и подсохла. Снег в лесу и на полянах сразу оскудел, посерел. Еще два дня назад, засыпанный сбитой ветром еловой рыжей хвоей, он потерял всю свою весеннюю яркую прелесть, а теперь уже его и жалко как-то — вместе с ним уходит еще одна наша зима — не самая лучшая в жизни, но и не худшая.

Удивительное состояние было у меня в 1962 г. Как много я работал, но как много же и ходил по окрестностям Тарусы — ни одного дня не пропустил, а теперь кажется, что и ни одного часа! И какое особенное чувство первой в моей жизни настоящей весны было тогда у меня! Запахи подтаявшего на дорогах навоза, вытаявшей земли, набухающие леса, розовеющие вверху ветви

берез...

И вот сегодня утром, когда я вышел подсыпать птицам семечек, тишина, весенний воздух, небо, деревья, все ввергло меня в пучину времени, и на минуту опять я вернулся в весну 62-го. Но только лишь на минуту.

Страшно хочется куда-то поехать, чтобы не пропустить чего-нибудь, что, может быть, запомнится на годы.

Несколько дней назад посадили зеленую брокколи (неизвестный у нас сорт капусты), вчера проклюнулись пять росточков, сегодня уже одиннадцать.

Вчера с Алешей собирали на солнце чашечки от желудей. «Это с дубка!» — не уставал повторять он.

22 марта.

Все эти дни — солнце. Снег горит! Днем +5—6°. На косогорах, обращенных к югу, снега нет. Пора бы прилететь грачам. М. б., уже и прилетели, да я не видел? Собираюсь через неделю в Арх-ск.

21 апреля.

Вечер. Молодая луна.

Уезжал в Архангельск, и вся весна здесь прошла без меня, т. е. таяние снега, ручьи, разлив Яснушки и т. д.

Но весна все-таки не кончилась. Она сейчас в каком-то срединном состоянии — ни то ни се. Снег сошел, весь хлам выпер наружу, грязная жухлая трава, запустение и серость на земле. Именно серость, грязность, все то, что выпадало пылью, сажей и прочим всю зиму, — все это теперь, когда снег ушел, осело мельчайшими порошинками на былье, на сохлых листьях, на самой почве. Должна появиться зелень, чтобы скрыть все это, дожди — чтобы смыть.

Зато когда переведешь взгляд вверх... Почки совсем лопаются, небо даже как-то давит глаза своей умытостью, чистотой, елки страшно Зелены и пушисты, каждая иголка сама по себе. Птицы прилетели все.

Два дня назад было совсем по-летнему— +19°.

Зато вчера и сегодня еле к 2 часам дотягивало до +7—8°, а вчера ночью было — 6°. Сегодня опять заморозок.

Два дня видел в изобилии первые живые цветочки, не знаю, как по имени, как крошечные подсолнушки. А сегодня у забора увидел лиловато-розовенькую медуницу. На огороде проклюнулись (видимо, уже дня три) ревень и многолетний салат. Вчера посадил в ящик огурцы. Теперь надо копать, рыхлить, удобрять...

19. IV посажены огурцы.

21. IV посажена свекла.

Из записной книжки 1981 г. [6]

20 марта.

Сюжеты. Юнкер Шмит.

Журналист Ш. возвращается из полярной командировки, был у буровиков. На станцию везут на тракторе. Ночь, жгут костер из шпал. Поезд заиндевелый, пахнет антрацитом. Стучит «тете Клаве». Проводница пьяная, помещает в купе к женщине. Ш. неловко. Мохнатые ресницы, потрескавшиеся губы, курит. Волосы черные, с каштановым отливом, прямые, отчего лицо узкое, запястье тонкое, с браслетом, обручального кольца нет, стеганый халатик, запах духов. Ш. быстро засыпает. Просыпается от ослепительного матового зимнего света за окном, чистейшие снега. Жидкий чай, пахнущий хлоркой. Женщина одета, в юбке, Ш. лежа смотрит на нее, перехватывает ее взгляд... Задремывает, просыпается, опять свет. Идут обедать. Пьяный ресторан, бормотуха в трехлитровых баллонах. Идут назад.

На Яр. вокзале Ш. просит телефон — визитная карточка ст. н. с. к. техн. н. Написав очерк, едет в отпуск под Сухуми... Тоска по спутнице, звонит ей, зовет, наконец, вымаливает приезд. Ночь, ждет на шоссе. Показывается такси. Он следит за фарами, такси срывается в пропасть, загорается. Ш. кажется, что он сам горит, сбегает к морю, раздевается, кидается в прибой. Вода холодна, луна вышла из-за туч, снег на горах бело-голубой, от одного взгляда знобит, но Ш. горит, тело, душа как в огне...

Записать:

1. Ангел небесный
2. Жизнь и смерть С. П. о кларнетисте
3. О Чифе
4. Яснушка
5. Об Абрамцеве
6. То Гамбринус, то Праздрой.

Из повести "Две ночи" ("Разлучение душ")[7]

Сосуд раздрася безгласен, мертвен, недвижим, таков живот наш есть: цвет и дым, и роса утренняя; воистину придите, убо узрите во гробех ясно, где суть. Очеса и зрак плотский, все увядоша, яко трава, все потребишася.

Велий плач и рыдание, велие воздыхание и нужда, разлучение душ, ада погибель, привременный живот, сень непостоянная, сон прелестный...

Иоанн Дамаскин

Ночь первая

Их было четверо в ту ночь — две женщины и двое мужчин. Еще не было девяти часов, когда поодиночке, не торопясь, стали они подниматься на крышу.

После долгого летнего жаркого дня, после изнурительной и спешной работы на войну, после жужжанья станков, запахов масла и металла там, где делали снаряды, или запахов ваты и новой материи там, где шили телогрейки и гимнастерки, или запахов лекарств, бинтов и гноя там, где поправлялись и умирали раненые, после дня тревожных слухов и обсуждений, многократных объявлений по радио, боевых маршей и песен, после сводок Информбюро, в которых говорилось, что наши доблестные войска громили противника на всех фронтах, но почему-то оставили еще один город, после длинных очередей в магазинах, после немыслимой летней красоты мрачного дня они должны были подняться на крышу своего дома, чтобы дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть сверху на немыслимую красоту затемненной Москвы.

Поэтому они не спешили, поднимаясь по черной лестнице на крышу. И еще потому, что дом был высокий, старый, шестиэтажный, а они устали, и еще там, наверху, — они знали — опять, как и вчера и позавчера, будет тянуться тягостное ожидание тревоги и отдохнуть нельзя будет.

Все они тогда, в то далекое время, были молоды, видели каждый день небо и улицы и, несмотря ни на что, никто из них не верил, что будет убит когда-нибудь или ранен. И хотя война, начавшаяся месяц назад, была войной, которую никто из них даже представить себе раньше не мог, — для каждого из них была война вообще: для всех, для других, а они, хоть и участвовали уже в ней, должны были уцелеть, что бы там ни было, — это каждый из них знал твердо.

И вот, поднимаясь по гулкой темной лестнице с железными перилами, с различными надписями на стенах, с запахом кошек и земли из засохших цветочных горшков на подоконниках, в темноте — стекла в окнах вылетели при первой же бомбежке, и окна были забиты фанерой, — нужно было хоть пять минут побыть наедине с собой и подумать о том, что же все-таки делается и как жить дальше. Но сколько ни останавливайся, сколько ни клади лоб на холодное железо перил, лестница все равно выводила каждого на чердак, а оттуда на крышу. И скоро они собрались все.

Их было четверо на крыше, над Арбатом, надо всей Москвой, в вечернем, уж мглистом воздухе, а пятым был мальчик Коля.

Первой на крышу пришла Лена. Она была богиня, мотогонщица и амазонка. Все ребята с Арбата и из переулков знали ее красный с никелем «индиан-скаут», у каждого в душе, как сияющий образ, горели неугасимо ее нечеловечески красивое лицо и летящая фигурка в мужской ковбойке или в жакетике, прекрасные ноги в бриджах и крагах, нежно сжимающие ревущий звероподобный «индиан-скаут»!

Она ездила по стене в парке культуры, каждый вечер, заездов по пятнадцать — двадцать в паре с красавцем Монтеко. Она выходила, сильным ударом откидывая занавеску в стене, на круглую арену внизу, торопливо докуривала папиросу, поправляла локоны и привычно вскидывала руку и глаза, приветствуя свесившихся сверху, с антресолей, зрителей. Потом восточной походкой выходил Монтеко, и они вдвоем, уже не обращая больше внимания на зрителей, начинали ощупывать свои мотоциклы. Потом мотоциклы по очереди встрескивали, Лена прыгала в седло уже на ходу и начинала набирать скорость на кругах, на арене, все больше смещаясь в сторону, выписывая эллипс своей судьбы, каждый раз поднимаясь все выше по закругленной внизу стене и тут же съезжая на арену. Когда мотоцикл ее уже тигрино рявкал и весь деревянный цирк начинал кряхтеть и подаваться, покачиваться в ритме ее наездов, она, выбрав момент, въезжала на стену и больше не спускалась на арену, а все прибавляла газу и поднималась по стене выше, выше — к самым лицам зрителей, и зрители качались вместе со стенами, как в море, и ветер бил им в лицо, и шевелились, подавались, стучали и скрипели под колесами доски, а внизу разгонялся, начинал въезжать на стену и съезжать, беря новый разгон, красавец Монтеко.

А потом они летели один за другим по стене, это было страшно и прекрасно, лицо ее бледнело, глаза расширялись, и длинные рыжеватые локоны ее развевались сзади, оставляя за собой золотой след, как бы медную спиральную полосу, медленно гаснущую, как след болида, — волнами мчались они друг за другом, и в извечной тоске она убегала, а он догонял ее, и весь цирк шатался и был окружен снаружи толпой, внимавшей треску и реву внутри, переминавшейся в нетерпении скорей попасть туда, наверх по крутой лестнице и увидеть это чудо.

Вечером, усталая, бледная, с кругами под глазами, она выводила свой «индиан» из цирка, улыбалась поздним зрителям, поджидавшим ее, и уносилась домой на Арбат. На огромной скорости мчалась она по Садовому кольцу, но милиционеры

знали ее, козыряли и долго смотрели вслед.

И это было всего месяц назад! И уже две недели она не жила дома, училась на курсах медсестер, работала в госпитале, таскала вместе с санитарами раненых из палат в операционную и назад или выносила умерших в подвал. Ей уже выдали гимнастерку, юбку и сапоги, а она ненадолго заходила домой, злилась там в одиночестве, неохотно пила жидкий чай, смотрелась в зеркало, кривила рот — две недели она ждала ответа из военкомата, а ответ не приходил. «Надоело! — кричала она по телефону Пескову и даже стучала по столику. — Элька, ты ни черта не понимаешь! Ты забыл Испанию! У нас сейчас все горит, города горят, пойми ты это! Я туда хочу, я в авиацию хочу!»

Пескова звали Элигием, но имя его во дворе как-то не прижилось, и клички ему подходящей не придумали, так и звали с детства: Песков да Песков. Зато Василий как только приехал на Арбат лет двенадцати, как вышел первый раз во двор и увидели его ребята, увидели его припухшие губы и глаза, так сразу и решили: Губач! — и точка. И имени даже не спросили.

Ночь шла на убыль. Самолеты, частью отбомбившиеся, частью отогнанные, начали уходить один за другим на восток и на запад, прожектора стали гаснуть, зенитки умолкать — приходило время отбоя.

Но последний, одинокий самолет еще бродил, как заблудившийся, еще ныл и вибрировал на недосягаемой высоте, в посоловевшем небе. На него уже не обращали внимания, хоть он с подозрительным упорством все возвращался и возвращался. Один только далекий прожектор вяло бродил по небу, в надежде на счастье, и одна пушка (с соседнего высокого дома) посылала в высоту редкие неохотные очереди. Все остальные молчали и ждали. Скоро угас и прожектор, и только пушка все стреляла. Внизу перекликались и громко ходили дежурные во дворах и на Арбате.

— Эгей! — заорал Губан, и стало ему весело, закрутил над головой клещами. — Давай все сюда! Отбой!

Когда все сошлись, топая по крыше, приглядываясь друг к другу в полутьме самого раннего рассвета, нервно и устало посмеиваясь над своими запачканными копотью лицами, Губан потянулся, снял рукавицы, положил за трубу клещи.

— Все! Концерт окончен, пошли, огольцы, покурим! Ах ты, моя ягодка! — опять заорал он и лапанул Фаину. — Пойдем, погреешь!

— Уйди, дурак! — счастливо и устало сказала Фаина, но тотчас послушно пошла за ним к слуховому окну. За ними пошли и Песков с Колей. Уже занеся ногу в окно, Песков оглянулся на

Лену.

— А ты что? — удивился он.

— Лезь, лезь, — грустно и нежно отозвалась Лена. — Покуришь, выходи, на рассвет посмотрим... Чинарик притащи, не забудь!

— Ладно, я сейчас, — сказал Песков и скрылся.

Последнее, что видел, залезая в окно, Коля, — это как Лена прилаживалась возле трубы, подбирая к подбородку колени и обтягивая на коленях узкую военную юбку. Между голенищами сапог и юбкой нежно светились ноги в шелковых чулках, и Коля, пристально поглядев на эти сапоги и ноги, и юбку, и на лицо Лены под пилоткой, почувствовал вдруг горячий толчок, царапину первой детской ревности к Пескову. А потом и он, с горящими щеками, нырнул в теплую темноту чердака.

Все собрались возле открытой двери черного хода, у бочки с водой, Губан и Песков уже курили, причем Губан сидел на корячках, спиной к притолоке, свесив руки, и плевал на шлак под ногами после каждой затяжки. Песков курил папироску, Губан — махорку, и дым, смешиваясь, пах сладко, вкусно.

— И чего он, зараза, летает? — спросила Фаина, подняв лицо к крыше и слушая ноющий звук.

— Разведчик, — сказал Губан, морщась и жарко затягиваясь. — Это он хочет поглядеть, чего они тут понаделали...

— Бомбу еще бросит, — опасливо сказала Фаина, нервно прислушиваясь к редким очередям пушки и вою в вышине.

Песков и Губан засмеялись:

— У него и бомб-то нет.

Улыбка еще не успела сойти с их лиц, когда это случилось. Резкий, молниеносный грохот, подобного которому не слыхал никто из них ни разу за все ночи, потряс дом, раскидал всех, задушил и оглушил.

Если бы кто-нибудь в эту секунду посмотрел на Вахтанговский театр, он увидал бы, как в нежнейшем сиянии рассвета к небу вздымается тугой толстый столб чего-то плотного, черного. Это плотно-черное будто до сих пор находилось в сдавленном, спертом состоянии, а теперь, освободившись, все время расширялось, распухало, росло вверх и в стороны, из него все время вырывались новые и новые перекрученные клубы и клубочки, и клубочки эти были уже не такие черные, как сердцевина, а посерее. И еще в этом громадном расширявшемся столбе черного мелькали, показываясь и пропадая, какие-то небольшие предметы, похожие на кубики и спички. Но это были не спички, а куски стен и балки, они были огромными, но на большой высоте казались маленькими, и

только по тому, как медленно они переворачивались, выныривали из черного и опять прятались там, как в прибое, как в пене, можно было догадаться, по медленности их кувырканий, какие очи огромные и тяжелые. Но они не только летели вверх и кувыркались, они еще распадались на более и более мелкие куски, а балки, мгновение назад еще прямые, вдруг оказывались уже скрученными, и все это разрасталось, распухало, умножалось, как лавина, как снежный ком, и по своей похожести на лавину это должно было падать вниз, а оно двигалось, поднималось вверх, будто стало легче воздуха, как аэростаты, и движению этому, удалению от земли, казалось, не будет конца.

Наконец все остановилось, какое-то время висело неподвижно, а потом стало неохотно валиться назад и далеко в стороны по каким-то странным траекториям, дым совсем поредел и стал расползаться шапкой и тоже оседать вниз, но еще медленнее, чем валились обломки.

Этой устрашающей красоты никто не видел, потому что не только там, наверху, но и тут, на земле, все падало, рассыпалось, съезжали и разрывались крыши, валились стекла и рамы, отбитые карнизы, текла кирпичная пыль из глубоких оспин, оставленных на стенах визжащими раскаленными осколками, и уже давно — секунды две — лежали без сознания или убитые люди, застигнутые взрывом на открытом месте.

Коля, который в момент взрыва стоял лицом к открытой двери черного хода, почувствовал, как по спине ему изо всей силы ударили широкой доской и, кувыркаясь, полетел на первую площадку. Очнувшись, он завозился, пытаясь встать, руки его попали в мокрое, и он с ужасом решил, что ранен. Но руки и ноги был целы, и, вглядевшись в полумрак, он понял, что опрокинулась бочка с водой, стоявшая на верхней площадке, перед дверью на чердак, и вода теперь звенела и лилась в тишине уже далеко внизу, стекая с пролета на пролет.

— А-а... а-аа... — услышал он стон на чердаке, и тут же Губан громко позвал там же:

— Фаичка! Коля... Живы? Эй!

Как пьяный, весь в белой пыли, Губач вышел на площадку и стал тупо глядеть, как встает на четвереньки и хватается за подоконник Коля. С трудом повернувшись к чердаку, он опять крикнул:

— Эй! Кто...

В этот момент, пригнувшись, с черным лицом, держась за живот, из чердачной темноты вывалился Песков, молча и сильно оттолкнул Губача и бросился через две ступеньки вниз. Ноги, наверное, не слушались его, потому что на втором пролете он

упал, поднялся, загрохотал дальше, снова упал, опять загрохотал...

— А-а, не могу... — снова стон и такой низкий, что Коля не узнал голоса.

— Фаинка? — позвал Василий. — Где ты?

Зацепившись за порог, он пошел на чердак, ходил там ощупью, скрипел шлаком и звал:

— Где ты? Где ты, ну где ты?

Потом стихло, и вдруг — почти рычание из глубины:

— Не трогай, ооуу... уйди, оо...

— Давай, давай... Ничего, ничего... — тяжело дыша, бормотал Василий.

Они показались вдвоем, Губан закинул руку Фаины себе на шею, а она шла, цепляясь за стену, и стонала уже однообразно и тихо.

— Куда это попало? — бормотал Губан. — Колька, куда это попало, а?

— Лена где? О-о... Лена?

— Потихочьку... Вот так...

— Лена-а! Пусти...

— В наш дом засадили, что ли?

— А мы живы, Вася? Ты не бросай меня, больно мне... Все тело больно.

— Ты на меня, на меня опирайся...

— Вот он летал-то, Вася, так я и знала...

— Что делают, сволочи, а? Что делают, гады?

— А вы смеялись...

— Куда это Песков кинулся?

— Где Лена-то? А Коля? Коля, где ты, я не вижу! Иди вниз... О-о!

Так они и сходили медленно, со стонами, держась за перила и стены, ничего еще не зная, что там снаружи, внизу, чувствуя только тупую боль и ярость.

Воздух был красным, когда Коля вышел во двор. За минуту перед тем уже отчетливое утро теперь померкло, и стало темно. Это стояла в воздухе, не осела еще кирпичная пыль, поднятая взрывом. То тут, то там в красноватом сумраке раздавались вопросительные и деланно-бодрые голоса дежурных:

— Куда попало-то?

— Стой! Где рвануло?

— Рядом тут, не знаю...

— Давай на Арбат!

— Стекол-то, стекол!

— Что? Эй, кто там? — куда, говоришь?

— В театр попало...

Из бомбоубежища в конце двора рвались на волю люди, думали, что их завалило, глухо барабанили в дверь, глухо визжали женщины. Туда побежали сразу несколько дежурных, стали кричать наперебой:

— Тихо, тихо!

— Спокойно, граждане!

— Ничего не произошло, все в порядке, сейчас отбой дадут!

— Это волна была, воздушная волна!

— Стекла? Стекла все целы!

Странно, но стекла все выбиты были наружу. Выбило и рамы, выбросило фикусы, кастрюли, аквариумы — все это навалом валялось по всему двору, и все хрустело и звенело под ногами.

Коля пошел было к воротам на улицу, но тут же остановился, побледнев и приоткрыв рот. Возле стены сидела и морщилась Фаина, немного поодаль, ближе к середине двора, стоял сутуло Губан, стоял на коленях Песков, а между ними лежало что-то изломанное, страшное, вовсе не похожее на человека.

Песков по очереди, молча и сосредоточенно, брал то руку Лены, то голову, то пытался выправить неестественно, как у тряпичной куклы, откинутую и вывернутую ногу, то принимался поправлять, одергивать юбку, потому что все было задрано до живота, но тут же оставлял все как было, только притрагивался — и оставлял. Губан, наверное, хотел закурить, шарил, хлопал себя по карманам дрожащими руками, но ничего не мог найти.

Коля глянул на это раз, другой, потом испугался, зажмурился. Хрустя стеклом, он начал обходить это, и опять остановился. Навстречу ему от ворот бежали люди в белом, много людей, как ему показалось, с сумками и носилками. Двое сразу же подбежали к Лене, нагнулись, перекатили ее навзничь, глянули и побежали дальше, молча, деловито. Песков вскочил с колен, догнал, схватил одного за ворот белого халата сзади, рванул так, что тот повалился, разрывая халат.

— Ты что? — Песков, не выпуская халата, попятился, поволок лежавшего. — Ты, гад, куда бежишь, а?

Его обхватил сзади Губан, кричал в ухо, навзрыд:

— Отпусти, отпусти... Она же... Элька! Песков! Слушай меня, она же... Отпусти! Брось, милый! Иди к ней! Иди к ней! Погляди на нее еще! Погляди на нее! Она же... Последний раз, Песков! Отпусти, слышишь! Иди к ней...

— А-а! — закричал Песков так, что эхо пошло по двору. — Пусти меня! Где? Лена! Леночка! Где? Где? А-а! Ленка же! Губан!

Фаина, бормотавшая что-то у стены, повалилась, завыла. Коля вдруг повернулся, побежал на Арбат, а сзади кричавший

Песков схватил Лену под мышки, хотел унести куда-то, и ноги ее вяло поползли по мусору и стеклу, а Губан стал отпихивать Пескова, вырывать у него Лену...

Арбат был завален обломками…

…Арбат был завален обломками, провода троллейбусные были оборваны и провисали, несколько столбов повалено. Из магазина напротив театра полз удушливый желтый дым и растекался вверх и вниз по улице. Все стекла во всех домах, а в ближних и рамы были выбиты, все это было настолько необычно и страшно, что Коля опять на минуту потерял сознание. Он не упал, но только ничего не понимал, как, бывает, не понимают ничего идиоты.

Он прошел еще немного и наконец увидел место, куда попала бомба. Театр был разрушен до основания. Осталась только часть сцены наверху и часть зрительного зала с креслами. Все остальное было уничтожено. Возле театра росли прекрасные старые липы в два обхвата — от них не осталось даже пней. В переулке стояла машина, осколок попал ей в багажник, пробил насквозь и вырвал мотор вместе с радиатором.

На обломках уже суетились люди, что-то приподнимали, растаскивали… От Арбатской и Смоленской площадей уже подъехали трактора, уже заводили тросы и тащили в сторону самые крупные обломки стен от подвального этажа. На тротуарах вверх и вниз лицом лежали несколько убитых, к ним не прикасались, бегло только заглядывали в лица и отворачивались. Пронзительно выли сирены «скорой помощи». Из переулка от родильного дома двое вели санитарку в белом халате. Осколок попал ей в лицо, сорвал шапочку, она шла, запрокинув голову, дыхания у нее не было уже, она могла только коротко, подстреленно вскрикивать: «А! А! А!» — и после каждого вскрика слышен был хрип. Кровавая масса на ее лице пузырилась. На ослепительно белый халат падали комки крови и слоями, слоями оставались на белом халате до самого подола. Две женщины, которые вели ее, качались от ужаса и дурноты. Всюду пахло кислым дымом тола.

Вдруг Коля вздрогнул и оборотился в ужасе. С хриплым чужим криком, страшная, старая, всклокоченная, с мокрыми от слез очками, спотыкаясь, подбегала к нему мать…

— Коля… Колечка… — И, налетев на него, сев возле него на дробленые кирпичи, сказала, обеспамятев: — Га! Га! Сы… Сыночек! Га! Жив? Жив? А мне сказали… Га! Сказали, понесли сыночка…

Коля затрясся, лицо его поплыло, ноги задергались, будто он все бежал, бежал, он зарыдал, ведь он был маленький, еще мальчик, Коля — с веснушками, с прозрачными ушками, худой…

Теперь Колю все зовут Николаем Петровичем. Ему тридцать три года, и когда его спрашивают, сколько ему лет, и он отвечает, то почти всегда он слышит одно и то же: «О! Возраст Иисуса Христа!» И ему делается почему-то стыдно. Как будто он виноват, что, дожив до тридцати трех лет, не совершил еще ничего легендарного.

Он давно женат, и сын у него есть, очень похожий на того давнишнего Колю, только звать сына Петей. Живет Николай Петрович по-прежнему в Москве, только не на Арбате, а на Юго-Западе в новой квартире. Работает он на заводе, любит ловить рыбу...

И вот уже сколько прошло с тех пор — кажется, целая жизнь прошла, и тогдашний Коля ушел навсегда во тьму времен, и его никогда больше не будет на земле — того Коли, в тот июльский вечер в Москве.

Теперь это рослый мужчина, и, кажется, ничего не сбылось, не развилось из того, что было тогда в нем. Он высок, груб, полноват, лицо у него широкое, шея толстая, и ему трудно поворачивать голову.

Живет он все в Москве, работает на заводе, и сколько в свое время перемечтал, сколько выбирал себе профессий — ни одна не сбылась мечта, а стал просто инженером, женился, и сын у него почти такой же, каким он был когда-то.

И только старые приятели зовут его Колей, а так все чаще Николаем Ивановичем (так у автора. — *Сост.*), и он уж привык, и ко всему привык, и жизнь у него, если сравнить с какими-то неудачниками, очень хороша, и был бы он счастлив, если бы не бывали у него ночи...

Бывают у него ночи, когда снятся ему ужасные сны.

Снится ему, что опять война, только уже атомная. И что ночь, и он знает уже, что куда-то надо убежать, где-то скрыться, потому что сейчас *это* произойдет. Он выбегает из дому во двор, в страшный черный двор, потому что затемнение, нигде во всем мире ни проблеска света. И город вроде не Москва, а какой-то незнакомый город, чужой, и он не знает, куда бежать. Из других подъездов тоже бегут люди, их становится все больше во дворе, все рвутся на улицу, все сдавливаются, стесняются в подворотне, как под гробовой крышкой, кричат, и он тоже кричит, рвется на улицу, но не может никак вырваться, куда-то пропала вся его сила, но все-таки медленно подвигается к выходу вместе со всеми. И вот, когда он уже на улице, раздается крик всего города, все обращают лица свои кверху, а там, как новая звезда, разгорается и заливает все вокруг невыносимым зимним блеском атомная бомба.

Он никогда не видел взрыва атомной бомбы, и поэтому во сне она ему представляется как огромная осветительная ракета, такая же беззвучная, неподвижная, все пронизывающая.

Он бежит по улице, с кем-то сталкивается, ищет тени, укрытия, между тем как везде становится светлее и светлее, как при солнце, но это не солнечный теплый живой свет, это свет неестественный, и нет от него спасения.

Тогда он бросается в какое-то подвальное окно, разбивает стекло, режет себе лицо и руки, извивается, как червь, ломает раму, втискивается в какой-то коридор, ползет в темноту, но свет настигает его, и что самое ужасное, что, ползя уже по сырой, пахнущей заплесневелой картошкой утрамбованной земле подвала, лицом вниз и крепко зажмурившись, даже уткнувшись еще в сгиб локтя, он все равно видит этот беззвучный медленный свет, будто он просвечивает его насквозь, или будто он лежит навзничь, широко раскрыв глаза, будто он видит даже не глазами, а всем телом, спиной, затылком, ногами...

Просыпается он в поту, с мучительно колотящимся сердцем, задыхаясь, весь облитый холодом смерти, резко вскакивает, секунду сидит на постели затаив дух и слышит посапывание сына из другой комнаты, видит смутно-светлую, отвернувшуюся к стене фигуру жены, ощущает запах сна, запах ночной теплой, спокойной комнаты, и тогда только понимает, что это опять сон.

Торопливо он встает и, даже не надев ночных тапок, идет к буфету, в темноте нашаривает чайник, прямо из горлышка пьет настоявшийся холодный чай, потом находит на столе сигареты, закуривает и садится опять на постель. Бьет его озноб, болит сердце, как во время приступа, по телу еще пробегают волны страха, и, морщась, крепко затягиваясь, растирает он под рубашкой грудь и смотрит на прыгающий в левой руке огонек сигареты.

Жена его спит всегда чутко и тотчас просыпается и спрашивает ясным голосом:

— Ты что, Коля?

— Ничего, миленькая, спи, спи, это я так, курить захотел... — говорит он, стараясь, чтобы не дрожал голос.

В такие минуты является ему потребность еще и еще раз что-то решить для себя, решить, что же такое его жизнь, и он думает с некоторым испугом, что ему уже тридцать пять лет. Но что из того? Он еще молод, и, в сущности, все зависит от него самого. Обстоятельства, которые противостоят ему, все-таки преоборимые обстоятельства, потому что как личность он может что-то предпринимать, бороться, терпеть. Это не война, когда человек превращается в ничто.

Только что пережитый кошмар во сне, глубокая ночь над городом, эта неполная тишина Москвы, когда даже в самый глухой час все-таки слышен слабый гул, но зато особенная сонная тишина квартиры, ночные звуки ее, особенно какие-то приятные, звук воды на кухне, слабое гуденье газовой горелки, запах кофе, дыхание сына в соседней комнате.

Он включает приемник, устанавливает самый тихий звук и слушает какую-то станцию, ночью мало помех, хорошо, глубоко и отчетливо слышен джаз. Он любит джазовую музыку и сколько уже переслушал ее, и ему так хорошо всегда думается под джаз, но и досадно немного — опять и опять джаз поет о смерти, такая тоска в его мелодиях, в этих низких женских голосах, как в погребальной мессе, все о смерти... Но ведь жизнь на земле продолжается, и вновь с вековым упорством расцветают травы, и он под эту грустную музыку думает о жизни, о радостном.

...У него такое чувство, будто он поднялся после долгой болезни, и хоть за окном еще ночь, картины, которые он воображает, озарены солнцем, и он думает, думает, перебирает всю свою жизнь, возвращается в детство и тут же вспоминает, что было неделю назад, и эта беспорядочность доставляет ему удовольствие, хотя он знает еще, что эта дрожь возбуждения, это оживление его, воспоминания разные и вообще как бы раскладка всей жизни, пересмотр ее, потом кончатся другими мыслями, он это предчувствует, но не хочет сразу отдаваться *тем* мыслям, а сперва думает вообще, будто бы поднявшись, как космонавт, над Землей, а она перед ним поворачивается, и он, когда надо, сразу приближается и рассматривает пристально ту или другую картину, тот или иной день.

Но сперва он все-таки вспоминает ту далекую ночь на крыше, а потом пути всех, кто там был тогда. Он знает, что Т. убит под Вязьмой и В. тоже убит на Карельском фронте, а Ф. умерла в Ленинграде, она в августе уехала в Ленинград и умерла там.

И вспомнив все это, он начинает думать о войне и о тех, кто эту войну предвидит, готовит и планирует. Он думает о министрах, о президентах и генералах и так волнуется, что курит не переставая, облокотившись на подоконник и глядя на случайный поздний огонь в соседнем доме. Он воображает их всех так, как видел когда-то в кинохронике, на журнальных обложках, с раскрытыми ртами, перед микрофонами, в мундирах, над картами, на военных маневрах, на фоне задранных в небо чудовищных ракетных туш.

По какому праву все эти люди, родившиеся где-то на других континентах, задолго до того, как родиться ему, не знающие ничего о его жизни, тем не менее угрожают ему смертью. Они

хуже его, они стары, они почти все старики! Он мстительно мысленно раздевает их и видит подагрические лодыжки, толстые вялые животы и худые старческие спины, жилистые шеи или, наоборот, апоплексические, с двумя подбородками. Они немощны и противны, их физическую слабость скрывают мундиры с наваченными плечами и грудью, фраки и рубашки, выпущенные манжеты, лаковые ботинки на плоских ступнях.

Он видит, как они едут в низких зеркальных машинах, и впереди них, по бокам и сзади мчится на мотоциклах полиция в мышиных мундирах, в белых поясах, в белых крагах и касках, они выходят из машин, и портфели с картами и планами и всяческими секретами прикованы у них наручником к рукам, какие-то люди в штатском прижимаются к стенам, пропуская их, и они потом где-то в глубине закрытых комнат курят и пьют и обсуждают и решают его жизнь.

С ненавистью думает он об ученых, о всех этих «отцах» атомных и водородных бомб и всяческих ракет, об этом поистине особом и ужасном племени роботов, продавших свои жизни за деньги, за немыслимую роскошь, за виллы и яхты, за женщин — живущих где-то отдельно от всех, в своих специальных поселениях, в своем секретном уединении. И они даже не людьми представляются ему, а марсианами из страшных фантастических романов, существами, чуждыми всему живому, всем полям и лесам и тихим рекам, любви, рождению, не только чуждыми, но и враждебными всему этому.

Чего он добился в свои годы? Что сделал, как прожил все весны и зимы — он не думает об этом в высшем смысле, а просто, как человек, появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов. Но не о смерти своей он думает, и для него жизнь проста и естественна, смысла он в ней не ищет, смысл не ему решать, он просто чувствует, что если жизнь человечества бессмысленна, значит, бессмысленна и его жизнь. А если жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит, и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений.

Он не один в этой жизни. Рядом с ним жена, ровно и постоянно любимая им женщина, и его сын, в котором он с острой нежностью угадывает свои и ее черты, потом его друзья и родные, потом его работа, его детали из стали, бронзы и меди, простых и сложных конфигураций, которые, наверное, уже миллионами разошлись по всему свету и составляют различные чудесные машины, потом небо, земля и трава и ветер.

И уже пять лет…

И уже пять лет работал Т. на метеостанции, на берегу Ледовитого океана, на Кольском полуострове. Долго тянулась там осень со своими затяжными штормами, с дрейфующими на горизонте сейнерами и траулерами, еще дольше тянулись бессолнечные зимы, холодные, черные. За окном мели метели, погукивали, гоготали, и дом весь так дрожал и стучал ставнями, что казалось, едешь на телеге по булыжной мостовой. В такие вечера Т., если не был на дежурстве, без остановки ходил из угла в угол, думал обо всем и вспоминал и время от времени совал в раскаленное жерло печки заиндевевшие, звонкие с мороза березовые поленья, и они сразу начинали шипеть, пускать пену, а потом занимались в жару багровым пламенем и давали много углей. Дым и пар из трубы срывало с крыши, и он сразу пропадал в гудящей мгле.

В такие вечера Т. думал, что довольно, хватит — надо менять профессию, надо жениться, и воображал Ленинград и Москву, тогда как вокруг этого маленького островка жизни на сотни километров была пустыня.

Каждый раз он с нетерпением считал дни, оставшиеся до отпуска, и думал, что больше никогда уже не вернется сюда, а пойдет в управление и переведется на юг или возьмет расчет. Но проходил месяц, и он все чаще начинал вспоминать этот берег, свою комнату, и все сильнее его тянуло сюда, и он ничего не мог поделать с собой.

Подошел к концу сентябрь, опять начинался очередной его отпуск, и последние дни он почти ничего не делал, а только ходил по берегу океана, или сидел над картой Крыма, или говорил о Крыме со всеми, спрашивая, где там лучше всего. Все говорили ему разное, называли Симеиз и Ялту, Феодосию или Алупку, и он, наслушавшись всего, решил однажды нигде в Крыму не жить, а пройти его весь за месяц. А решив так, совсем вроде посмурнел и никак не мог заснуть.

До ближайшего аэродрома идти ему нужно было два дня. Ночь накануне он почти не спал, а на рассвете ко всем постучал, со всеми распрощался, взял рюкзак и пошел.

За пять лет он привык к тундре, и путь не томил его и не пугал своим холмистым однообразием. Наоборот, он видел в пути этом свою прелесть, легко находил оленьи тропы, наиболее удобные подъемы и спуски, и обувь у него была хороша, и ничто нигде не давило и не терло, комары и гнус исчезли, идти было хорошо, покойно.

К вечеру он дошел до порожистой реки и решил ночевать. Быстро он развел костер, набрал в котелок воды, повесил над огнем, потом разделся и пошел мыться. Весь день перед этим стояло солнце, и розовые гладкие камни, между которыми текла, бурлила, извивалась и пенилась коричневая вода, были теплы, как щека любимого человека. И он, босиком, некоторое время просто перепрыгивал с камня на камень, оглядываясь, слушая шум воды и привычным взглядом высматривая, где больше плавника, чтобы потом перенести его к костру.

На одном из камней он разделся и умылся. Тело у него было хорошо, и он радовался, что свободен и одинок и что он такой сильный, но в то же время ему и грустно было немного, что никто не видит его здесь, среди пустынного безмолвия. Во сто крат лучше было бы, если бы с ним была теперь женщина, которая знала бы, что эти сильные руки и весь он — это ее.

Напившись чаю, Т. содрал с ближних камней сухой белый мох, набросал его на гладкий теплый камень возле самой воды, вынул из рюкзака спальный мешок, забрался в него, застегнулся и стал смотреть вверх и слушать беспрерывный и разнообразный водяной гул, идущий снизу, оттуда, где был порог.

Заснул он нескоро, потому что вдруг почувствовал, что чего-то недостает в его жизни, что он живет, в общем, не так, как мог бы жить, что есть на свете дела поважнее, чем его синоптика, — но как узнать, какое дело самое важное и как переменить жизнь, чтобы безраздельно отдаться тому самому важному, — этого он не знал. Слова о том, что жизнь каждого все-таки не проходит бесследно, его мало убеждали, и опять к нему вернулось знакомое еще со времен юности, встревоженно-мечтательное состояние, когда немедленно надо решить, что же самое интересное и важное в жизни.

Он выпростал руку из мешка, нащупал в темноте сигареты, закурил и стал курить и глядеть на звезды, осыпавшие уже все небо, и думать, что пять лет на Кольском — это много и пора круто менять жизнь.

Потом он устал думать и волноваться и, уже успокаиваясь, засыпая, решив отложить решение вопроса на будущее, уже с некоторой долей уверенности подумал, что и его наблюдения за эти пять лет все-таки помогали морякам и летчикам и все-таки жил он недаром, и на этой мысли он заснул.

Проснулся он на другой день рано, едва встало солнце, от свежести. Опять разложил огонь, позавтракал, собрался и пустился в путь, уже вниз по реке, вдоль берега.

Часа в четыре дня он, еле передвигая ноги, добрался до аэродрома. По дороге было много плавника и валежника, и Т.

устал. На аэродром он попал вовремя, ждали самолета.

Радостное волнение опять охватило его. На аэродроме было несколько человек из рыбацкой деревни, кое-кого он знал, один рыбак, старик Кирыч, даже вытащил из чемодана бутылку водки, налил ему, и Т. совсем стало хорошо, он разговорился, сразу узнал много новостей и сам порассказал о вещах, малозначащих для посторонних, но интересных для местных рыбаков. Не умолкал он и в самолете, а все кричал Кирычу и еще двоим, которые пристроились рядом и, вытянув шеи, слушали и сами тоже кричали и выпивали понемногу.

Линия эта была глухая, обслуживалась «антонами», самолет, на котором летел Т., был старый, садился у каждой деревни по побережью, и когда садился — дребезжал и громыхал, как разбитый автобус.

Мурманский экспресс приходил на станцию Апатиты поздно ночью. И нет ничего мучительней, чем ждать ночного поезда на вокзале, среди детишек, капризничающих от усталости, и в неуверенности, что будут билеты, но Т. и тут радовался, и его все подмывало на разговор с кем-нибудь — так он отвык и соскучился по людям, по поездам, и он выходил на перрон, закуривал, ходил в уборную, становился на рельсы и смотрел на север — не идет ли поезд.

Наконец поезд пришел, Т. поднялся в вагон, нашел свое купе, забрался на верхнюю полку и опять заснул, в то время как поезд мчался по берегу Белого моря, проезжал Кандалакшу, Кемь, Беломорск, и проснулся только за Петрозаводском.

Бодрый и свежий вышел он в Ленинграде на площадь и сразу пошел на стоянку такси. Он поехал, и ему сразу, будто только ждало этого случая, открылось всегдашнее кипение Невского. Город встретил его бордовыми и зелеными великолепными домами, Аничковым мостом, Казанским собором, тусклым блеском асфальта.

Он недолго ездил, ему повезло, и он во второй или третьей гостинице нашел номер. Он вымылся в ванной и побрился, потом натянул свежую рубаху, и номер поразил его непривычной величиной и гулкостью. Потом он опять поехал на Невский, вошел в один из тех громадных прекрасных магазинов, которые всегда волновали его своим шумом, обилием покупателей и товаров, своими запахами кожи, резины, духов и материи, — и долго, тщательно и радостно выбирал и покупал новые кеды, ласты, маску с трубкой, подводное ружье, короткие летние штаны и короткие модные рубахи навыпуск.

Он отвез все это в гостиницу, тут же вышел, но, спускаясь по закругленной, в зеркалах, лестнице, видя со всех сторон себя,

подмигивая и улыбаясь себе, обнаружил вдруг на втором этаже буфет, тотчас зашел и взял коньяку. Он хотел посидеть подольше, делать ему было уже нечего, а московский поезд уходил ночью, но не высидел долго, быстро допил коньяк, вышел на улицу и пошел бродить.

Ленинград, хоть и осенний уже, какой-то дымчатый, сероватый при сухом, но пасмурном дне, все-таки потрясал его. Он прошел мимо манежа, мимо Исаакия, Адмиралтейства, мимо арки Главного штаба, он поминутно сворачивал туда и сюда, на свои любимые места, прошел и по Мойке, впервые поражаясь гулкой темноте под мостами, миновал сумрачный Инженерный замок и вышел на набережную Фонтанки.

Слева был Летний сад, уже облетающий, темнели стволы лип и кленов, сквозь которые далеко просвечивали серо-желтые мраморные статуи. Впереди на серой воде Невы смугло и четко рисовался Прачешный мост. Еще дальше была дымчатая пустота реки, сизые низкие очертания противоположного берега.

Он остановился, задумался над бегущей прозрачной водой Фонтанки, над вытянутыми, прижатыми ко дну ржавыми водорослями. Коньяк слабо ударил ему в голову, и мысли его были веселыми, думал он о своем доме в Москве, о матери, об отце, как они обрадуются ему, и еще о том, как он поедет спустя дня три через необъятность всей страны, и Кольский, и его метеостанция будут оставаться все дальше на севере, пока не скроются совсем, а он приедет в лето и в солнце и пойдет пешком по Крыму, и с ним что-нибудь такое случится...

Постояв, он дошел до Невы, свернул назад к Дворцовому мосту, перешел его, побродил вокруг Биржи, потом перешел еще один мост, увидел на канале ресторан-поплавок, и ему захотелось посидеть, и он пошел туда.

Было прохладно, и он озяб немного в плаще, а когда разделся и поднялся по лестнице, похожей на трап, на верхнюю палубу, там было пусто, только блестели на скатертях металлические пепельницы, горками торчали белые салфетки, и было тепло. Он забрался на клеенчатое сиденье огороженного стола, будто в каюту, сел у окна, стал смотреть на воду, на дымы из труб, на Биржу, и хотя и понимал, что ресторанчик этот — третьеразрядный, а все-таки было ему хорошо и легко, когда он думал о тундре, о гудящем между мачтами и проволоками ветре, о гуле прибоя, об однообразном рабочем распорядке и когда в который уж раз за эти дни думал, что у него два месяца свободных.

Он стал думать о счастье. Странно, но ему казалось, что наконец-то он ухватил свое счастье и знал теперь об этом. Обычно

счастливая минута проходила для него незаметно, он и не догадывался о ней и только долго спустя спохватывался, вспоминая и догадываясь, что вот тогда-то он был счастлив, когда уже было поздно.

А теперь, сидя за чашкой кофе, потихоньку покуривая, посматривая за окно, в этой теплоте, тишине и чистоте, в этом «поплавке» на каком-то канале он был счастлив и знал это, и чувствовал еще, что и тогда, когда два дня назад ночевал он в тундре, то и тогда был счастлив, и когда летел на самолете и выпивал с Кирычем, и когда спал в вагоне экспресса.

Он был один, но ему никого не надо было. У него в записной книжке были телефоны ленинградских приятелей, но он не хотел никому звонить, потому что — он знал — тогда его счастье пройдет. Ну позвонишь, ну встретишься с ребятами, и хорошие ребята, хотя, верно, уж переженились давно все и дети есть, ну, встреча, выпить, конечно, нужно будет, всякие такие разговоры пойдут, кто где устроился, кто сколько получает, и потом уже, окосевши, и разговаривать не о чем станет, и только все будут хлопать по плечам друг друга и говорить: «А помнишь, старик? Н-да...»

Нет, ему не хотелось звонить и пить не хотелось, хоть раньше он и пил здорово в отпуску, и теперь денег у него было до черта, полярник все-таки, а пить совсем не хотелось, так, разве немного, чтобы быть «на подогреве» и думать, думать, потому что мысли приходили в голову все важные, интересные, о том, когда же обзаводиться своим домом, и о том, что нужно что-то непременно сделать необыкновенно полезное, великое, но вот неизвестно, как за это взяться.

Так он сидел до темноты, а потом поехал домой в гостиницу и оставшиеся до поезда часы сидел в номере, рассматривал ласты, надевал маску, засовывал за губы мундштук трубки дыхательной, гляделся в зеркало, смеялся, а потом принимался читать путеводитель по Крыму, который он успел купить внизу в киоске (уже).

Сначала он хотел было лететь в Крым на самолете, но потом подумал, что давно не видел лесов и полей Средней России, подумал, как будет проезжать Серпухов и Оку, Тулу, Орел, как радисты будут всю дорогу крутить эстрадные пленки, да и вообще можно будет отоспаться, поговорить с кем-нибудь, и все это медленно, не торопясь, а времени у него впереди целых два месяца, и спешить некуда — и решил ехать поездом.

И когда время подошло к двенадцати, он собрал свой потяжелевший рюкзак, расплатился внизу за номер и поехал на вокзал.

А через два дня его поезд уж подходил к Феодосии. И пошли, пошли справа какие-то полувосточные дома, кружевные ограды, пыльные кипарисы, а слева вдруг выпросталось море, ударило по глазам своим блеском, синевой, и сразу замолкли все разговоры в вагоне, стали собирать вещи, и уж каждый думал, как доберется до места.

И он пошел, пошел жарчайшими крымскими дорогами из Феодосии на запад. И все время слева то объявлялось в свете и славе море, то скрывалось, заслоненное палевыми, пепельными, старческими горами.

А ночью весь громадный купол неба над ним осыпался библейскими звездами...

Для чего же был убит мой отец? — с холодом и звоном в голове думал он. — Для чего в Карелии погиб мой дядя, а в Кенигсберге двоюродный брат? Зачем были убиты Халов под Сычевкой, Василий где-то у Днепра, а Лена там, тогда, в ту ночь, на крыше? А эти тысячи и тысячи в шинелях, зарытые где попало, разбросанные по всей великой земле, уже превратившиеся в прах, в землю, уже ставшие планетой, Землей — они, убитые сразу и не сразу и умершие потом в жарких муках, убитые в жару, летом, зимой, когда их трупы неделями костенели в сугробах, осенью в грязи — за что?

А за то, — яростно подумал он, — чтобы вот я сейчас сидел в каюте с этой женщиной, чтобы я, тогдашний мальчик, теперь встал на их место и чтобы был Крым, который им уже не увидеть, но который вижу я, чтобы была вот такая звездная ночь, чтобы люди ночью спали, а днем работали, чтобы я мог думать и любить кого-то, чтобы я зачал новую жизнь и сделал все, чего не доделали они!

Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще о всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле, и быть верным моему отцу, моему великому рабочему, и не дать ему погибнуть в себе, хотя в его могиле от него, верно, уж и костей не осталось, а ведь я вышел из него, и я с матерью, с маленькой сероглазой тихой женщиной, был где-то далеко позади него, когда он, думая о Родине и включая и нас в эту Родину, перебегал где-то на Украине от ямки к ямке, от окопа к окопу, ползал, лежал, пережидая бомбежки и минометные шквалы, вскакивал, стрелял, рыл землянки, переобувался, писал письма и думал о мире, когда он наконец сможет снова начать свою бесконечную и великую работу, пока наконец не погиб, и неизвестно даже, пулей он был убит или осколком, и как умер — сразу или мучился, и о чем

передумал за время между тем мгновением, когда металл разорвал его тело, и мгновением, когда вздохнул последний раз на земле?

Так вот, спасибо ему, спасибо, что встретил он мою мать и полюбил ее когда-то и когда решил, что мне быть, а ведь я мог и не быть, за то, что за свою короткую жизнь успел сделать столько вещей, столько успел переработать металла и дерева, что и сейчас, наверное, где-нибудь снует, вертится, ходит в масле какая-нибудь деталь, сотворенная им, или, крепко стиснутые в бетоне и кирпиче, хранят свой вечный покой рельсы и балки, сваренные, согнутые, склепанные им!

[*60-е — 70-е гг.*]

Зависть[8]

Мы уезжали тогда из Кракова в горы, и с этим нельзя было ничего поделать. Поезд стоял уже возле перрона, все вагоны исходили паром, кисло пахло перегорелым антрацитом, на туристском вагоне на стеклянных дверях налеплены были изнутри бумажки «Занято!», и нам нельзя было уже раздумать и остаться.

Была вторая половина дня в феврале, и понемногу темнело. На перроне лежал исслеженный сырой снег, дул ветер. Туристы стояли кучкой возле зарезервированного для них вагона, подняв воротники, отворачивались от ветра, ждали свои вещи. Наконец вещи привезли, и все нетерпеливо полезли в вагон. В вагоне было тепло, и еще светло от больших промытых окон, и уютно от кресел с высокими откидными спинками.

Я, как всегда, сел вместе с инженером из Подольска. Хотя сейчас мне хотелось сесть с Зиной. Зина была учительница из Томска, и когда я думал о Томске и что я туда вряд ли когда попаду, и еще когда я вспоминал вчерашний вечер, — а вчера вечером я выпил сильно и что-то сказал или сделал этой Зине, что-то глупое и пьяное, — мне становилось жарко и стыдно. И потом я представлял себе Томск и думал: «А, черт с ним! Она в Томске, я на Севере... Да! И потом, стыдно за вчерашнее, и я скотина!»

Группа туристов была большая, я никого не знал, не сошелся ни с кем за две недели, потому что не острил, не хохотал и не пел в автобусах вместе со всеми массовых песен. Да и редко бывал с группой, больше все бродил просто по улицам — музеев я терпеть не мог. Но в гостиницах я все время оказывался в номере вместе с этим подольским инженером, а инженер был прост, вежлив, не лез в душу, не дурак был выпить, и с ним было хорошо.

Но все-таки вчера вечером я не удержался, стало мне скучно одному, пошел я искать по гостинице эту самую Зину, повел ее в «Цыганерию», выпил там, и она мне вдруг страшно понравилась, — такая была умная, кроткая, — и стал городить ей всякую чушь про Север, про ездовых собак и все хотел целоваться с ней во время танцев.

— Ну, как Краков? — спросил инженер, как только мы запихнули чемоданы в сетки, разделись и сели. — Город что надо! На Таллин похож, верно? Ты в Таллине бывал? Я раз в командировке месяц прожил, все в «Старого Тоомаса» ходил, угрей ел. Да, ничего не скажешь, городок что надо этот Краков, только вот угрей тут нет. А мне, как увидал я эти разные улицы,

вроде в Таллине, так сразу угрей захотелось. Ты где был сегодня, в каких музеях?

— Нигде, — сказал я. — Так я как-то сегодня — сидел...

— Это где же?

— Да так, в одном кафе.

— Иди ты! Так и просидел весь день? Небось с девочкой?

— Ну, весь — не весь, а все же... Часика три. И один. Без всяких девочек. Нам, знаешь, при нашем с тобой туристском положении, с девочками некогда. Вот поглядеть на них — это да.

— Это ты верно, — обрадовался инженер. — Девочки тут что надо! Это мне правильно про полячек говорили. Это они могут. Братья поляки.

А я и верно тогда часа три просидел в кафе, пил там коньяк, думал о том, о сем. Думалось мне хорошо, легко, да еще странно было от мысли, что вот я один, сижу где-то в Кракове, чисто выбрит и вымыт, за чистым столиком, лицом к окну, и какая у меня рубашка, а за окном бесшумная уличная толчея, машины, а у меня есть время, я теперь сам какой-то иностранец, черт его знает — даже познабливало меня слегка от всего этого. И оттого, что время от времени я смотрел на официантку, и она тотчас понимала, подходила и нежно шелестела свое приветливое «Прошем пана?» — и я говорил ей тоже тихо и важно: «Коньяк. Еще сто», — и палец один слегка приподнимал, пошевеливал, показывая, что именно сто, — «И еще кофе». — «Кава?» — переспрашивала официантка. «Ну да, кава», — кивал я, выколупывая из пачки сигарету, и двигал под столом ногами, откидывался на спинку стула, а официантка уходила с нежной озабоченностью и через минуту приходила опять, и мне было хорошо смотреть на нее.

Мне и на других приятно было смотреть, и еще приятно было, что в кафе не галдели, совсем почти не было посетителей, сидело человека четыре по разным углам и еще две девочки возле окна. А за окном то в одну, то в другую сторону беззвучно проходили люди и что-то говорили, если шли не в одиночку, но слов не было слышно. Они появлялись и пропадали через короткий миг, но я и за это время успевал их разглядывать, и мне любопытно было соображать, кто они и что у них за жизнь.

Всю ночь перед этим шел снег, утром настала оттепель, на улице теперь была снежная каша, которую не успели еще убрать. Машины мягко двигались по этой каше, разваливая ее скатами, каждый раз заваливая колею, оставшуюся от уже прошедшей машины, и оставляя свою, — и в этих появляющихся все вновь и вновь колеях мокро, черно блестела брусчатка.

Я впервые был тогда за границей и так волновался, подъезжая

к Варшаве, что почти не спал ночь, а когда вышел из вагона на вокзале, сразу увидел, что там все другое. Другое было в том, что на перронах полыхали жаровни с угольями, чтобы погреться, и запах вокзальный, который, казалось бы, должен быть одинаковым во всем мире, здесь был иной, иностранный какой-то, и кассы были иначе устроены, и переходы, тоннели и разные табло, и указатели, и носильщики — ничего не было похожего на наше. И я подумал с наслаждением в ту же первую минуту, что не зря поехал и что это надолго потом останется со мной — это первое прикосновение к чужой жизни.

Но прошло дней десять, и я как-то все больше стал подумывать о доме, о родине, все чаще вспоминал какие-то места и дни в России, и мне уже хотелось назад, с недоумением начинал я думать о дипломатах, как это они выживают годы и годы вдали от дома.

И вот тогда, в кафе, я не то чтобы затосковал вдруг — нет, мне хорошо было и от коньяка, и от этого кафе, от польской речи, от мысли, что я в Кракове, что у меня есть еще злотые, но другое приходило на ум — как я там жил когда-то, далеко отсюда. И хоть в Кракове была зима, вспоминалась мне почему-то одна осень, когда я плыл по делам на пароходе в Вологодской области.

День тот был пасмурен. Низкие равномерные облака обложили все небо, нигде не было света, лес по обоим берегам был красно-темен, а деревья сизы. Порывами налетал ветер с дождем, над рекой повисала водяная пыль, ивы на берегу кланялись, встряхивались, выворачивали листья и становились седыми, будто припорошенные снежком.

Была середина сентября, начал облетать лист, березы сыпали желтым, везде на лугах был поздний северный сенокос, и маленькие стожки торчали там и сям на пожнях. И чем дальше на север, тем чаще попадались заколоченные, покосившиеся, обомшелые по крышам деревянные церкви, и церкви эти были как музыкальный грустный звук севера.

Что-то затягивающее, щемящее было в той осенней поездке по глухой реке, на старом пароходе. Моросил дождь, шаркал по палубам ветер, река была как-то темна, оголена и широка. Мы догоняли редкий молевой лес, внизу глухо стукало, потом бревна лениво выворачивались из-под бортов и уходили назад. И пароход был пуст, почти безлюден.

Пристаней давно не стало. Пароход давал на плесах длинный гудок, круто разворачивался и приставал к берегу против течения. На берегу, в тех местах, куда, налезая носом на гибкие ивы и кочки, приставал пароход — жгли костры, молча стояли и сидели ребятишки, бабы с ребятами на руках. С парохода

сдвигали длинную доску-трап, сходили немногие пассажиры, еще реже всходили... Пахло горечью осенней земли, корою ивы, речной сыростью, дымом от костра. Стояли наверху по буграм большие северные избы с белыми наличниками окошек. Голоса были слышны громко, речь странна и необычна для приезжего.

А потом день сменила ночь, еще более сырая и холодная. Пароход стал идти медленнее, осторожнее, посвистывал чаще. Загорелись красные и белые огни на бакенах, берега казались далекими и безжизненными. И особенно уютным сделался в ту ночь пароход, его огни, его шипение и постукиванье, его гулкие долгие свистки, от которых по телу проходил внезапный озноб, даже его грязный ресторанчик в корме, и как там пахло жареной треской, и водка в мутных графинах. Хорошо было смотреть на встречные буксиры, попыхивающие паром, на длинные темные баржи или на плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них. И как тепло было возле кожуха, как крепко пахло дровами и паром! Да, вот оно что — там, дома, кажется, и не помнишь ничего, забыл, а вот и помнится все и приходит здесь, в кафе, в Кракове.

Я поглядел на официантку, и она как-то очутилась рядом, тихо задышала, и опять вопросительное «Прошем пана?» — и радостно-покорное: «О да, коньяк, кава, дзенькуе пану!»

Ну, дальше, дальше! О чем я еще думал в кафе, разглядывая улицу и тех, кто сидел рядом со мной, приходил и уходил? И какой я все-таки был одинокий, и в какой же раз вспоминал я весну, когда познакомился со своей будущей женой. Ну, что тогда было? Был тогда апрель с высоким бледно-голубым небом и размытыми быстронесущимися редкими облаками. Потом еще пахучий резкий ветер, очень холодный, схватывающий ледяными кристаллами лужи по краям, а в середине морщинивший их. И встряхивание ветел, гул проводов, косые, отчаянные какие-то пролеты грачей и холодное, очень яркое желтое солнце.

Тогда-то я и познакомился с ней в доме отдыха, тогда все и началось. А веселое было время, веселая компания — полное безделье, одна только забота, как бы не пропустить обед, зато целыми днями ходили по лесам, по ослепительным полям, по набухшим уже оврагам, загорали, доставали, проваливаясь в воду, распушившуюся вербу девочкам. А когда пошел лед, смотрели на ледоход, на то, как прибывала и прибывала вода, как заливала противоположный берег, жгли костры на берегу, жарили на огне колбасу и выпивали из одного стакана. А вечерами танцевали или вдруг спохватывались и бежали рысью за водкой, мелко переступая по льдистой дороге, под луной, и мороз пощипывал уши и скулы. И потом пили с криками и смехом

опять-таки на берегу реки, в лунном свете — все были такие красивые, и лица у девушек, когда целовались, пахли духами и морозом.

Ну, а потом что было? Сколько переговорено было, и куда мы только не забирались по разным моим делам! И в палатке жили, по грудь в цветах ходили, и расставания, и встречи, и все время:

— Коля, Коля! Любимый, хороший, добрый, Колечка, иди, иди ко мне, приезжай ко мне, скорей ко мне, не могу без тебя, Коля, Коля! — всюду: в Латвии, на Украине, на Кольском, в Москве, в вагоне, на байдарке, в каюте парохода, в каких-то избах, в белых ночах и в темных, и телефонные звонки — Коля, ну, Коля же! Какой ты дивный, большой, сильный, мой, мой — Коля!

А ушла она от меня зимой, в феврале, — и сейчас вот февраль, Польша, Краков, и я тут вот, в этом кафе, в тепле, за столиком сижу, и сейчас сигаретку закурю, и сегодня мы едем в горы, в снег и тишину, и там еще лыжи будут, — в феврале она ушла, на Кольском. И как теперь ни думай, ничего не выдумаешь, два года прошло, не выдумалось, почему это случилось и кто тогда был виноват. Я? Наверное, и я — потому что не был я никогда ни дивным, ни замечательным, ни единственным я не был. Но той ночи и всех последующих дней не забыть мне вовеки. Как я был один там, как приходил домой и был один. Ведь все-таки хороша она была, добра, уступчива, — только, казалось, и думала, как бы услужить мне, и, может быть, как раз этим развращала меня. Потому что я думал, что это всегда будет так, потому что верил ей, поддавался ее мягкости, услужливости. «Не выпить ли нам кофе?» — спрашивал я иногда ночью, когда мне не спалось. Я и сам мог поставить кофе, но мне хотелось, чтобы она, тем более я знал, как радостно она вскочит, будто и не спала, а так только лежала, закрыв глаза, и ждала, когда мне захочется кофе. «У, какие мы счастливые!» — говорила она. И пока, накинув халатик, поцеловав меня, потершись о меня, притворив дверь на кухню, она жужжала там мельницей, звякала чашками, — я закуривал, кряхтел от счастья, ходил по комнате и думал, какая она у меня милая, прелесть и как мне легко с ней.

Зато какое в ту ночь ненавидящее, искаженное болью и отвращением, чужое лицо было у нее! Как она кричала и злобно плакала, как я — тоже дикий от ненависти — выскочил из дому в темноту, — а в тот вечер много намело снегу, и я, когда шел, глубоко проваливался, — и быстро пошел в магазин за спиртом, а жена кричала еще мне, когда я уходил: «Вернись!» — да где там было вернуться!

А потом, через час, уже успокоившийся, погрустневший, шел

я домой, ветер дул мне навстречу, закаменело лицо, и слезы выдувало из глаз, все скулы были мокрые. Мне было стыдно, я ругал себя и думал, вот она увидит сейчас мое помягчевшее лицо и как я ей тихо что-нибудь скажу, не прощенья буду просить и не объясняться снова, не разбирать, кто первый начал, а так что-нибудь скажу незначительное, спрошу, например: «Где стакан?» — или что-нибудь еще, и выпью, и она со мной немного выпьет, все поймет, и все станет хорошо.

Я увидел свой дом издалека, окна светились во тьме, желтили полосами снег, и так все звало к миру, к согласию, что думалось: «Ссориться перед лицом этой жестокой природы? Когда человек так покинут здесь, так одинок под ледяными сполохами и так, в сущности, должен быть нежен к другому человеку!»

Ее следов я сначала не заметил, это потом я смотрел на них, когда побывал уже в доме. Едва взойдя, я понял, что ее нет со мной больше и что это навсегда. Дом зиял страшной какой-то оголенностью, как после мародеров, все было разбросано второпях, не стало многих вещей, какой-то ерунды, к которой привыкаешь, как к себе. Не было брошенного на спинку стула шарфика, туфель в углу, варежек на столе в кухне — ничего не было, а главное, не было ее. Некому было сказать мирным голосом: «Где у нас стаканы?» — потому что не было **нас,** а был один **я**. Я не стал спрашивать стакан, а как был, в пальто, в шапке, пошел на кухню, достал стакан, налил до половины воды, потом раскупорил бутылку, — а бутылка заиндевела у меня в кармане, — и долил спиртом, глядя, как в стакане сначала слоисто мутнеет, а потом прозрачнеет, хотел выпить и не мог, так тряслись руки. Пришлось сперва отхлебнуть прямо на столе, а потом уже взять стакан, выпрямиться и допить. Вот тут-то я взял фонарь и вышел посмотреть следы.

Кругом смутно белели сопки, реденькие желтые огоньки мигали, чернела и рокотала внизу река. Все небо светилось звездной пылью, и только низко на востоке, над океаном, висела черная мгла, и в эту черноту грозно, медленно и ярко падали звезды.

А под ногами, в маленьком белом кругу света от фонаря, было три следа, три глубоких следа и комочки снега вокруг. И два следа были уже заметены поземкой, уже невнятны, те два, которые шли от дома — мой и ее, — только один след еще свеж, сахаристо поблескивал под фонарем, это был мой след, и вел он к дому.

На другой день, переночевав где-то, она улетала, и я знал это. Летом возле рыбозавода не было аэродрома. Но зимой, когда снег засыпал все кочки и ямы на тундровой поляне возле реки, —

трактор отволакивал туда дощатую будку с железной печкой, по углам поля устанавливали флаги, и раз в день начинал прилетать и улетать «антон», привозил кинофильмы, продукты, водку, письма, газеты. И еще привозил и увозил немногих пассажиров, потому что рыбозавод был последним пунктом на авиалинии, и прилетали сюда и улетали только местные.

И вот когда на другой день в полдень застрекотал, поднялся и стал разворачиваться самолет, я понял, что на этом самолете улетает она. Сначала мне стало нехорошо, что-то вроде короткой дурноты случилось со мной. Но потом отлегло, и я нашел в себе силы выйти на улицу. Я вышел и смотрел, как разворачивается самолет, как он накреняется. Я знал, что и она смотрит на поселок сверху и отыскивает наш дом, а если уже нашла, то и меня видит, как я стою без шапки, в своем грубом свитере и унтах. И тогда я попрощался с ней, что-то толкнуло меня, я задрал голову и попрощался, помахивая рукой. А потом повернулся и, не глядя больше на самолет, хотя глядеть можно было долго, пока тот не скроется за сопками, — пошел к себе в дом.

Вот как тогда было. Но ей-то, конечно, пришлось полегче, потому что если она и любила меня, как я ее, если ей и было тоскливо и непоправимо, то она все-таки улетала куда-то в Москву, в город, в шум, к людям, которых ей предстояло встретить, к родным, которые, наверное, ей сказали: «А! Наплюй! Не стоит он тебя!» — это они умеют, любят говорить, наши родные и друзья. А может, тогда уже она не любила меня и легко уезжала, и забыла свои слова о верности до гроба и даже за гробом. Она когда-то говорила мне это, много раз, потому что я был **самый прекрасный и удивительный.** А потом я уже перестал быть прекрасным. Но даже если и любила еще тогда, все равно ей было легче. Легче всегда тому, кто уезжает. А я оставался один в маленьких серых днях и длинных ночах, там, на Кольском, и стыдно мне было искать сочувствия, и так и не сказал мне никто тогда слова утешения.

И опять стояла рядом официантка и нежно смотрела на меня с таинственной полуулыбкой, будто она одна знала, как хорошо, как покойно сидеть мне в кафе, и я очнулся и вспомнил, что я в кафе, в Кракове, а не на Кольском, и покорно-весело заказал еще коньяку, и на меня вдруг поплыл Краков, весь город, с узкими улицами, со стариной, и опять была мысль о том, что я уезжал в горы, в снег.

Я как бы пошел по Кракову, я был на Вавеле, я поднимался туда под стенами и башнями, по крутой дороге, пока не открылся мне весь город вокруг, пока не взошел я в ворота и не

остановился, потому что Польша была передо мной во всех этих колокольнях и башнях, соборах и дворцах. Польша была передо мной, когда, побродив по сумрачному пространству Вавельского собора, сиренево освещенному витражами в стрельчатых окнах, спустился я потом в подземелье, в тоннель, кончающийся камерой, и в этой камере стояли два надгробия, двух великих поляков Мицкевича и Словацкого.

Польша была предо мной, когда я заходил в какие-то дымные, красно освещенные пивные, битком набитые студентами, и шум, гомон, смех оглушали меня, и официантки с монистами носились там в дыму с кружками пива, ряженые пиликали на гармошке, и пели, и кувыркались, и выпившие ребята обнимали своих прелестных девочек с седыми волосами и черными глазами. А на улицах в эту минуту, в темнеющем воздухе, на темную черепицу громоздящихся крыш, на все эти мансарды, уступы, на наклонные какие-то стены, во дворы, на брусчатку — падал и падал крупный снег.

Польша была передо мной, когда я останавливался вдруг перед какой-нибудь нишей с распятием и видел измученного Христа, озаренного жарким светом многих свечей и лампад, и прохожие преклоняли колени, осеняя себя католическим крестом, — а тогда все ждали конца света, тогда, в феврале, какими-то йогами, какими-то умниками, мудрецами с Востока был предсказан конец света, и мглистое небо висело над Польшей, и все не верили и, наверное, вспоминали пепел Освенцима и Варшавы.

И был я еще в Мариацком соборе, сидел, как и все, на дубовой скамье, и орган откуда-то с высоты грозно, устрашающе, томительно, нескончаемо пел мессу, и кругом меня сидели на дубовых скамьях, приблизив бледные лица с закрытыми глазами к огням свеч, которые розово и опалово светились изнутри. А слева от меня, как за конторкой, за ширмочкой зеленого шелка сидел пухлый ксендз и важно преклонял ухо то на одну, то на другую сторону, к маленьким окошкам в ширмочке, и ему оттуда, снаружи, из темноты, торопливо шептали что-то, исповедуясь, жалуясь, надеясь, и он потом небрежно высовывал в эти окошечки руку, и ее торопливо, благодарно целовали снаружи, из темноты.

Там, на этом соборе, наверху, на колокольне, под символически начертанными на стене солнечными часами была такая устрашающе безысходная надпись: «Дни человеческие как тень над землей, и ничто не в силах их задержать!»

Но еще видны были прорубленные в башенке четыре окошка — на север, на юг, на запад и на восток. И каждый час вот уже многие столетия к каждому из окошечек по очереди подходит

трубач. Он трубит каждый час о том, что солнце светит и жизнь продолжается. Такая нежная, такая восторженно-прозрачная труба раздается сверху ежечасно!

Вот о чем, приблизительно, думал я, сидя в одиночестве в милом кафе...

И вот паровоз тронул, и Краков стал уходить. Как-то странно ехали мы: некоторое время поезд шел вперед, потом останавливался, с ним что-то делали, лазили под вагонами сцепщики, сцепляли и расцепляли, паровоз свистел уже сзади, и поезд трогался назад. После новой остановки опять ехали вперед, потом назад...

Час проходил за часом, в вагонах было жарко, топились они паром от паровоза. За окнами было черно, но когда поезд, как бы запыхавшись, останавливался где-нибудь между снежными откосами и мы выходили подышать — все сразу чувствовали и тихо, радостно говорили об этом друг другу, что уже горы, что снега больше, и снег пушистый, и воздух чище. И эхо, когда паровоз, отдохнув, вскрикнул, — эхо было звончей и многократней.

Один раз я выскочил на какой-то станции и пошел в буфет выпить пива. Сперва я смотрел, как мне наливали горькое светлое пиво, потом взял кружку и стал пить, отдувая пену, и поверх кружки глядел на людей, какие они необычные на наш русский глаз. Обувь у них другая, вся в снегу, грубая и толстая — и понимаешь, что здесь так и нужно, в горах, чтобы была такая обувь. И лица другие, иные повадки, жесты, иначе носят шарфы, и шапки другие. И главное, иначе пахнет — запах иной, заграничный, пиво горчей, и столики какие-то такие, и как люди за столиками сидят, как смеются, и свет другой, а в буфете всякая там еда, закуски, бутылки — все расставлено не так, как у нас.

И тут я увидел Зину, как она вошла в расстегнутой шубке, как прищурилась, оглядывая буфет, как подошла потом к стойке, стала рассеянно думать, чего бы ей взять.

— Зина, — сказал я, отрываясь от кружки, подошел к ней и потише: — Зина! Не сердитесь на меня, больше ничего такого не будет. Вот увидите.

Она улыбнулась. Хорошая она все-таки была девочка.

— Это в горах-то! — и махнула рукой. — Да я давным-давно забыла! Как пиво — хорошее? Пить ужасно хочу от этой жары в вагонах...

Я ей заказал пива, и она, так же, как и я, глядела, как ей наливают. А потом мы отошли в сторону, я закурил, и мы стали прихлебывать пиво и прислушиваться к чужой речи, как много в ней было этих «пш» и «пс».

Допив пиво, мы вышли на платформу и остановились. Шел косой снег, крупный чистый горный снег, паровоз был окутан паром, вагоны тоже были окутаны паром, ветерок сносил пар в сторону, открывались светящиеся окна, потом опять скрывались в пару. Я поднял глаза — в горах там и сям виднелись домики, и там тоже светились окошки. И все это вместе — маленький поезд, пар, крупный косой снег, Зина, незнакомый говор, вкус во рту от только что выпитого пива, какие-то парни в грубых ботинках, со скрипом идущие по платформе к фонарю, под которым их ждали мохнатые лошаденки в санках, и девушки, выходившие в облаках пара из буфета и бежавшие к поезду, все в брючках, в шапочках, все почему-то красивые — так это было все здорово! И я думал, что вон те ребята сейчас ввалятся в санки и поедут себе по каким-то темным дорогам к далеким домикам в горах, а мы поедем еще дальше на этом игрушечном поезде, и что-то там будет для нас впереди счастливое.

— Зиночка, — спросил я. — Как вы думаете, еще лучше будет?

— Не знаю, — сказала она. — Я бы и здесь осталась.

— И я бы, — сказал я, и мы побежали к вагону, вошли в тепло и свет, и я опять сел со своим инженером.

— Ну, как? — спросил он.

— Законно, — сказал я, утираясь. — Законно пивка выпил.

— Чего же ты, керя, меня не позвал? — обиделся инженер.

Поезд шел еле-еле, и я успел насмотреться из вагона, пока мы приехали на место. Бежала рядом дорога, шоссе — темное и прямое, — проносилась по нему машина с желтыми фарами, высвечивала по очереди все дорожные знаки, стрелы и надписи. Погукивали под нами мосты, а внизу горные речушки, черные на всем белом. Появились деревянные дома с острыми крышами, засыпанными снегом, с розовыми полосами света из окон, а вдали уже разворачивались огни городка, и сильнее всего сияли, многоярусно и бело-сине, два огромных отеля наверху, а над ними бежала в горы и пропадала в облачках цепочка голубых огней — фуникулер.

Вокзал в этом городке был деревянный, резной. Мы вышли на небольшую площадь за ним, залитую мертво-молочным светом, и сразу увидели лошадей в санях, фонарики возле полозьев с правой стороны, промерзших извозчиков в белых штанах с вышивкой спереди и в шляпах. Пахло морозом, лошадьми, навозом, лошади мотали головами в торбах, хрупали овсом и позванивали колокольцами.

С сожалением забрались мы в автобус, автобус покатился, гид заговорил о гостинице, о расписании на следующий день, но я не

слушал. Какие-то дома, пансионы, в отдалении, за оградами, проплывают за окном, какие-то парки, сады, мы сворачиваем из улицы в улицу, заезжаем куда-то в темноту, останавливаемся, затем медленно поворачиваем направо и медленно пробираемся, протискиваемся между старых лип. Слышно, как ветки скребут по крыше автобуса, снег сыплется мимо окон, и слышно, как внизу проседает и хрустит под рубчатыми чугунными шинами.

Вот остановились, вот распахнули двери, но выйти нельзя, снегу по колено. Но все-таки вылезли и, набирая в ботинки снега, стали носить свои чемоданы в совершенной тишине и в темноте, в чистом горном воздухе. Потом кто-то спросил, где мы, и крикнули вперед, в сторону большого черного дома между липами, в сторону тепло светящихся окон и крыльца, — там кто-то из наших уже топал, обивал снег, там уже говорили, тогда как здесь, в темноте, мы еще брели и молчали, — оттуда к нам пришло: «пансион». И мы тогда опять крикнули, как называется, и опять это отсюда, из темноты, ушло туда, к крыльцу, и вернулось ответом — пансион назывался «Липовый двор».

Но вот и мы на крыльце, слабо освещенном плафоном, и там стояла хозяйка, какая-то женщина с нежным голосом, лица ее как-то не разобрать было, и только голос тихо шелестел в который раз: «Прошем пана?» — и мы вошли внутрь, в тепло, в слабый запах старого дерева, лака, в полусвет холла. Там, в этом доме, были громадные — в обхват — бревна, покрытые коричневым лаком, декоративная конопатка из соломенных жгутов, были скрипучие лестницы, прелестные комнаты со скошенными, как в мансардах, потолками. И я опять был в своей комнате с инженером, а не с Зиночкой, как мне хотелось. Но и я ему тоже, наверное, был не нужен, он быстро ушел, я слышал, как он топал по коридорам, похохатывал, помогал девочкам устроиться, весело ему там было. А я посидел, поглядел на стены, на потолок, попрыгал на пружинистой кровати, потом включил маленький приемник на тумбочке под окном, и тот сейчас же начал источать какой-то грустный джазик, начал светиться зеленой шкалой и грустно ворковать что-то о грустной, нежной и усталой любви — ай-яй-яй!

А на другой день все и началось. Сначала это не была еще зависть, а так — кольнуло что-то. Потому что настало солнечное утро. Потому что наш «Липовый двор» занесен был в предгорье, и с балкона виден был весь городок и все горы. Солнце уже взошло, но в долине его еще не было. Освещены были только облака и вершины гор. Свет был ярок, розов, но на облаках был он нежней, одухотворенней, а на вершинах — определенней и тверже. Городок лежал как в чаше, подернутый синей пеленой, и над

всеми домами, из тени к солнцу, поднимались вертикальные дымки.

Зависти настоящей еще не было и тогда, когда мы спустились в городок — мне только весело стало, я будто опьянел. А веселиться было от чего! Сновали и раскатывались на поворотах извозчичьи санки, фырчали на остановках автобусы, с сухим звонким стуком засовывались в них, в багажники, лыжи. Лыжники вскакивали внутрь, автобусы, поднимая снежную пыль, завывая, убегали куда-то вверх. На всех машинах, которые тоже мчались наверх, — на крышах были лыжи, а внутри красное, голубое, лимонное свечение спортивных курток и лыжных шапочек. Раскачиваясь, порявкивая, ходили по городу на задних лапах белые медведи, обнимали нас, человеческими голосами предлагали сфотографироваться. Мулы и ослики катали ребятишек на маленьких санках. На всех витринах были скрещены слаломные лыжи, куртки, оранжевые очки, тобоганы, коньки. Одни мы были в пальто, в брюках, в зимних шапках, все остальные в лыжных куртках, в горных ботинках, все были загорелы, даже до какой-то лоснящейся смуглоты.

И мы взяли извозчика, уместились, запахнулись, поехали, как и все, наверх, к канатной дороге. Поехали мимо ресторанчиков, баров, кафе, пивных в тирольском стиле, мимо дач и пансионов. Белки перебегали через дорогу, волнисто летали по деревьям, за оградами следы зайцев и косуль, колокольчик бренькал впереди, под полозьями пищало. Нас обгоняли машины, автобусы, набитые лыжниками и лыжами, снег кисеей сыпался с высоких елей и сосен, все было пронизано солнцем, веерообразными его лучами. За большими окнами пивнушек неясно маячили люди, пили пиво, к стенам были прислонены лыжи. Я сидел спиной к извозчику, смотрел назад, вниз, на городок, на горы, оглядывался и думал, что там у нас, где-то за горами, могут быть всякие заботы и горе, а здесь только одно — спорт, любовь, тишина...

Под тпруканье и нуканье извозчика добрались мы наконец до нижней станции подъемной дороги, вошли, и сразу меня как-то отделило от своих, я попал в толчею, в смешение красок, лиц и глаз. Там было полным-полно разных шведов, французов, немцев и поляков. Все были с лыжами, все парами. И все загорелы до черноты, только зубы и белки глаз белели. Все одеты в простроченные нейлоновые куртки, и узкие брюки были у них, икры обтягивали, у всех ботинки с толстыми подошвами, все ходили, толкались, курили, проталкивались к кассам, и одна пара за другой уходили к подъемнику по лестнице в два марша наверх. А там крытая платформа, вагон, в который все набивались, набивались, и он провисал, оседал на канате. Потом дверь

захлопнулась, и мы поехали. Внизу поплыли скалы и пропасти, заячьи следы, и мы были как на вертолете. На двухсотметровой высоте, на сильно выгнутом книзу канате мы медленно, тихо летели — и вверху было фиолетовое небо, внизу ослепительный снег и черные скалы. Лыжники проносились под нами, тормозили в облаке снежной пыли и опять летели вниз. Чем выше, тем все больше открывалась нам вся гористая страна, а внизу еще попадались рыхлые дороги, мохнатые лошадки везли возы с дровами, возницы в высоких шапках, увязая в снегу, брели рядом.

Гид наш вдруг заговорил, и мы все стали его слушать. И он небрежно так, вроде бы даже равнодушно от привычки, рассказал, как во время войны польский партизан-лыжник выбросился из кабины. Он ехал в горы, может быть, поразмяться, друзья сумели позвонить ему с верхней станции и предупредить, что его ждут эсэсовцы. Тогда он надел в кабине лыжи. Это был мировой парень, боец и первоклассный лыжник, и, наверное, в кабине тоже были у него друзья. Ему открыли дверь, и он уже в виду верхней станции прыгнул с двадцатиметровой высоты на крутую скалу, почти отвесно уходящую вниз.

Мы подъезжали уже, и гид показал нам, куда он прыгнул. Я увидел, немного сбоку, но в то же время под кабиной, извилистое ущелье, засыпанное снегом, с черно-серыми каменными обрывами, рваными бросками уходящее книзу.

— Видите кулуар? Вот тот, сбоку? Он сразу свернул туда. Вот это был слалом! Понимаете?

Я понял, конечно, — мне даже смотреть туда страшно было из кабины. Немцы стреляли по нему сверху из автоматов, потом ждали его внизу. Но он пересек горы и скрылся у друзей-партизан.

Потом мы достигли вершины, вплыли в кажущуюся темной со света, гудящую мотором верхнюю станцию, вышли, и я тут же сел на какое-то бревно. Тут-то меня и схватило по-настоящему. Тут-то я и пропал. Я глядел на все подряд: как горы уходили вниз, в облака, как катились вверх и вниз вагончики подъемной дороги, как кругом меня надевали лыжи, проверяли крепления, прыгали, разворачивая во время прыжка лыжи направо, или налево, или кругом. Как они натягивали горные очки, как один за другим срывались вниз. А наши уже полезли еще выше, в какой-то отель, который все называли «Хижина». И я полез, набирая снегу в ботинки. За скатом направо видна была темная поросль елового леса, затем, наверно, шел обрыв, потому что следующая поляна была уже далеко внизу, и по той поляне тоже катились крошечные лыжники.

Кто-то крикнул, что есть бар. И правда, в этом отеле из

черных бревен был бар. И два бармена, веселых парня в тирольских шляпенках с перышками. Играла чудовищная какая-то машина из стекла и металла, наполненная люминесцентным светом, с ребристым диском, уставленным пластинками. Тепло было, горел камин, а на высоких табуретах сидели всякие шведы, обвинтив ногами ножки, и пили коктейли. Я тоже взял себе чего-то такого с сивушным духом, какой-то сливовицы, сел, глотнул, крепко утерся — ничего! Ах, черти, лыжники, спортсмены — и так мне печально стало, что я не с ними, не на лыжах.

В морозном облаке пара вошла в бар темноглазая печальная девочка. Она была несчастна, и одна почему-то, и сразу подошла к бару. Оба бармена засуетились, засияли. И оба сейчас же, оглядываясь на нее, стали делать ей коктейль. Она тем временем разглядывала всех в баре. Посмотрела на меня, наморщила лоб и отвернулась. Ей дали бокал, она кинула какие-то монеты на прилавок и ушла к камину. Там она села, стала постукивать ботинком, слушала музыку, без выражения глядела в окно.

А я летел между тем на лыжах по тундре, по холмам. Я долго, кружным путем взбирался на сопку, там отдыхал, вытирал пот со лба и начинал потом спуск. Лыжи ерзали, изгибались, свистели у меня под ногами, я тормозил, бросался опять вниз, чертя палками, и слезы выдувало у меня из глаз. Я это очень явственно видел, я как бы ушел туда, побывал на Кольском, вернулся и опять смотрел на эту девочку, как она тянула коктейль и грелась у камина.

Народу все прибывало, шли греться, пить кофе, коньяк. И даже те, кто не ездил с гор, все равно были в спортивном, и женщины с платиновыми волосами вбегали, закидывая головы, перебирая обтянутыми шерстяным трико ножками, ах, черт!

А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные туши аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещания сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком —

дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны, разбитые сапоги. И постоянный голод. Как это говорил тогда Василий на крыше? А, вот как: «Люблю повеселиться, в особенности пожрать!» — все мы тогда любили повеселиться, да веселья не было.

Я смотрел в те годы картину «Серенада Солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру.

И вот все те же молодые, веселые ребята, как в кино, ходят, танцуют, пьют. Вот они, сидят на верандах, голые по пояс, откинувшись в шезлонгах, зажмурившись, положив ноги в лыжных ботинках на перила.

Я еще взял сливянки, выпил тут же у бара и вышел. Я стал курить и глядеть кругом и увидел Зиночку. Она была румяная, красивая, и возле нее вертелись уже двое каких-то лыжников.

— Зиночка! — позвал я. — Брось ты их, давай ко мне!

Она подбежала.

— Ах, как жалко! — тут же сказала она, переводя дыхание.

— Чего жалко?

— Через полчаса нам уезжать. А вот если бы с лыжами сюда, недели на две, вы бы хотели? Вон, ой, смотрите, как помчались!

Я обернулся и успел заметить, как девушка, оттолкнувшись палками, подпрыгнула, подобрала в воздухе ноги с лыжами, прижала колени к груди и бросилась комком вниз. И так же точно бросился за ней долговязый парень. По очереди стали они потом валиться набок, повернули в вихре снега, не снижая скорости, опять повернули, и сверху их повороты были похожи на снование челноков: вправо-влево.

— Вы умница, — сказал я. — Я тоже стоял тут и думал, вот бы лыжи!

И тут к нам опять подошли те два лыжника в шапочках. Все шапочки их были утыканы значками. Хорошие у них были шапочки, с помпончиками.

— Чего им надо? — спросил я.

— А я знаю? — а сама заулыбалась. — Они такие милые, правда?

Лыжники стянули свои шапочки и подали нам.

— Значков? — догадалась Зиночка.

И тут же порылась в сумке, достала и воткнула каждому по большому значку «Москва».

— О! Мерси! Данке шён! — сказали они разом. — Моску! Дрюжба! Мир!

— Мира захотели, — пробормотал я. — Конечно, мир! На фиг нам война. Они-то небось войны не нюхали...

— Нет, они молоденькие... — ласково сказала Зиночка.

— Ну и ладно, — я на них глянул, как бы мимо них, и они неохотно отошли. — Пойдемте, Зиночка, тяпнем чего-нибудь, а?

— Что вы! Тут воздух какой, пойдемте лучше к нашим!

— Пойдем. И правда, скоро назад...

И мы медленно пошли, разыскивая среди этих цветных спортивных фигур наших туристов. Мы их скоро нашли, да и нетрудно было — одни мы здесь, на вершине, были в пальто и зимних шапках. А через полчаса мы ехали вниз.

Вечером у нас была свободная программа, и мы с Зиночкой сидели в ресторане. Туризм наш кончался, завтра утром надо было уезжать, и мне стало весело. Очень мне хотелось домой. И потом, со мной была Зиночка. Я знал, что это на один вечер, но мне было все равно, и я опять что-то врал, танцевал с ней, выпивал, слушал джаз, смотрел, как временами гаснет свет, все танцуют чарльстон, джазисты наигрывают что-то роковое, смертное. Сколько лет джазисты всего мира отпевают нас, а жизнь все равно идет. Какая тоска во всех этих джазах, а мы все живем, и ничего, даже весело живем, если вдуматься. И все-таки я завидовал джазистам. Почему я не пианист? — думал я. — Вон как тот маленький, сидит боком к роялю, топает ногой в ритм, весело скалясь, оглядывается на всех, сует свои аккорды, почему я не контрабасист, который, прикрыв глаза, как бы бредет куда-то вдаль, почему я не трубач, вон он как напряжен, вон поддерживает рукой сурдинку, прогнулся назад, труба поблескивает в сумерках, глаза из-под прикрытых век скошены вниз, на танцующих, почему я не саксофонист, и я бы так, вроде бы небрежно развалясь как-то, а между тем напряженно, стоял бы на эстраде, надо всеми, ныл бы и ныл свое грустное, синкопировал бы себе потихоньку, слушая других, давая и им прозвучать и опять вступая, сипловато так, как бы издалека? Мы вышли поздно, и опять ослепительно горели молочные фонари, и сияли витрины, и везде кричали три буквы «FIS!", „FIS!» — приближался там в горах мировой лыжный чемпионат. Мы взяли извозчика на последние деньги и поехали кружиться под звонкое бормотанье колокольчика по улицам вверх и вниз. Я сидел, обнимал Зиночку, терся носом о ее меховое пальтишко и думал: «Ах, завтра домой! Хорошо!»

— Зиночка, вам хочется домой?

— Нет, я бы еще пожила тут, — тоненько так, грустно отвечала.

— Глупая вы, Зиночка, — говорил я и закуривал. — Ну их

всех на фиг! У нас дома-то сейчас здорово!

— А тут зато извозчики!

— Ну и что же? Давайте я вас поцелую, а?

— Прошем пана? — извозчик оборачивался, пар валил из него.

— Давай, дуй! — говорил я и крутил пальцем, показывая, чтобы подгонял. И извозчик опять цокал и чмокал и крутил кнутом, и колокольчик заливался, бормотал.

— Вам не холодно? Давайте я вас обниму, — говорил я.

— А вы на Кольском работаете?

— Ну да, там... Далеко.

— Брр! Там снегу много!

— А в Томске мало? Дайте лучше губки, а?

Хорошая все-таки была эта Зиночка, и я стал думать, как опять приеду сюда когда-нибудь с лыжами, как буду спускаться с гор, загорать наверху, пить кофе внизу, бродить по улицам, а вечерами танцевать, как я однажды засяду в своей мансарде вечером, найду грустный джазик и буду писать длинное-длинное письмо этой Зиночке или все равно кому и опишу подробно, как я просыпаюсь, выхожу на веранду, приседаю, дышу, нагибаюсь и выпрямляюсь, потом пью кофе, потом беру лыжи и иду в город, к автобусу. Я опишу все это когда-нибудь со всеми подробностями, кого я встречу по дороге и взглянет ли он на меня, улыбнется ли или отведет глаза. И как будет пахнуть в автобусе, как я буду подниматься к фиолетовому небу, как буду потом мчаться, с шипением поворачивая направо и налево, по исполосованному лыжами снегу, как куплю себе оранжевые горные очки, как буду мазаться вазелином и загорать, загорать, чтобы стать в феврале черным, вернее, не черным, а шоколадным. И каким я стану сильным, отчаянным парнем, до того сильным и смелым, что, может быть, если будет надо, и я смогу прыгнуть вниз, на отвесную снежную скалу, как тот партизан-лыжник.

Долго буду я писать, прихлебывая какой-нибудь коньячок, а городок будет весь в лунном свете, и внизу будут всю ночь играть бары, в коридоре у меня будут стоять лыжи, прекрасные слаломные лыжи с врезанными сверху пластмассовыми полосками, со стальными обшивками на полозьях, черные или красные, и пусть тогда тот, кому я напишу, позавидует мне, как я завидовал всем этим счастливым лыжникам.

Песни леса [9]

Весна наступала робко. Несколько раз начиналось потепление, проглядывало солнце, но потом вдруг снова дул холодный ветер.

Только в середине апреля подул ветер, который принес весенние запахи, — и зима сломалась. Прошел первый дождь, все кругом как бы отпотело, выскочили из-под снега какие-то прутики, кустики, на холмах появились темные проталины, по дорогам побежали ручьи. Целыми днями барабанили самцы-куропатки, яростно кричали сороки, лес шумел — начиналась самая прекрасная охотничья пора.

... Ночью меня разбудил лесник: «Пора! Пойдем!» Прямо с дороги проваливаемся в непроглядную тьму. Спит кругом лес, молчит, глухой и темный. Пахнет смолой, влажной землей.

— Шшшш... Тут! — останавливается лесник.

Темно. Птицы не проснулись, чуть слышно скрипит ель, у подножия которой стоит шалаш. Постепенно начинаю улавливать ранее неразличимые звуки: громко и часто тукает капель, задумчиво хоркают вальдшнепы, тянущие где-то стороной... Издалека, с болота, внезапно доносится странный звук, будто кто-то тихонько ударил в надтреснутый колокол.

Это журавли. И сразу, как по команде, заговорили все: победно закричали, затрубили на озере гуси, захлопали крыльями самцы-куропатки. Ночь кончилась.

На поляну с шумом опускается тетерев. С минуту он сидит неподвижно, поглядывая на пламенеющий восток, как бы в нерешительности: «Подождать или уже пора?» — и, видимо, решив: «Пора!» — пригибается, распускает крылья, бежит по поляне и вдруг громко и яростно кричит: «Чуффышш!» И в ту же секунду на поляну садятся еще несколько тетеревов. С безумной отвагой кидаются они друг на друга — и начинается битва любви, бывающая только раз в году.

Как они бьются! Как бормочут, чуфыкают, сшибаясь в воздухе!

Один петушок, молоденький и горячий, не нашел себе сразу врага. Он бестолково суется к дерущимся, но те — глаз в глаз и клюв в клюв — видят только друг друга и не обращают на него ни малейшего внимания. Петушок приходит в отчаяние, ему непременно нужен враг, нужна битва. Он шипит, раздувая зоб, облетает несколько раз поле битвы и, наконец, начинает драться со всеми подряд, перескакивая от одной пары к другой. За ним гонится сразу несколько разгневанных бойцов, он бросается на

них, отважно бьется — он счастлив.

Я лежу с ружьем в руках, слушаю песни леса, дышу его запахами. От ударов сердца руки мои дрожат и тело вздрагивает. Долго удерживаюсь, не хочу стрелять, не хочу разрушать этой праздничной весенней жизни. Но все счастье охотника — в выстреле, и я стреляю. Выстрел гулко разносится по лесу, перекатывается по озерам и затихает вдали...

...Солнце уже высоко. Мы идем по старой мшистой дороге с разбросанными по ней пятнами солнца и снега. Останавливаемся на высокой гриве. Далеко внизу, на разливе, видны утки, а совсем рядом с нами, на березе, стонет лесной голубь-вяхирь, и вздувшийся зоб его отливает золотом.

Все кругом поет и звенит. В лесу царствует весна.

Пропасть

1

День этот, такой страшный, такой необычный день, начался для Агеева великолепно! Два с лишним месяца ездил он с геодезической партией и, возвратившись наконец в Ленинград, прекрасно выспавшись в темном купе, бодрый, свежий, вышел на площадь у Московского вокзала и сразу пошел на стоянку такси.

Конечно, до дому мог бы он доехать и на троллейбусе, но после двух месяцев бродячей жизни, ночевок в душных избах, шалашах, палатках, после запаха портянок и сапог, после грязи, пыли, жары и всевозможных неудобств и лишений, — он непременно хотел приехать домой на такси! И когда подошла его очередь, когда шофер, преувеличенно суетясь, помог ему уложить вещи и особенным ленинградским говорком спросил: «Куда изволите?», когда машина мягко и сильно взяла с места, отваливая, прижимая его к спинке сиденья, — он вытянул ноги в лыжных брюках, закурил и с наслаждением подумал, что он дома.

И ему сразу, будто давно ждало этого случая, открылось кипение Невского. Город встретил его знакомыми, бордовыми и зелеными, великолепными домами, Аничковым мостом, Казанским собором, тусклым сухим блеском асфальта, сверкающим впереди шпилем Адмиралтейства и левее — тяжелой золотой шапкой Исаакия. Город сразу предстал перед ним во всем своем немыслимом великолепии, такой веселый, такой кипящий и нарядный при редком солнечном дне, что Агеев только вздохнул.

А потом он на целый день погрузился в счастье человека, готовящегося к встрече с девушкой. Он переоделся дома, и комната поразила его непривычной величиной и гулкостью. Он поехал на Невский, вошел в один из тех огромных прекрасных магазинов, которые всегда волновали его своим шумом, обилием покупателей и товаров, своими запахами кожи, резины, духов, табаку, — и долго, тщательно и весело выбирал и покупал новый ремень, новый галстук, четыре пары носков и дюжину платков. Потом он с наслаждением и тревогой стригся и брился, и молодая парикмахерша, будто чувствуя, что у Агеева сегодня особенный день, с отменным удовольствием, с отменной, подчеркнутой медлительностью стригла и брила его и прыскала едким одеколоном.

Побрившись, он внезапно зашел в ресторан и, умиляясь от

вида накрахмаленных салфеток, хрусталя, прекрасных старинных ножей и вилок, съел холодный салат, кровоточащий бифштекс, выпил чашку черного кофе. И салат, и бифштекс, и самый ресторан, пустой и сумрачный в этот жаркий день, и официант с пошлым лицом, шелковыми лацканами черного пиджака и вывернутыми ступнями, прихрамывающий, приседающий на ходу, — все это показалось ему восхитительным: давно не видел он ничего подобного и соскучился по хорошей еде.

А дома он опять мылся, гладил брюки, примерял рубашки, несколько раз перевязывал галстук и все больше нравился сам себе, все больше бледнел от волнения, все чаще взглядывал на часы, не в силах уже дождаться вечера. Наконец он совсем оделся, в последний раз причесал и распушил волосы, последний раз тщательно осмотрел себя в зеркале и вышел. В прекрасном пиджаке с покатыми плечами и разрезом сзади, в узких, почти обтягивающих икры брюках, в ослепительной рубашке с твердым холодным воротничком, с туго, узко затянутым галстуком, он медленно пошел по улице, отвернув полу пиджака, сунув левую руку в карман брюк, и на него тотчас стали оглядываться, так он был свеж, так молод, такая решительная влюбленность читалась на его загорелом побледневшем лице.

2

Странен, таинственен становится в конце мая Ленинград! Медленно заходит солнце, долго сияют, вспыхивают окна домов, стекла автомашин, шпили и купола соборов, синеет, густеет Нева, настораживаются сфинксы, — все глохнет, затаивается. Настает ночь, погружаются в тень каналы, смутны тогда силуэты зданий, пронзительны прямые линии проспектов... И только ползают, шипят по площадям тупые поливные машины, прыскают мертвой водой, и засыпает город очарованным сном.

Все изменяется! Все делается огромным, пустынным, призрачным. Небо светоносно, заря перемещается, зловещ пепельный силуэт тяжелых бастионов Петропавловки, мертвенно-бледен Зимний, пуста, громадна Дворцовая площадь, темен Исаакий, а его золотая шапка кажется серебристой. Как бред, как забытье тянется эта ночь. Любви, стихов, молчания требует она.

И на свое несчастье, на свою великую беду, подошел Агеев в такую ночь к Дворцовому мосту. Уже огороженный, уже готовый застыл этот мост, и бежали, прорывались под тревожные свистки опоздавшие с той и этой стороны. И, закинув голову, перелетела мост и остановилась, задыхаясь от испуга и усталости, та, ради которой через полчаса забыл уже все на свете Агеев.

А мост в ту же минуту дрогнул и стал беззвучно разыматься, приподниматься, вздыбливая рельсы, вздымая шелковистые, темно-серые ленты асфальта, запрокидывая фонари, столбы с провисающими проводами, открывая под ногами столпившихся черный страшный провал. И вот уже он вздыбился, застыл, как актер, воздевший руки в немом трагическом жесте.

— Как страшно! — прошептала она и тут только перевела дух.

Агеев пристально взглянул на нее и похолодел. Она была так прекрасна в силе и блеске первой молодости, в шуршащем клетчатом платье, крепко перехваченном в талии, с обнаженными руками, которых она стыдилась, коротко постриженная, с сияющими, совершенно счастливыми глазами, что Агеев сразу покорно, с радостной и отчаянной готовностью подумал: «Я погиб!»

Они вместе очнулись от оцепенения, вместе отвернулись наконец от моста, вместе пошли по набережной... Вдруг она замедлила шаги и с недоумением посмотрела на него.

— Куда же мы идем? — спросила она. — Мне совсем в другую сторону!

— Ах, пойдемте куда-нибудь! — тотчас властно и радостно сказал он, зная уже, что она ему не откажет. — Давайте гулять!

— Да? — наивно отозвалась она и, быстро отвернувшись, перегнулась через парапет, стала вглядываться в воду. Агеев вдруг с восторгом увидел, как краснеют ее уши, понял, что она совсем еще девочка и не знает, как вести себя, что говорить, на что решиться и что ей так же, как и ему, хочется познакомиться с ним, хочется погулять, но она не знает, удобно ли это.

— Как вас звать? — спросил он.

— Леночка, — тоненько сказала она, все еще глядя в воду.

— Ну, пойдемте, Леночка! — сказал он, взял ее за руку, и она послушно, робко пошла с ним мелкими шажками в своем тугом шелестящем, наверное, первом шелковом платье. Они свернули на Зимнюю канавку и опять остановились. Здесь было темно, чернели ровные, без украшений стены, поблескивали окна, зыбко струилась вода, а сзади светился пролет моста и арка перехода в Эрмитаж.

— Господи, что подумает мама! — сказала Леночка и с мольбой посмотрела на Агеева. И сейчас же застыдилась, заторопилась, пошла, постукивая каблучками по каменным плитам, — так понравился ей, так поразил ее Агеев, который в ту ночь был особенно хорош и молод, особенно решителен, взволнован и бледен той особенной бледностью, которую вызывает только любовь, только страсть и гибель!

Он догнал ее и снова взял за руку. Рука ее стала дрожать, а у него пересыхали губы, кружилась голова, и он уже ничего не чувствовал, кроме одного, что он погиб, что это невозможно, что этому никто не поверит, если рассказать. Они шли каналами, заворачивали, возвращались, переходили пустынную светлую Дворцовую площадь, подходили к Исаакию, в вышине над которым бледно сияла, горела громада купола, стыли темные страшные ангелы. Им встречались такие же, как и они, молчаливые пары, но они уже не видели ничего — начиналось между ними то, чему нет названия, что сотрясает все тело безумием, что может в один день перевернуть жизнь. Разговорились по-настоящему они только под утро и конечно же говорили о своей жизни, о своих мечтах, поражаясь тому, что они встретились, и ужасаясь при мысли, что могли никогда не встретиться.

А расстались они на рассвете. Она жила возле Таврического сада, и Агеев проводил ее до самого дома, до старинных дубовых дверей на втором этаже. Горели по обеим сторонам площадки цветные витражи, бросали странный розово-лиловый свет на лицо Леночки. И она показалась ему от этого незнакомой и печальной. Она сказала ему на прощанье:

— Вы знаете, я боюсь... Я боюсь, у меня никогда больше не повторится такая ночь! Я так счастлива, что почти больна, и чувствую, что должна расплатиться за это... Это — как перед пропастью!

Он хотел поцеловать ее, но не осмелился, прикоснулся только сухими губами к ее руке. Он спустился вниз, постоял у подъезда и пошел домой, глядя себе под ноги, чувствуя одну только легкую печаль. Они условились встретиться в первую субботу, а через день он внезапно уехал в командировку. Уже собравшись, перед тем как ехать на вокзал, он имел время зайти к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного упрямства, с едкой радостью думая о том, как она огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и каким зато счастливым будет их свидание, когда, вернувшись, он придет к ней.

Как жалел он потом об этом! В какой сладкой тоске и муке прошли для него эти два месяца! Как часто просыпался он среди ночи в какой-нибудь душной избе, и, не в силах больше лежать, вставал, и выходил на поросший мелкой курчавой травой двор. Овцы вскидывались и стучали копытами по убитой земле, пока он пробирался сенями. А на дворе его встречала все та же таинственная, могучая красота ночных лугов, наливающихся

ржей, росы на огородах, крепкого томительного запаха холодной картофельной ботвы, пыльных широких дорог, тянущихся, как ему казалось, через всю Россию... И присев где-нибудь на бревнах, чувствуя ноющую усталость во всем теле, натруженном за день, он курил, думал о Леночке, вспоминал ее голос, ее слова, ее глаза и руки, ночные здания, темноту и свет, и Неву, и свое безумие, — дух захватывало у него, грудь стеснялась, а на глазах выступали слезы, и он тогда слабо и небрежно усмехался, как бы стыдясь перед кем-то этих слез.

И вот наконец он дома, в Ленинграде, и еще не кончились белые ночи, теплота камней, прозрачность и остекленелость неба. И целый день наслаждался он мыслью о свидании, нарочно ни к кому не заходил, никому не звонил, боясь растратить то великое, что узнал, накопил он в себе за эти два месяца. Только ей одной хотел он рассказать о туманных рассветах, о деревнях, о запахе жилья, о бесконечных русских дорогах, о полыхающих зарницах, о страшных лиловых грозах... Для нее он так тщательно одевался, наряжался сегодня, все больше возбуждался, холодел и горел, воображая ее прощение, ее доверчивость и любовь.

3

Он шел теми местами, где они гуляли в ту ночь. Такие привычные раньше, теперь они потрясали его. Он прошел мимо Манежа, мимо Исаакия, Адмиралтейства, мимо арки Главного штаба... Он прошел по Мойке, впервые поражаясь гулкой темноте под мостами, миновал сумрачный Инженерный замок и вышел на набережную Фонтанки. Слева был Летний сад, темнела его пышная летняя зелень, сквозь которую просвечивали бледно-желтые мраморные статуи. Впереди — на сиренево-светлой воде Невы — смугло и четко рисовался Прачешный мост. Еще дальше была теплая пустота, сизые, плоские очертания противоположного берега. И он остановился, задумался над бегущей прозрачной водой Фонтанки, над вытянутыми, прижатыми ко дну ржавыми водорослями. Потом свернул в переулок.

Какой это был странный переулок! И странно еще было то, что Агеев раньше никогда не бывал здесь. Высокие серые дома почти смыкались наверху, и совсем мало света проходило вниз. Прохожих не было. Почти ужасная прямая линия панели переходила в смутно-сизую даль перспективы. Это безлюдье, эта полутемнота, предвещавшая долгую стеклянную застылость ночи, эти окна наверху, блестевшие мертво и плоско, — все это молчаливое, сумрачное, затаившееся неприятно поразило Агеева.

Внезапно Агеев увидел пьяного. Он сидел, привалясь спиной к водосточной трубе, упираясь руками в землю и свесив голову. Ничего решительно не было ужасного в его фигуре — обычный пьяный, каких много бывает в большом городе, и все-таки Агеев вздрогнул почему-то. Пьяный поднял лицо и тупо, пристально, с пьяной упорностью и бессмысленностью проводил глазами Агеева. А через минуту Агеев услышал вдруг у себя за спиной шаркающие, припадающие, слабые шаги. Агеев нервно повернул голову и снова ужаснулся, сам не зная чему: пьяный теперь шел за ним в двух шагах, все так же тупо и бессмысленно глядя ему в спину. Некоторое время Агеев напряженно прислушивался, ожидая, что пьяный заговорит с ним, попросит папиросу или денег на выпивку... Но пьяный молчал, только слышно было, как тяжело он дышит, как торопится и шаркает ногами. Агеев пошел медленнее, думая, что пьяный обгонит его и пойдет своей дорогой. Тотчас, как будто благодарно, замедлил шаги и пьяный. Изо всех сил стараясь казаться равнодушным, гуляющим, не замечающим преследования, Агеев перешел на другую сторону и прислушался: пьяный шаркал за ним.

Тогда Агеев остановился и повернулся к пьяному. Тот тоже остановился, тяжело дыша, помаргивая, клонясь и приседая на слабых ногах. Агеев близко рассмотрел его лицо. Оно было отвратительно своей полной бессмысленностью, потасканностью. Оно было несчастно и как-то мучительно, тупо и упрямо сурово. Агеев быстро оглянулся: ни впереди, ни сзади не было ни души, и снова странной показалась ему эта безлюдность в такой ранний еще час, эта серая безликость, мертвые окна, чистые панели с черными пятнами луж от недавнего дождя.

— Ну? — грубо спросил Агеев. — Чего надо?

Пьяный молчал. Но быстрая, совершенно трезвая, насмешливая улыбка мелькнула вдруг у него на лице и в глазах. Смущенный Агеев отвернулся и пошел, уже по-настоящему испуганный, стремясь поскорее выбраться из этого узкого прямого коридора, и по-прежнему слышал, как задыхается пьяный, чувствовал спиной его упорный взгляд. Все это начинало походить на дурной сон, на кошмар... Что ему нужно? Почему так упорно преследует он его? И почему так трезво, с такой осмысленной хитростью улыбается? Почему так дик, угрюм и пустынен этот переулок? Что за странная минута?

Агеев шел, все более нервничая, злясь, уже боясь оглянуться, боясь увидеть еще раз потасканное, ничего не выражающее, но вместе с тем нагло-вещее лицо. Он переходил на другую сторону, приостанавливался, торопился, и точно так же переходил, приостанавливался и задыхался, торопился за ним пьяный.

Наконец стали попадаться прохожие, стал слышен шум машин и трамваев на Литейном, и свистящее дыхание пьяного за спиной у Агеева прекратилось. Агеев облегченно вздохнул, ослабил напряженную спину и оглянулся: пьяного нигде не было видно. Агеев вышел даже на середину мостовой, чтобы посмотреть назад — пьяный исчез!

В глубокой задумчивости пересек Агеев Литейный и пошел по одной из трех прекрасных улиц со старинными особняками, которые ведут к Таврическому саду. Он скоро успокоился и забыл обо всем, и опять почувствовал радостный озноб при мысли о Леночке. Опять нахлынули на него воспоминания о далекой майской ночи и о своем одиноком двухмесячном житье, о своей сладкой тоске, которая особенно остра была при виде шафранных летних закатов и по ночам. И вот он подошел уже к ее дому, остановился и закурил, со страхом и любовью глядя на старинный подъезд. Ему казалось, что она должна вот-вот выйти, вскрикнуть, увидев его, кинуться ему навстречу или притвориться рассеянной, равнодушной, спешащей куда-то. Что она? Как? Думает ли о нем, ждет ли его так же, как он ее? Или забыла? Или до сих пор не простила ему того, что не пришел он в ту далекую субботу?

Он не мог больше стоять и курить, бросил папиросу, отворил тяжелую дверь, вошел в прохладную темноту подъезда, стал подниматься по лестнице, прислушиваясь, не хлопнет ли дверь на втором этаже, и ничего не слыша, кроме стука своего сердца. Вот опять знакомая площадка, которую он так часто воображал, вот эти прекрасные витражи, льющие сумрачный гранатово-лилово-желтый свет, вот огромная дверь ее квартиры... И бледнея, сотрясаясь от стука сердца, чувствуя слабость и холод в животе и ногах, Агеев позвонил.

Ему долго не открывали. Переведя дух, он позвонил еще и слышал, как в глубине квартиры звякнул звонок. Но тишина была ему ответом, загадочно и сурово молчала тяжелая двустворчатая старинная дубовая дверь. Наконец раздались медленные шаги, дверь открылась, и первое, что он увидел — была крышка гроба темно-бордового цвета с серебристыми ромбами по бокам и в головах, на широком тупом конце, прислоненная к стене в коридоре. И еще что-то ужасное, нечеловеческое было в этой квартире: шепот и шаги в глубине ее, крепкий еловый, лекарственный и еще... [10]

Наброски рассказов

Вечерний звон

Пашка точит прокладочные кольца. Работа неинтересная, легкая, поэтому он может размышлять на досуге о чем угодно. Под равномерное гудение своего станка, под смачное шлепанье шкива и тонкий визг резца Пашка думает о том, что через два дня у него большая получка и он купит себе дорогую гитару. Потом надо будет купить галстук и билеты в консерваторию. В консерваторию он хотел сходить давно, но не было галстука, а без галстука, да тем более с девушкой, Пашка идти не решался. Галстук же он купит такой, как у Кузьмичева — с розовыми переливающимися разводами.

Пашке исполнилось недавно пятнадцать лет. Вырос он в детдоме, год назад окончил ремесленное училище и работает теперь токарем по четвертому разряду. Живет он в общежитии и вечерами играет на гитаре. Гитара у него фабричная, дешевая, семиструнная, но играет он на ней хорошо. Правда, не всегда можно играть. Тогда Пашка вздыхает, ложится на кровать и читает. Читать он тоже любит.

Весной ему дали билет в Кремль. Он постригся, отмыл руки и пошел. В Георгиевском зале было так ослепительно светло, так много было девочек в нарядных платьях, в белых фартуках, с белыми воздушными бантами в волосах, что Пашка струсил и прижался к стене. Так бы он и простоял весь вечер, переминаясь с ноги на ногу, в каком-нибудь углу, но мимо пробегал какой-то мужчина с жирным бледным, неестественно радостным лицом. «В круг, в круг», — кричал он высоким голосом и хватал без разбора девочек и ребят за руки, толкал в середину. Он схватил и Пашку, Пашка моргнул, вылетел на середину зала, и тотчас его перехватили, поставили в ряд, и в правой руке он ощутил чью-то такую нежную и слабую руку, что покраснел до испарины. Он скосил глаза и увидел рядом с собой девочку. Она была ослепительна и прелестна. Щеки ее были румяны, глаза сияли, волосы дымились от света, и в волосах был прозрачный бант. Она давно уже танцевала и теперь запыхалась, но хотела танцевать еще и еще.

Заиграла легкая головокружительная музыка, весь круг, все это враз двинулось с гулом шаркающих ног, со смехом, со счастливыми лицами в одну сторону, человек с жирным лицом забегал по середине круга и закричал сильнее, какая-то волна восторга, жара и света переполняла Пашку.

— Правда, замечательно? — крикнула ему соседка, заглянув в глаза своими сумрачно-счастливыми, с тяжелыми веками,

необыкновенной глубины глазами. Пашка только кивнул и задержал дыхание. Он не мог ничего сказать.

Потом все кончилось, и Пашка опять стоял у стены. Горе охватило его, оттого что все кончилось и его прекрасная соседка куда-то ушла, исчезла, убежала. Он чуть не заплакал.

— Что же вы стоите? — вдруг спросили его. Он повернулся и похолодел: перед ним стояла давешняя его соседка. — У вас нет здесь никого? — участливо спросила она.

Пашка мрачно кивнул, сдерживая слезы.

— Девочки, идите, я потом, — закричала тогда она, повернувшись к кому-то. — Пойдемте со мной, хотите?

Пашка совершенно стушевался, а она взяла его за руку.

— Я тут, знаете, который раз... Я тут пятый раз в жизни и все-все знаю.

И она его потащила в какую-то толпу, в толчею, там была какая-то очередь, писк, смех, все теснились и во что-то играли. Потом они пошли по залам, потом поднялись в сумрачные сводчатые комнаты Грановитой палаты...

Ангел небесный

Странный, странный человек был П.!

Ну, начать хотя бы с того, что, дожив почти до тридцати семи лет, П. ни разу не выпил, ни разу не выкурил папироски. Это ли не странность в наш быстрый и развращенный век?

Вторая странность П. заключалась в том, что как он ни старался, а не мог заставить себя хоть раз погоревать, пожалеть, слезу выдавить ни по ком из умерших своих родственников и сослуживцев. Вел он себя в таких случаях как и подобало: надевал темный костюм и темный галстук (черных у него не бывало), делал скорбное лицо, даже платок иной раз прикладывал к глазам и сморкался, в это время даже, случалось, и плечо подставлял под сырой, как правило, и тяжелый гроб, а сам думал в это время черт знает о чем...

Молодой инженер-химик саша скачков волновался…

Молодой инженер-химик Саша Скачков волновался необычайно: он ехал в Париж. Упоительны были эти последние перед отъездом дни в Москве! Была весна, а точнее, стоял на дворе март, 6 число, и Москва, как всегда, была погружена в праздничный <…> Кондитерские, магазины на улице Горького, ЦУМ и ГУМ, цветочные магазины, киоски и лотки, Столешников переулок брались с бою. Вся Грузия, вся ее мимоза переселилась на Центральный рынок.

Саша был молод, не женат, весеннее ликование не могло, значит, не коснуться и его, но главным теперь был для него Париж. Выйдя накануне отъезда ровно в полдень из здания Госбанка на Неглинной, он, не медля ни мгновения, устремился в ресторан «Арарат» на Неглинной же. Раздевшись в гардеробной, раздвинувши нежно, музыкально защелкавший занавес, он вошел в зал и чуть не улыбнулся от радости — зал был почти пуст в это время, чист и напоен смешанными запахами кавказской кухни и армянского коньяка.

Быстро сев за свободный столик у окна, он выложил на ослепительную, туго выглаженную скатерть сигареты и спички, заказав скоро подошедшему официанту графинчик коньяку, бутылку «джермука», салат из свежих огурцов, потом (подумав) салат из помидоров, порцию зернистой икры, суп-пити и цыпленка табака, подождал, пока официант поставил перед ним девственно-чистую тяжелую пепельницу, мелкую тарелку, положил нож, ложку и вилку и удалился, — Саша придвинул к себе пепельницу, жадно закурил и, воровато оглядевшись — не смотрит ли кто на него, — полез в карман за бумажником.

Сначала он достал свой туристский красный паспорт с золотым гербом на твердой негнущейся обложке, потом стал медленно перелистывать гладкие и тоже твердые, как новенькая сторублевка, страницы и узнал из паспорта, что зовут его Александр Иванович Скачков, что означенный Скачков является гражданином СССР и имеет жительство в самом лучшем городе на свете — Москве.

Пересчитав затем все лиловые визы, печати и штампы и подписи, а их было немало, Саша паспорт убрал и полез в другое отделение бумажника — за валютой, за франками. Разного достоинства купюры были непривычно большого размера и необычайно красочны. Все они были захватанными, тем не менее

смотреть на них можно было бесконечно. Замки, реки и долины были изображены там, виноградники и холмы, и классически смотрели из овальных рамок портреты Мольера, Бомарше, Расина и прочих гениев, выгравированные тончайшей иглой!

Официант принес коньяк, «джермук», икру и салаты, и Саша принялся за обед. После обеда ему следовало ехать знакомиться с составом туристской группы и за инструкциями. Саша поехал, с группой познакомился, и так как он только что выпил графинчик и хорошо пообедал, а завтра его ждал Париж, — туристы в группе показались ему людьми симпатичными, а некоторые были такие миляги и остряки, что сразу стало ясно: в Париже скучать не придется. Не только Саша, но и прочие, поприглядевшись друг к другу, обрадовались чрезвычайно, начали хохотать самой невинной шутке и над самым деловым вопросом (выставляется ли там, например, по ночам обувь за дверь?), обнялись, так сказать, духовно и чуть было тут же не спели «Я люблю тебя, жизнь» и «Сквозь...», но, подумавши, отложили до лучших времен, то есть до Парижа. <...>

Новое белье и ботинки, пальто, шляпа, галстук, чемодан — все самой последней московской моды! — были куплены задолго до поездки и любовно лелеемы — обновиться всему этому суждено было в Париже.

Но все это было вчера и теперь осталось позади, и Саша, страшно удивленный тем, что московские таможенники не заинтересовались содержимым туристских чемоданов, успевши уже позавтракать традиционным аэрофлотовским рахитичным цыпленком с недоваренным рисом и запив завтрак толстодонным овальным стаканом красного вина, сидел, с необычайным удовольствием курил — сигаретами он запасся московскими, чтобы не тратить в Париже на курево драгоценную валюту, — и предавался мечтам о парижанках. Подумать только, парижанки!

Его так возбуждала мысль о парижанках, что он даже и внимания не обратил на стюардесс — этих лакомых кусочков, этих образчиков красоты, элегантности решительно для всех советских писателей, ибо решительно ни один писатель не обошел их своим восторженным вниманием. Правда, Саша, к его сожалению, советских писателей не читал, равно как и классических, а читал он только справочники по химии, химические журналы и газету «Советский спорт»...

Нет, бывает все-таки счастье...

Нет, бывает, бывает все-таки счастье на свете! Шестнадцатого сентября, после сильного дождя, промокнув дорогой, простудившись еще накануне, шмыгая носом и морщась от головной боли, стоял Федор Конь, аспирант-историк, на подмосковной платформе в ожидании электрички.

Думать ему ни о чем не хотелось и в Москву ехать не хотелось, но он все-таки собирался ехать, горько нужно было, а думал, как и все последние три месяца, преимущественно о двух вещах: о своей жене, которая его бросила, и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации».

Случай, и, как теперь думал Федор, роковой случай, свел его с его будущей женой. Они ехали в метро в одном полупустом вагоне, сидели друг против друга и друг друга не замечали, и так бы и вышли из вагона на разных остановках, если бы у будущей жены Федора (как потом выяснилось) не защекотало в носу. Она сморщилась, собираясь чихнуть, быстро выхватила платок, щелкнула сумочкой, затрясла кистью, держа платок за уголышек, расправляя, разворачивая его — и не удержала. Платок упал, Федор машинально вскочил, нагнулся за платком и сильно ударился лбом о темя нагнувшейся же своей будущей жены.

Удар был так силен, что у Федора слезы на глазах выступили, а о ней уж и говорить нечего было! Схватившись за голову, она даже разогнуться первое время не могла, потом ей стало нехорошо, она побледнела и, когда поезд начал притормаживать, встала, чтобы выйти на первой же станции, подняться на улицу, на воздух...

Федор поторопился поддержать ее под локоть, она позволила довести себя до эскалатора, но, ухватившись за поручень, руку у Федора вырвала. Федор не отставал. Стоя на ступеньку выше, склонившись над ней, он поглаживал ее плечо и бормотал: «Ради бога! Простите, ради бога! Я сейчас такси поймаю... Может быть, в клинику?»

Наклоняясь над ней, он близко видел чистый ее пробор, и завитки волос на нежной шее, и чистые ушки, шел от нее одуряющий запах чистоты, теплой кофты, волос и туалетного мыла.

На улице, прислонясь к колонне, она впервые взглянула на Федора мокрыми глазами, страдальчески нахмурилась и попросила:

— В самом деле, поймайте такси, мне что-то нехорошо...

Долго и безуспешно топтался Федор на краю тротуара,

поднимая и опуская руку с торчком стоявшим большим пальцем: все такси были заняты.

— Господи! — сказала она, когда удрученный Федор вернулся ни с чем. — Хоть бы посидеть где-нибудь...

И беспомощно огляделась. Огляделся и Федор и вдруг увидел вывеску кафе наискосок на другой стороне улицы.

— Зайдемте в кафе! — обрадовался он. — Вы там посидите, а я в аптеку сбегаю, может быть, анальгин?

Пошли в кафе, сели за чистый столик у окна. Федор уже и говорить не мог, смотрел только на нее, жалостливо шевелил губами. Она снова щелкнула сумочкой, достала платок, внимательно осмотрела его, — не запачкался ли, — и крепко вытерла глаза.

— Не надо в аптеку! — решительно сказала она, снова щелкнула сумочкой и закурила. Зажигалка была газовая, дорогая, сигареты — американские.

— Тогда... тогда давайте выпьем коньяку? Болит голова? Я не пью, правда, но все говорят, первое дело от головы, когда выпьешь.

— О-о! О! Господи! — испуганно произнесла она, щупая себе темя и взглядывая на Федора расширенными глазами. — Ну и двинули меня вы... Как хоть вас звать?

— Федор Конь.

— Как? Как? Конь? — она в изумлении, забыв выпустить дым, поглядела на него, потом закашлялась, захохотала и, сквозь смех, сказала: — Какое имя! Это невозможно! Интересно, способна ли эта лошадь на что-нибудь еще, кроме как лягаться? Это я по привычке, простите...

— Я знаю английский, — пробормотал Федор и багрово покраснел.

— Ох, простите, я не хотела вас обидеть.

— Одну минутку... — пробормотал Федор и окликнул официантку...

Девятый круг

— Ну, ну, еще, а-а-а-а-и-и-и, повыше, повыше, а-ах, а-ах, давай, давай!.. — вопил Сергеев и стонал, хрюкал, фыркал, взвизгивал на полке, выгибал спину, перекатывал голову и возил красными ошпаренными ногами, а Зойка, присев от жара на корточки, стараясь пореже дышать, хлестала и хлестала его до тех пор, пока Сергеев, ухнув, вдруг не скатился с полка.

Чувствуя, как трещат от жара волосы на голове, ничего не видя сквозь залитые потом ресницы, Сергеев нашарил дверь, саданул в нее бедром, проскочил предбанник, пахнущий сажей, пробежал, балансируя, по приятно гладким, мокрым мосткам и нырнул.

Вода показалась ему совершенно теплой, когда он нырнул, и воздух, который он, вынырнув, жадно схватил открытым ртом, показался ему горячим, как в жаркий июльский полдень, хотя уже совсем вечерело и было прохладно. Ему живо вспомнился жгучий итальянский день и Средиземное море возле Капри, где он однажды купался <...>

Выехал из Москвы он еще вчера вечером, как всегда поругавшись перед этим с женой. Обычная история — жена, для которой он когда-то был, по ее словам, «все», теперь глядела на него со злобой, раскуривала трясущимися руками сигарету и говорила, отвратительно всхлипывая, что он загубил ее жизнь, что он никогда сам не возьмет ребенка из детского сада, а взваливает это на нее, что они не живут, «как люди», что «настоящий отец» поехал бы с ребенком и с ней к знакомым на дачу и что, она уверена, ни на какую рыбалку он не поедет, а поедет к какой-нибудь «твари»...

Сергеев же, зная, что ехать ему предстоит всю ночь, кипятил себе уже третью чашку кофе и, давно взяв себе насмешливый тон в ссорах с женой, только зло щурил глаза и говорил обстоятельно:

— Вот когда ребенок вырастет, будет ездить со мной на рыбалку. Если, конечно, будет достоин этого священного занятия...

Навсегда-навсегда

Стояла на свете маленькая деревенская церковь. Видна она была далеко окрест, может быть, на десятки километров, потому что поставили ее триста лет назад над извилистой рекой, на холме.

И было прелестное ослепительное утро середины марта, когда снег везде подался, осел к земле, но казался еще белее, и уплотнился на полях — и только обочины дорог были уже изрыты, изрезаны солнцем.

На осины на старом кладбище у церкви больно было смотреть, так туги и зелены они стали. И особенно почему-то черны были грачиные гнезда в высоте, в уже розовой паутине березовых крон.

Больно было смотреть и на церковь, на ее розовую белизну, на луковку, на новые зеленые скаты крыши, с которых снег уже сошел.

И на свежую, пустую еще могилу, вокруг которой глыбами была навалена оранжевая песчаная земля, и даже следы от нее по белой тропке были оранжевые.

А следы эти вели к лавочке поодаль у безымянного снежного холмика. На лавочке сидели, распахнув телогрейки и отдыхая под солнышком, два друга — Егор и Вантяй, — и мысли у них были сонные и приятные.

Еще позавчера была получена к вечеру из Москвы телеграмма с просьбой приготовить могилу для артистки, неизвестно почему пожелавшей лежать на кладбище именно в их деревне. Бригадир, сходив к попу, определил, где быть могиле, и нарядил на это дело Егора с Вантяем.

И вчера с утра они пришли на указанное попом место, разгребли снег и разложили костер. Земля после страшной зимы так промерзла, что дня не хватило и пришлось поддерживать огонь всю ночь, а с утра — рыть.

А теперь им хотелось спать. Они и ушли бы, но их поддерживала приятная мысль о том, сколько им обломится за трудовые успехи, и потом еще — как зайдут они к Клаве в магазин и возьмут чего надо, а потом, может, еще добавят и еще...

Чиф

...Он лежал на бровке, серебристо-белый, с рыжими пятнами по телу, и был далеко виден на зеленой траве. Ледяной комок появился у меня под сердцем и не таял. Ноги мои сделались как ватные, когда я присел возле него. Сначала я пригляделся к его бокам, к его влажному носу — не дышит ли? Потом потрогал его, он был уже холоден.

Сначала я решил, что его сшибла автомашина. Но лапы и ребра его были целы, шерсть не запачкана, и крови нигде не было, а я-то знал, что происходит с собакой, когда ее переезжает автомобиль...

Он лежал на левом боку, ровно и далеко вытянув лапы. Правое ухо его в момент падения вывернулось и так и осталось, розовея своей изнанкой. Глаза его, по-прежнему глубоко темные, были сведены к переносью, и взгляд их от этого стал загадочным...

— Чиф! Что же это ты, Чифуля, как же это ты?.. — повторял я, сидя возле него на траве и трогая его уши и рыжие пятна на боках.

А какой теплый августовский день клонился тогда к вечеру! Какие царственные облака плыли по небу! Как наслаждалось, как торопилось жить все живое вокруг, по лесам и полям, по своим гнездам и норкам, как жадно хлопотало, не подозревая даже, что еще одна душа уже далече и смотрит на нас — как? Сострадая? Любуясь всеми нами, сожалея, завидуя прежней своей жизни на земле?

— Ну, вот и кончились и прошли наши с тобой двенадцать лет... — говорил я, разглаживая его лицо, стараясь, чтобы он посмотрел на меня, а он все смотрел себе на переносье, как бы созерцая нечто внутри себя, что-то навеки озадачившее его. — И каких лет! Ведь целая жизнь с невыносимыми страданиями, но зато и с таким изобилием счастья, которое нам и не снилось!

Одно было для меня утешение в ту горчайшую минуту, что умер он сразу...

Смерть, где жало твое?

В просторной пустой избе лесного объездчика умирал Николай Михайлович Акользин — бывший кандидат и доцент, бывший москвич и теперешний лесничий, не успевший даже вступить в должность. И эта изба, люди, жившие в ней, лес за окном, частые дожди и ветер и его смерть казались временами Акользину чем-то неестественным, диким, ненастоящим, хотя как раз все было вполне естественно, закономерно и вовсе не дико.

Приехал в лесничество Акользин месяц назад. Он был болен давно, но на пароходе ему стало так худо, что он даже заплакал раз, когда никого не было в каюте. Предсмертная тоска впервые охватила его.

А тот день, когда Акользин, с самого утра сидевший на палубе и жадно смотревший по сторонам, уже подъезжал — тот день был пасмурен. Низкие равномерные облака обложили все небо, нигде не было просвета, лес по обеим сторонам реки был красно-темен, а деревни — сизы. Порывами налетал ветер с дождем, над рекой повисала водяная пыль, ивы на берегу кланялись, встряхивались, выворачивали листья и становились серебряными.

Была середина сентября. Начал облетать лист, березы сыпали желтым, везде на лугах был поздний сенокос, и маленькие стожки уже стояли на пожнях. И чем дальше на север, тем чаще попадались заколоченные, покосившиеся, обомшелые по крышам деревянные церкви. «Наконец-то! — со слабым восторгом думал Акользин. — Наконец я вижу это! Эти церкви — как музыкальный грустный звук севера. Ах! Куда все-таки меня занесло!»

Есть что-то странное, затягивающее и щемящее в осенних поездках по глухим рекам. Моросит дождь, шаркает по палубам ветер, река как-то темна, оголена и особенно широка. Плывет навстречу редкий молевой лес, глухо стукается о пароход, бревна лениво выворачиваются из-под бортов и уходят назад. А пароход пуст, почти безлюден.

Пристаней давно нет. Пароход дает на плесах длинный свисток, круто разворачивается и пристает против течения к берегу. На берегу, в тех местах, куда, налезая носом на гибкие ивы и кочки, пристает пароход, — жгут костры, молча стоят и сидят ребятишки, бабы с ребятами на руках. С парохода ссовывают длинную доску-трап, сходят немногие пассажиры, еще реже входят... Пахнет горечью осенней земли, корой ивы, речной сыростью, дымом от костра. Стоят наверху большие северные избы с высокими поветями, с маленькими окошками, со

«съездами». Голоса слышны громко, речь странна и чудна для приезжего.

День сменяет ночь, еще более сырая, холодная и туманная. Пароход идет медленнее, осторожнее, посвистывает чаще. Загораются красные и белые огни на бакенах и створных знаках, берега далеки, темны и безжизненны. И особенно уютным кажется в такие ночи пароход, его огни, его шипение и постукивание, его гулкие долгие свистки, от которых по телу проходит внезапный озноб. Хороши встречные буксиры, поплевывающие паром, хороши длинные темные баржи или плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них. Хорошо это долгое задумчивое, спокойное плавание, хорошо пахнет дровами и теплом возле машинного отделения, особенно сладким и теплым бывает пар, пробивающийся из какой-нибудь трубы на палубу, и совсем не хочется уходить вниз, в каюту, а хочется сидеть всю ночь, пригревшись возле трубы, закутавшись в пальто, дышать чистым воздухом и думать о своей и чужой жизни.

И Акользин, видевший все это впервые в жизни, горько жалел, что не знал этого раньше. Что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он никогда не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него в те короткие минуты, когда пароход останавливался, замолкал, и такой глубокой становилась тишина, так странно звучали голоса, так все жило и пахло, что ему становилось не по себе.

Он вспоминал свою жизнь и не только свою, но и жизнь страны — мысленно он быстро пробегал исторические повороты, революции, войны, и ему все это естественно и всегда казалось, что ничего важнее этого быть не может. Раньше он всегда волновался, читая газеты, следя за политикой, представляя себе те катаклические взрывы социального, которые происходили на земле. Он любил думать и говорить исторически, то есть пользоваться широкими категориями. Он слушал и сам говорил: «народ», «борьба», «революция», «пафос», и будто неведомая восторженная сила поднимала его высоко над земным шаром — он видел страны и революции, он видел бесчисленное колыхание народных масс, охваченных пафосом стремления к лучшей жизни.

И когда он жил в Москве, в своей хорошей квартире, когда он слышал по утрам радио, читал газеты, читал лекции студентам, говорил о будущем переустройстве земли не только в социальном, но и в физическом смысле, он свято верил во все это. Мало того, он совершенно отчетливо представлял все это.

А теперь что-то новое вдруг открылось в нем и удивляло его

самого. Он смотрел на сизые избы, на людей, на реку, на лес, он пристально вглядывался в мельчайшие подробности и думал со смутным и странным ощущением, что, может быть, и важно то, чем он жил раньше и чем жил его круг людей, его общество, но что все это как-то вдруг отходит на задний план перед тем, что его окружило и полонило сейчас.

Мысли эти смущали его и раньше, когда он читал книги. Он читал роман о жизни народа, и как бы жил той эпопеей, которую разворачивал перед ним настоящий художник, ему казалось, что все, что он читал до этого — все это чепуха и что вот наконец-то он добрался до самой сути, до самого главного, и это главное есть жизнь нации, жизнь страны в ее необычном развитии. Он даже как-то сам вырастал вместе с художником, он сам становился мудрым судьей народа и себя и рассматривал, и изучал свою жизнь с совершенно особенной, бесконечно важной точки зрения.

Но через некоторое время ему попадался крошечный рассказ о какой-нибудь девчонке, и он вдруг с похолодевшим лицом чувствовал, что жизнь народов и вообще все на свете ничего не стоят по сравнению с одним только взглядом, одним вздохом этой девчонки. И что если и стоит жить на свете и что-то делать, чему-то служить, то только этой девчонке с таким неистово сияющим взглядом.

Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное проявление? Такие вопросы доставляли ему всегда странное ощущение приятной тайны.

Старый дом

1

Дом этот выстроил композитор.

Когда прошла чреда его лет, когда круг жизни замкнулся и он узнал все, что положено было узнать ему, — счастливейшему и талантливейшему из смертных, — когда сердце его, утомленное овациями Вены, Лондона, Парижа и Петербурга, блеском концертных залов, любовью и обожанием лучших, прекраснейших женщин мира, когда усталое сердце его загорелось ровным огнем самой великой и самой нежной любви к родине, к далеким годам детства, к бесконечным печальным равнинам, — он затосковал, и, поражаясь и радуясь этой новой любви, он выбрал место на берегу Оки и стал строить себе дом.

Сказано в старой книге: «Выбери себе место на земле — ничего, если место это не будет дивным! Выстрой себе жилище и потрудись весь остаток жизни своей над украшением земли. Так создается красота мира!»

Гол, уныл и дик был холм на берегу реки, когда начали возить туда белый, сахаристый камень и оранжевый, звонко-каленый кирпич, желтые сосновые и палевые дубовые и кедровые бревна, гибкие доски, распространявшие запах скипидара и лаванды, легкую красную, с радужно-шоколадным отливом черепицу, пахнувшую почему-то тонкой сухой пылью аравийских пустынь.

Гол и сух был холм с едва заметными остатками древнейшего городища, когда пришли туда плотники, и столяры, и каменщики, и печники, и много разного рабочего люда из окрестный деревень, когда поставили они там шалаши и жгли вечерами маленькие экономные костры, и голубой дым, — будто вновь ожила глубокая древность, — начал тонкими струйками валиться вниз, в сторону реки, в сторону долгих закатов, в сторону прекрасных сизеющих заречных далей.

И все время жил в шалаше, ездил на далекую станцию, обгорал, рыжел на солнце хозяин будущего дома. Ни одного дня не провел он в праздности, совсем забыл музыку, рассылая по всем губерниям письма с просьбой прислать семян и саженцев, еще камня, еще лесу, ругаясь с подрядчиком, вычерчивая, сидя на корячках, мотая головой от дыма костра, протирая покрасневшие глаза, все новые и новые эскизы комнат, фасада и крыши.

Всю весну сажали лес на холме: ольховый, липовый,

сосновый, березовый. Сажали яблони, сажали проклюнувшиеся желуди. А осенью, наконец, стали прибывать саженцы, с обвязанными рогожей корнями, с уцелевшими на тонких прутиках последними желтыми листьями. Всю осень шли посадки, доделывался, украшался и топился новый, прекрасный дом, еще пахнувший досками, стружкой, глиной и дымом, еще сырой, необычно гулкий, пустой, необжитой, но уже смотревший в багряные дали большими своими окнами, уже заманчиво белеющий издалека, краснеющий крутой черепичной крышей, уже сиявший светом далеко за полночь.

По морозцу, по хрусткой твердой дороге приехало духовенство на освящение, приехали певчие с сизыми носами, маслеными волосами, с голодными и жаждущими глазами, приехали гости, и целый день с утра отворялись двери, снимались в передней пахучие шубы, накрывался в столовой стол, варили и жарили на кухне. А потом, в ранних ноябрьских сумерках, зажглись лампы и свечи, запахло по комнатам сладким ладаном, откашлялся огромный пучеглазый дьякон, гмыкнул несколько раз, пробуя октаву, — и началось великолепие богослужения, полились дивные древние слова, зазвучал прекрасный хор... А еще позже, до самой глубокой ночи, почти до света, звучали в доме горячие речи любви к хозяину, звучала музыка, все много ели, еще больше пили, радуясь теплу и свету, черноте за окнами, осеннему паводку на Оке.

Так началась долгая жизнь дома. Жизнь эта была спокойна и величава, с каждым годом она все больше устанавливалась, обогащалась, делалась все более деловитой и прекрасной. В дом приезжали художники, подолгу гостили, много рисовали, много спорили, а уезжая, оставляли каждый раз хозяину много картин и этюдов.

А иногда, устав от своей музыки, он уходил в парк и возвращался не скоро, надышавшись спиртовым запахом опавших листьев, насмотревшись на хмурую, пустынную Оку. Дом принимал его радостно, он знал, что сейчас же начнется нечто прекрасное. И композитор, потерев руки, сзывал в гостиную гостей, садился к фисгармонии, несколько боком, закуривал жаркую сигару и начинал играть. Он играл «Пассакалию» Баха. Повторялась все время одна тема в левой руке, а в правой бесконечно чередовались все новые, новые вариации, и слушатели сидели затаив дыхание, чувствуя, как холодеют руки, как першит в горле.

— Да... — говорил композитор, кончив играть и отдыхая. — Да! Сколько имен, боже мой! Сколько музыки, а никого, никого больше нет — всё они, вечные, одни и те же: Бах, Моцарт,

Бетховен...

К нему приезжали гости. Приезжал знаменитый, черный, томный и все охорашивающийся художник. Он мало ел, капризничал, надолго уходил из дому, но когда приносил этюды и все сходились смотреть, — наступала торжественная тишина: такой дивной, пронзительной и русской печалью были пронизаны его картины.

Приезжал иногда великий певец. Он входил в дом свободно, вольно — огромный, с маленькой, откинутой назад головой, в распахнутой на груди шубе, с наглой, шелковистой, сытой собакой боксером. Как небрежно и изящно он кланялся, как целовал дамам руки, как разговаривал, слегка поворачивая свою волчью шею.

— Только не надо музыки! — капризно просил он. — Я так устал, а ну всё к чертям! Мишенька, пошли рыбу ловить!

А вечером вдруг спускался в гостиную, в которой собирались обычно гости. Он бывал бледен в такие минуты. В черном пиджаке, в ослепительной рубашке с открытым воротом, он подходил к роялю, опирался на лаковую крышку тяжелой, в перстнях рукой. Мертвенная бледность заливала его лицо, ноздри короткого носа вздрагивали, на лоб падала золотистая прядь волос...

Все собирались в гостиную, садились в тень и замирали в томительном предчувствии великого, небывалого и потрясающе-возвышенного. Хозяин с кривой улыбкой подходил к роялю, открывал крышку, клал приплюснутые на концах пальцы на клавиши, брал несколько аккордов, с недоумением прислушиваясь к звучности рояля, будто в первый раз прикасался к инструменту. Певец окидывал потемневшими глазами комнату, картины на стенах, изумительные иконы в углу, взглядывал на лампу.

И начиналось... «Во сне я горько плакал», — пел он, и всем становилось душно, страшно и до головокружения прекрасно. И через короткое время уже никто не скрывал слез, а певец все пел, пел что-то древнерусское, разгульное и сладко-печальное, долгое, пел, то расширяя, то опуская безумные свои глаза, пел будто в последний раз, будто уж никогда, никогда не придется ему петь и он торопился теперь насытиться, напеться, напитаться необычайным тембром своего голоса.

Но были и глухие времена, когда месяцами никто не приезжал к нему. Тогда он делался день ото дня молчаливее, прозрачнее лицом, все чаще приспускал ресницы на глаза, все чаще надолго уходил в лес, сидел там в одиночестве или ездил по деревням к знакомым мужикам, которых было у него уже

множество. Возвращался он всегда похудевший, с новым выражением в лице и даже в фигуре, торопливо поздоровавшись, поцеловавшись с домашними, проходил к себе в кабинет, закуривал и думал, думал и писал торопливыми кривыми крючками на нотной бумаге.

Незаметно проходили зимы и весны, композитор старел, руки его сохли, спина сутулилась, и по утрам в своей спальне он кашлял совсем стариковским кашлем. Дом же терял яркость новизны, не бросался в глаза, как раньше, да и не виден был теперь, как раньше: со всех сторон подрастал буйный молодняк, тянулся верхушками кверху, загораживал дом, только уже темная черепичная крыша была видна над лесом, только две просеки пришлось прорубить к реке.

Но странно, чем старше становился композитор, чем дольше жил он среди нищих деревень, среди дымчатых лесов, необъятных равнинных далей, тем острей он чувствовал прелесть русской жизни, тем величавей и пронзительней становилась его музыка, тем больше он писал прекрасных диковатых романсов, прелюдий, концертов и симфонических поэм. Наверное, только теперь он стал понимать свой народ, его историю, его жизнь, его поэзию, наверное, только теперь он понял, что если что-нибудь на свете стоит преклонения, стоит великой, вечной, до слез горькой и сладкой любви, так только это — только эти луга, только эти деревни, пашни, леса, овраги, только эти люди, всю жизнь тяжко работающие и умирающие такой прекрасной, спокойной смертью, какой он не видел нигде больше.

2

Дом стар теперь и имеет вид больного, умирающего. Не то чтобы он разваливался, нет! — стены его крепки еще, полы тверды, холодны и блестящи, балки сухи и звонко-туги, окна чисты, мебель покрыта лаком, красива и безупречно протерта, суха и нова — одна только лестница, дубовая, с перилами, резанными московским краснодеревщиком, слегка скрипит, стонет под шагами. И не потому он стар теперь, что черепица его почернела, что на широком каменном крыльце, сбоку, проросли уже в трещинах молодые побеги березы.

Если войти в дом — сразу слева будет библиотека-гостиная. Все в ней как прежде: дубовые панели, клетчатый, из балок мореного черного дуба потолок, шкафы по стенам, и в шкафах — длинный ряд книг, сияющий золотом переплетов, над шкафами картины — подарки знаменитых художников, в углу несколько икон работы этих же художников. Камин расписан знаками

Зодиака, уставлен древнеримской медной посудой. В углу, у окна, стоит прекрасный рояль, а слева возле стены — фисгармония.

А комната налево — совсем иной мир. Здесь столовая, и полки в ней, и буфеты уставлены изумительными туесками вологодской работы, солонками олонецкой резьбы, великоустюжскими поставцами, золотистыми ложками из Сергиева посада...

Никакая это не Венеция, как тут говорят, — ни русская, ни украинская, — это просто Вилково, маленький городок, который основали беглые староверы в XVIII веке. Вот что это такое. Плоский, ослепительно белый, залитый солнцем, заросший цветами и виноградом, пересеченный десятками ериков городок.

Попасть туда не так трудно. Надо приехать сперва в Одессу и не проскакивать ее, а остановиться там хотя бы дня на два или три. И пойти на базар. А по дороге удивляться тенистым тихим улицам, брусчатке и обилию платанов.

Одесса описана достаточно. И я скажу несколько слов только о базаре. Не знаю почему, но рыбой на базаре торгуют только в Одессе. Я даже не хочу догадываться о причинах такой странности, пусть попробует догадаться министр торговли. Но только ни на Кавказе, ни в Крыму, ни в Гагре, ни в Сухуми, ни в Сочи, ни в Судаке, ни в Феодосии ни за какие деньги не найдете вы обыкновенного бычка. Свежего, еще почти живого, только что из моря.

Найти, увидеть, взвесить, пощупать его, выбрать темного или светлого, наконец, купить и притащить домой вы сможете только в Одессе. Но бычок без ничего — это не бычок. К нему надо лук зеленый, перец и помидоры. Заедать его надо виноградом, арбузом или дыней. И это вы тоже найдете в Одессе на базаре.

Итак, ни в коем случае не минуйте Одессу, поживите там и попробуйте бычков только что из моря. Или, если хотите, скумбрию. Или кефаль. Лобана, ставриду, саргана, петуха — словом, любую рыбу на ваш вкус. Помните, что на Черном море это небывалое явление — свежая рыба.

Потом садитесь на поезд, или в самолет, или в автобус и поезжайте в Измаил. Если вам захочется узнать, как живут люди, пойдите опять-таки на базар. Потому что в маленьких городах уровень жизни определяется уровнем базара.

А базар в Измаиле огромный. Прямо-таки грандиозный базар для такого небольшого города. Народ там в высоких бараньих шапках, в теплых безрукавках, все на мотоциклах или на телегах, запряженных битюгами. Или на грузовиках. Это уже какая-то Молдавия, что-то южное, незнакомое. И вас тут же потянет куда-нибудь в села, к ним, туда, где они живут, но вам нужно Вилково. Измаил — это только пересадка. И вам остается базар.

Вы увидите горы плоских корзин с виноградом, айвой, яблоками и грушами. Янтарные и изумрудные завалы дынь и арбузов. Красно-белые ряды — это мясо. Тускло-серебристые —

это молоко, сметана и масло. И есть еще один ряд — вернее, улица, да и самый базар — это город какой-то, и там не ряды, а улицы. Так вот — улица, самая шумная и веселая на всем базаре. Это винный ряд. В глубине ларьков покоятся большие темные бочки, иногда в два-три ряда — с затычками или кранами. Вино бежит, хлещет розовой струей, вино нового урожая. Все вокруг вас пьют, задирая головы, гомонят, курят, смеются, окликают друг друга, ходят покачиваясь. И вы можете, как и все, как будто вы тоже из какого-нибудь молдавского села приехали, поторговали, навалили пустые корзины в кузов машины, и теперь у вас отдых.

Но вам нужно дальше, в Вилково, про который все говорят: «Венеция, Венеция!» — хотя это вовсе не Венеция. Вы садитесь в «Ракету» и мчитесь по Дунаю вниз, к Черному морю. На этой «Ракете» — двигатель в тысячу двести лошадиных сил. Вода под корпусом разбивается не в брызги, а в пыль. И покуда вы мчитесь, вокруг вас все время вспыхивают радуги. Семьдесят километров в час.

И вот Вилково.

Я не люблю приморских южных городов. Они выросли там и сям — все эти Алупки, Алушты, Симеизы — не сами по себе, не в силу необходимости, а как пристанище курортников. И дома там строятся будто затем только, чтобы потом сдавать их курортникам, рубль за сутки одна койка, и рестораны там, парки, кино, пляжи и все остальное — тоже для приезжих. Уедут курортники, и города эти закрываются, как театры после спектакля.

Но этот город, тоже южный — это настоящее. Здесь живут и работают во всякое время года. Вот уже двести с лишним лет эти люди обживают Дунай. Поколения и поколения прошли, отжили в одной заботе: сажать фрукты, виноград, кукурузу и ловить рыбу. Где-то вдали от этих мест пьют вино и едят рыбу и, может быть, вовсе не знают и не думают о каком-то Вилкове, но все равно двести лет выращивается виноград и ловится рыба именно здесь.

Прямо от порта идет улица, вымощенная брусчаткой. Вдали две церкви. Они покрашены алюминиевой краской и далеко сверкают. Чистые дома. Вокруг каждого дома посыпано толченой ракушкой. Есть и базар, но маленький. Наверное, потому, что некому продавать. Тут почти у каждого все свое.

Я не пошел ни в какую гостиницу: надоели они мне хуже горькой редьки своими графинами с кипяченой водой, казенными запахами, своими отметками, прописками и анкетами.

Я зашел в один дом, в другой, а в третьем и остановился. Хозяина, Арефия Гнеушева, не было дома: он рыбалил под

Измаилом. И вся родня его рыбалила. А родни у Арефия тут полно. Хозяйка рассказала мне про отца Арефия, сколько у него было детей. Три жены у него было, а детей — хозяйка все время сбивалась: не то двадцать один, не то двадцать три. И вот ее муж, этот самый Арефий, — один из них.

Сам Арефий приехал поздно в субботу. Хозяйки не было дома, и Арефий зашел ко мне. Загорелое, посеченное ветрами лицо было у него, очень доброе, открытое, и бирюзовые глаза. Совершенно бирюзовые при ярком свете, а если потемней, то просто серые. И сипловатый голос. Рыбак как рыбак — в сапогах, в брезентовой робе, весь пропахший рыбой. Привез он с собой собаку. Приблудная была собака и ходила за ним по пятам. Низкая, кургузая и умная, какой может быть только дворняга. Арефий глаз с нее не сводил и весь лучился добротой.

— Шарик! Шарик! — кликал он и трепал ее по загривку. — У!.. Псина!.. Пристал, а нам домой ехать, — объяснял он мне, вроде как бы смущаясь немного. — Как его бросить? Та! — думаю. И взял, пущай живет. У!.. Шарик!

Посидели, поговорили о погоде, о рыбе. Арефий все слушал, не стукнет ли калитка, не придет ли жена. Он явно томился.

— Выпить бы... — наконец не выдержал он.

— Все небось закрыто? — предположил я.

— Та!.. — радостно поднялся Арефий. — Та зачем вам тыи ларьки! Я, конешно, рыбалка простой, у нас тут все просто... Если хочете по-нашему, пойдемте до соседней хаты.

И мы пошли. И настроение у нас сразу поднялось. То слева, то справа от нас все ерики, а мы топаем по мосточкам, по двум проложенным доскам. Иногда мы переходим эти ерики. Тогда эти доски уже служат мостиком, и перильца есть.

— А ведь если крепко выпить, тут и не пройдешь, — говорю я, еле поспевая за Арефием. (Удивительно проворен русский человек, когда захочет выпить!)

— А мы привыкли, — смеется Арефий. — Та и мелко в ериках, не утопнешь.

Заходили в какую-то хату — вернее, во двор, мощенный кирпичом.

— Хозяйка! — кричит Арефий. — Вино е?

— Немае, — растягивает в ответ хозяйка. — Неделю только стоит.

— А ну, давай послухаем, — сомневается Арефий.

Хозяйка ведет нас куда-то в пристройку, к большой бочке. Арефий снимает шапку и приникает ухом к бочке.

— Гуляет, — спустя минуту разочарованно говорит он и надевает шапку.

Слушаю и я. И слышу в бочке отдаленный шум, как морской прибой, как симфонический оркестр, радостная далекая солнечная музыка бродящего вина.

Я потом пробовал такое вино. Оно розовое, пенистое, слегка мутновато, очень сладко и почти не пьянит.

Выходим и почти бежим уже до другой хаты. Но нам не везет и в другой и в третий раз: у всех вино еще «гуляет». Наконец, забравшись что-то уж очень далеко, находим настоящее, созревшее, темно-рубиновое вино.

Во дворе темно, тепло, крупные звезды наверху. Нам зажигают свет в беседке, приносят кувшин вина, черного винограда и белого хлеба. Мы садимся, стаскиваем шапки. Арефию охота говорить, но говорить не так просто. А слегка выпивши, когда слова сами выговариваются, он торопится скорей привести все в соответствие. Выпивает стакан, два, заедает виноградом, закуривает. И пошел, и пошел разговор, слегка бессвязный, с пятого на десятое... О детях, например. Или о жизни при румынах, когда во всей Румынии было одно только русское село — вот это самое Вилково, и что за двадцать с лишним лет не были потеряны ни самостоятельность, ни обычаи, ни вера, ни образ жизни. Или о том, что в этом году на юге дождей совсем не было. Или как он раз бедовал в шторм. Или про отца своего, про мать, про дядьев — какие они были прекрасные, смелые, умные люди. И ему нравится о них говорить.

Сипловатый голос у этого Арефия, как я уже сказал, и скромность, приветливость, доброжелательство — все то, что делает человека добрым с виду. И вот я думаю: он ли один такой здесь простой рыбалка, бесхитростный и в то же время умный и справедливый, или все Вилково такое?

Я не видел, как Арефий работает, не знаю, что думает он, когда ловит рыбу, — думает ли о народе, об обществе, во имя которого работает, или ничего такого в его мыслях нет, а просто разные хозяйственные соображения. Но вот он варит дома уху — на мой взгляд, странная это уха: с зеленым перцем, с капустой, с помидорами, нечто вроде рыбного борща, — варит, но не ест один, а идет меня звать и еще извиняется, что он простой рыбалка и, может быть, ихняя пища мне не понравится. А казалось бы, что ему я? Снял на несколько дней комнату — ну и живи, не было бы только беспокойства от тебя.

В понедельник до свету он встанет. Зайдет к нему сын — женатый, живет отдельно, а работают вместе, — и поедут они опять под Измаил. И будут ехать на своей моторке часов восемь-девять. И будут потом неделю ловить рыбу и сдавать ее, только в субботу или в воскресенье приедут ненадолго домой, к семьям.

Все Вилково стоит на ериках — такие узкие канальчики с мутно-зеленоватой дунайской водой, по которым с трудом пропихиваются лодки. Места мало в городке, тесновато — дай бог, если возле дома будет соток пять земли. Много тут не насажаешь. Ну, и растут возле домов цветы, да виноград, да айва, но это так просто, чтобы что-нибудь росло. Хоть и польза, но больше для красоты.

Основная же колхозная земля на островах в дельте Дуная; там у всех большие участки, там уже настоящие сады и виноградники.

Первая половина октября — время сбора урожая. И вот когда я утром пришел к рыбозаводу, а рыбозавод, как и все здесь, стоит на берегу канала (только большого), и пахло на нем, как и на всех рыбозаводах, крепко рыбой, то по левую сторону моста мне открылось необыкновенное скопление лодок. А лодки все шли и шли, на моторах, на веслах, под парусами — разные, маленькие, побольше и совсем большие, фелюги, — и все с задранными носами и кормой, на всех сидели старики, старухи, женщины, ребята, все лодки чуть не до бортов погружены были в воду под тяжестью плоских круглых корзин с айвой и яблоками. И штабеля точно таких же корзин заваливали весь берег за мостом, и коренной запах Вилкова, запах рыбы, перебивал теперь сладкий дух айвы и яблок.

И вообще весь Вилково в эти дни был переполнен айвой. Айва была всюду, ее возили на теплоходах в Одессу, в Килию, в Измаил. Горы корзин заваливали дебаркадер, и площадь в порту, и дворы, и берега канала. И машины не управлялись вывозить это добро.

Я пришел на рыбозавод, потому что хотел добраться поближе к рыбакам, туда, где они ловят. Я посидел, подождал на пристани, пока на маленький буксирный катерок «Сардель» грузили хлеб и всякие припасы для рыбаков. Потом мы поехали.

Странно ехать по Дунаю! Потому что едешь по ничейной воде. На левом берегу через равные промежутки видны столбы государственной границы СССР. На правом — такие же столбы Румынии. А ты не там и не здесь. Направо Добруджа. Там, как и у нас, такие же хаты из камыша и ила, такие же заросли тростника, такие же люди суетятся на своих пристанях, в своих садах. И можно даже покричать им. Мне говорили, что раз в неделю обе границы открыты, и люди, имеющие родственников на той или другой стороне, свободно ездят друг к другу в гости.

Рыбачий стан на острове Большом — это своего рода маленькая деревня, опять-таки на берегу протоки, в тростнике. И доски на берегу проложены, как в Вилкове. Только здесь еще

лучше, потому что тише, и работа и люди на виду. Возле хат горят костры, над кострами — котлы с варом. Рыбаки смолят снасти на белугу и осетра. Снасти состоят из капронового поводка, примерно в полметра, и большого стального крюка, острого, как жало. Этих крюков на поводках тысячи, и вот, прежде чем расставить их на поплавках под водой, их надо все просмолить и наточить — очень кропотливая работа.

Но сначала я должен в двух словах рассказать о рыбацком годе, о круге работ на Дунае.

С марта по май — три месяца — из Черного моря в Дунай идет дунайская сельдь. Три месяца сельдь владеет умами людей. Сюда, в устье Дуная, съезжаются десятки сейнеров из Килии, из Речи и Измаила, приходят сотни лодок, тысячи людей живут здесь гигантским табором, работают днем и ночью, чтобы поспеть, не прозевать, не пропустить такую редкую, дорогую рыбу.

В сущности, дунайская сельдь — это и есть основа основ дунайского рыболовства. Задолго до ее прихода все уже живут ею, готовятся к ней, как армия к великой битве. Потом три месяца сумасшедшей работы, когда день год кормит, а потом, уже много спустя, все равно вспоминают об этих весенних месяцах. И когда бы вы ни приехали сюда, вам скажут: «Ну что это! Вот вы приезжайте весной, когда сельдь идет!»

В остальное время года работа идет разбросаннее, спокойнее. Тут надо и о винограде думать, и о кукурузе, и об айве. Многие рыбаки вообще уезжают с Дуная: едут ловить скумбрию, кефаль, ставриду на Черное море, к берегам Кавказа; другие подаются на Азовское море; третьи остаются здесь и уже без азарта, но основательно промышляют осетра, севрюгу, белугу. Кроме того, ставят еще вентеря на всякую рыбу. В вентеря попадает щука, сазан, лещ, карась, сом, тарань — словом, всякая пресноводная рыба.

Рыбы этой порядочно, но платят за нее рыбакам мало, поэтому на нее смотрят просто как на какой-то приработок. Везде, по всем кутам день и ночь стоят эти вентеря и стерегут рыбу. Раз я поехал на лодке под вечер, заехал в кут, потом вылез на песчаной отмели, пошел к морю и долго сидел там. А когда опомнился, ночь уже сошла на землю, ярко светила луна, а мне надо было переплыть кут и попасть в узкий проход в тростнике. Там была поставлена вешка с пучком на верхушке, чтобы легче было ориентироваться. Но в темноте ее не стало видно. Я сбился, заплыл совсем в другую сторону и вдруг увидал, что мне с непривычки совсем невозможно никуда плыть, весла цеплялись за колья вентерей, а кольев везде было великое множество, и где-то

подо мной уже стояла в вентерях всякая рыба.

Остров Большой плосок, порос тростником. На берегу протоки стоит холодильник, который здесь называют лабазом. Рядом дом, в котором живут приемщик и засольщик, в котором есть еще койки для приезжающих. По другую сторону лабаза, ближе к Дунаю, — небольшой магазин. Потом еще по берегу, по обе стороны протоки, под ивами, разбросаны глинобитные побеленные хаты. Вот и все. Дальше, куда хватает глаз, все тростник, тростник... На протоке, как и в Вилкове, полно красивых длинных лодок, каждая из которых стоит как бы в маленькой бухте. На берегах развешаны и разложены всевозможные рыбацкие снасти — сети, вентеря, сотнями висят крюки на белугу, лежат весла, багры, под ноги попадают квадратные поплавки из пенопласта.

Днем тихо на рыбацком стане: почти все на работе. Все залито ярким солнцем. Тростник еле колеблется. Середина октября, но тепло, как у нас в августе. Раз в день зайдет на остров рыбозаводский катер, привезет продуктов, хлеба в магазин и заберет рыбу. Иногда покажется лодка, послышатся голоса, рыбаки сдадут рыбу на холодильник — и опять тихо.

Первый раз пробыл я здесь полдня только, потом поехал с начальством смотреть подсобное хозяйство, ходил между бесконечных рядов яблонь, груш, айвы, винограда. Потом немного пожил в Вилкове, познакомился, поговорил с Арефием. Но этот стан на острове Большом как-то все манил меня, и я решил еще раз съездить туда.

Ехал второй раз я опять на «Сардели», но ночью «Сардель» везла на лабаз лед. При входе в протоку два раза садились мы на мель, но кое-как проползли все-таки устье, вошли и через пять минут пришвартовались. Часа два потом выгружали мы лед, загружали его в дробилку и забивали ледяной крошкой большие чаны.

Тут же на старом льду лежало, белело и желтело в неярком свете электролампы несколько белуг и осетров. Мне показались они огромными, но рыбаки только улыбались. Говорят, попадают здесь белуги по полтораста килограммов, и одной черной икры в такой громадине — килограммов двадцать пять. Еще там на льду лежали дикие гуси, убитые, как мне сказали, прошлой ночью. И я вдруг почувствовал, что заехал куда-то очень далеко, на край земли, к людям, которые ловят таких громадных дорогих рыб и бьют по ночам гусей...

Тени наши мелькали по стенам, жужжала и хрустела дробилка, лед искрился под лампами, а мы подцепляли крюками и волочили в лабаз с пристани по мокрым доскам все новые и

новые корзины...

Много раз я бывал на Севере, ловил там семгу и писал потом о тамошних рыбаках. И здесь меня окружали рыбаки. Но здесь было все другое: иначе назывались ветры, иначе ловили, другие были лодки и говор другой. И ночь, когда мы, покончив со льдом, вышли на пристань, ночь была другая — южная, слабо шуршал тростник, и Большая Медведица стояла низко, почти касаясь горизонта, тогда как на Севере она чуть не над головой. Только люди были здесь такие же, как и там, так же пахли рыбой, такие же грубые, темные руки у них были и обветренные лица и такие же мысли о рыбе и о жизни на земле.

— Хотите гусей пострелять? — спросил у меня как-то молодой рыбак Миша. — Ну, так я вас разбужу часов в пять. Встанете?

Ночь была, когда в окно тихо пробарабанили. Я оделся, взял ружье и вышел. Было холодно, росисто, звезды блестели как начищенные. Медведица задрала свой ковш, стояла вертикально, опираясь ручкой о горизонт.

Мы сели в лодку, осторожно уложили ружья и патронташи, отпихнулись от пристани.

— На взморье поедем, — тихо сказал Миша. — Я там в море сети посмотрю, а вас высажу, покажу, где стоять. С рыбой справлюсь и сам к вам подъеду.

Минут через пять вышли мы в Дунай и повернули налево, в сторону моря. Помаргивали редкие бакены, ветер дул с моря. Парус нельзя было поднять. Я сидел на корме, огребался кормовым веслом. Миша закурил, стал попыхивать красным огоньком. Мерно, привычно гребя, сгибаясь и разгибаясь, он и разговаривать успевал, и говорил как-то особенно уютно, тихо. И я еще вчера не знал его совсем, а теперь во тьме мне казалось, как это иногда бывает на рассвете, что мы уже сто лет жили рядом, выходили в море, осматривали сети, а потом вместе стояли на гусей.

Миша рассказывал, как его молодым парнем призвали в румынскую армию, как он не хотел воевать, какой грубый, жестокий капрал был у них во взводе, как он мучил и бил новобранцев и как Миша, доведенный до слепого бешенства, однажды чуть не убил этого капрала саперной лопаткой. Говорил он хорошо. И когда по ходу рассказа появлялись у него румыны, он тотчас передавал их речь по-румынски и сам же переводил.

Потом он стал звать меня в Вилково весной, в апреле, когда идет дунайская сельдь.

— Тут у нас знаете сколько народу околачивается! — оживленно, вспоминая весну, говорит он. — Вот сейчас никто не

ездит, нету никого. А как селедка пойдет, так и не знаешь, кого больше — рыбаков или начальства всякого. Все понаедут, будто проследить, наладить там или еще чего, а у самих одна мысля: селедки побольше потрескать да с собой увезти.

— Ну вот, — сказал я. — Приглашаешь, а как приеду, так небось и скажешь потом: «И этот прикатил на селедку!»

— Та нет же! — живо возразил Миша. — Мы же понимаем: вы не начальство! У вас работа такая: вы приедете, напишете за Дунай — и нам приятно, и другие про нас узнают. Это у нас начальства много, а корреспондентов, тех почти и немае. А ели когда нашу селедку?

— Нет, никогда не приходилось.

— Скажи!.. — удивляется Миша. — Куда же ее девают? А ведь мы много ловим.

— Зато осетрина по городам есть, — говорю я. — Наверно, и та самая, какую вы здесь ловите.

— Ну, осетрина! Осетрина, она и на Дону есть, и в Амуре, и на Волге. А вот дунайская селедка...

Так за разговором выходим мы в море. Поворачиваем направо, в сторону Румынии. И тут я замечаю в полной тьме над самой водой светящееся пятно и долго не могу понять, что это такое, пока вдруг пятно это не открылось. В темноте навстречу нам под парусами двигались две лодки рядом, в одной горел фонарь «летучая мышь», освещал паруса. Человеческие согнутые тени что-то делали за бортом. Иногда в руках то одного, то другого на секунду мелькал живой серебристый блеск, и тут же слышался влажный шлепок о дно лодки.

— Здоров! — негромко, как бы про себя, сказал Миша.

Но там услыхали и отозвались.

— Сети смотрят, — сказал Миша и опять налег на весла.

Высадил он меня на каком-то мыске и показал, куда идти.

— Как до камыша дойдете, так и становитесь. Утка валом через вас пойдет, с берега будет на море лететь, а то и гуси налетят.

Миша толкнул свою лодку в море, вскочил в нее и тут же пропал в темноте, только поскрипывание весел было еще долго слышно.

Я пошел на запад во тьму. Была по-прежнему ночь, но рассвет, если обернуться назад, уже начался. От того места, где должно было над морем подняться солнце, протянулся к зениту едва заметный световой столб. И звезды еще блестели, но там, где обозначался световой столб, звезд уже не было.

Я шел и оглядывался, шел и оглядывался. Становилось все светлее, уже можно было различить темные листы и камышинки

на воде кута. И мне хотелось идти назад, к свету, и мне трудно было держать направление во тьму, потому что там, куда я шел, была еще тьма. Теперь я шел уже по воде, ноги вязли. И как я ни старался, все равно сапоги чавкали. Впереди начали взлетать утки, спавшие на куту, резко, пронзительно засвистели срывающиеся бекасы, то и дело слышалось: «чш-чш-чш-чш» — поднималась одна утка, «чш-чш-чш-чш-чш» — другая.

Ничего не было видно, только слышно, и стрелять было нельзя. А уток все прибавлялось, и теперь все передо мной было заполнено плеском взлетающей дичи и неровным лопотом крыльев.

Совсем рассвело, когда я добрался до камышиного острова, подмял несколько корней, утоптался, попробовал повернуться туда и сюда, вскинул несколько раз ружье, осадил назад пальто, чтобы не связывало рук. По светлеющему небу везде уже летели к морю утки. Сильно пахло камышом, пресной водой и илом, а с моря доносился сладковатый запах водорослей. Там, вдали, все стало сиреневым, вода и песчаные отмели, а между отмелей двигался, стоя в своей лодке, Миша, и в миражах вдруг отрывался от воды, поднимался и плыл по воздуху. Ясно была видна воздушная прослойка между лодкой и горизонтом. Утки и гуси, черными плотными массами сидящие на отмелях, при его приближении поднимались и темными кисеями перетягивались на другие отмели. А близко от меня стояли и ходили, и били своими длинными шеями направо и налево цапли — серые и белые.

Никогда я не видел столько птицы зараз. Осень тут была мягкая, теплая, через море лететь никто не хотел, а с севера все подваливала и подваливала новая птица. И с каждым днем все больше перелетало ее над камышами, над морем, над плавнями, надо всеми протоками дельты Дуная.

Стоя возле камышей по колено в плоской воде, поглядывая иногда на море, которое так бугрилось в миражах, что странно было, почему же оно не заливает эту плоскую огромную низину, я на время позабыл обо всем, только пробовал патроны в патронташе, чтобы легче было вытаскивать, и все вертел головой.

Сначала прошли стороной очень быстро две кряковые. Мгновенный холод вступил мне в сердце, я вскинул ружье, повел, ударил раз и второй. И в момент выстрелов уже понял, что мимо, а по тому, как фиолетово и длинно блеснуло пламя из стволов, тотчас догадался, что еще темно, света настоящего нет, что еще утренние сумерки с малиновой полоской на том месте, где должно было встать солнце.

Тотчас очень низко и близко, над самыми камышами,

пронеслись три чирка. Они летели так быстро, что отчетливо был слышен свист, а в глазах от их полета оставался какой-то сплошной темный след, как от трассирующих пуль. Я снова выстрелил дуплетом, даже не в чирков, а куда-то далеко вперед, в пустоту. И сейчас же один из них, не снижая скорости, на распущенных крыльях резко пошел книзу, ударился о воду и не шевельнулся больше, будто и не мчался только что с огромной скоростью.

Медленные круги пошли от него, и отражения камышей стали волнообразно изгибаться, изламываться.

Странное чувство овладевает тобой, когда, стреляя влет, бьешь куда-то в пустое сиреневое небо, предчувствуя только, что свистящая трасса чирков через секунду должна пройти именно по тому месту, куда ты бьешь. И потом уже, когда мелькнул огонь и дробь с визгом ушла вдаль, ты видишь чирка, который будто специально в этот момент подоспел и, мелькнув темной тенью, ударился о зеркало воды, а остальные, ни на мгновенье не замешкавшись, будто даже не слыхав выстрела, не заметив исчезновения одного из них, все так же стремительно и низко летят в море и через секунду пропадают из глаз.

Невдалеке где-то тоже стреляют, и своего выстрела в горячке как-то не слушаешь, зато завистливо вздрагиваешь, когда долго, с потягами, со звоном раскатываются над морем выстрелы соседей.

Так я стрелял, пока совсем не рассвело и не встало солнце. На мелкой воде в камышах объявился вдруг Миша. Но перелет как отрезало, никто уже нигде не стрелял. И мы, подождавши немного еще, стали сходиться. Я брел, стараясь не набрать в сапоги воды и чувствуя теплую тяжесть убитых уток в руке. Миша толкался мне навстречу.

Мы сошлись. Я забрался в лодку. Вместе мы вытолкались из кута, попали в протоку, Миша поднял парус, расселся на корме, закурил, окунул в воду кормовое весло, обмотал вокруг сапога шкот, и мы беззвучно двинулись между стенами тростника.

На дне лодки шевелилась еще рыба. Тут была тарань, лука, несколько кефалей, один белужонок, еще что-то... Возбужденно, но тихо почему-то мы стали говорить и курить. И опять говорили об охоте, о гусях, как их стреляют ночью в серебряном свете луны, о рыбе, как ее ловят и как потом солят, вялят или коптя г. Ветерок гнал нас и гнал домой. Скоро мы вышли на зеленоватый простор Дуная и стали наискось пересекать его, чтобы попасть в протоку острова Большого.

Два месяца прошло с тех пор, как я там был, а мне все помнится солнечный теплый октябрь, мутно-зеленый Дунай, румынская загадочная Добруджа, белый городок Вилково, белые

чистые дома, брусчатка на улицах, темно-багровое вино, виноград будто в серебряном пуху, огромные рыбы в ледяном лабазе, и смуглые рыбаки, и солнце, и метелки тростника высоко над головой, и неисчислимые стаи всякой птицы, розовые и белые цапли и вертикально стоящая Большая Медведица.

Декабрь 1962

В первый раз попал я в Печоры… [12]

В первый раз попал я в Печоры с приятелем. Взяли такси из Пскова и покатили. И как-то я мало помню из тех двух дней, которые тогда там прожил. Помню только — заехали мы на маленькую улочку возле монастыря, там остановились его знакомые, вылезли, поразмялись… Я оглянулся — деревня и деревня, домишки, заборы, яблони из-за заборов, и когда еще въезжали в город, сразу как-то показалось в нем чисто, тихо, уютно, и сразу он как-то лег мне на сердце.

«Ладно! — подумал я. — Тихо, тихо! Я тут как-нибудь поживу. Один. Очень даже поживу, какой городишко!»

Знакомые моего приятеля богомольничали в этих самых Печорах. Остановились возле монастыря у старухи — у нее всегда странники останавливаются. И когда мы вошли, крепко мне запахло свечным воском, лампадой, старушечьими юбками.

— Не грязно вам тут покажется? — несколько иронически спросил меня знакомый моего приятеля. А был он старик старомосковский и говорил, как у нас теперь и не говорят, и в бога верил открыто и даже несколько надменно по отношению к нам, как-то гордо и подчеркнуто, но был мил, по-качаловски обаятелен, и тоже в пенсне, бритый был и чистый, в светлом старомодном картузе ходил и разговаривал так громко, так отчетливо, звучно и вкусно, что многие оглядывались.

— Может, хотите в Доме приезжих остановиться? — спросил он опять. — Или в монастырской гостинице?

«Ай-яй-яй! — снова подумал я. — И гостиница монастырская есть! Ай да город, ай да и забрались мы!»

А час спустя, попив чаю, пошли мы в монастырь. Был он тут же рядом, сперва церковь на зеленой лужайке, обнесенной низкой каменной стенкой, вся в деревьях, белая, с голубым шпилем, как на ленинградских церквах, а чуть подальше и монастырская стена с башенками, с низкими воротами, с иконой над воротами, с нищими, какими-то калеками, убогими.

И надо видеть, с каким достоинством и вкусом отмахнул наш старик свой старомодный картуз, как склонил твердый свой, большой, чисто выбритый подбородок на грудь, как перекрестился — медленно и важно, и прошел в темноту подворотни мимо привратника, мимо всех калек и нищих.

Этот монастырь в Печорах — странный какой-то монастырь. Все надо идти вниз и вниз, в овраг, и там внизу — древность, чистота, обилие цветов, там перемешана архитектура новгородская, псковская и киевская, там много церковок и

церквей и одна из них в пещерах — выведена только передняя стена и купола наверху, внутренность церкви в пещере — темнота была, хотя и стоял день, только рубиново и зелено мерцали лампады, только жарко и желто горели нестройные ряды и пучки свеч.

И как-то сразу серьезно настроившись, полезли мы за нашим стариком, в глубину, туда, где слышалось прекрасное старческое пение, куда-то под своды, мимо теснящихся старух, женщин в черном, бледных стариков, мимо комков, приникших к полу, и эти комки были людьми, — а там в глубине, в сводчатом проходе, перед ракой святого Корнилия, покоящейся в глубине, стояли по обе стороны человек двенадцать древнейших монахов в клобуках и ризах, во главе их стоял и читал какую-то толстую книгу еще один монах, но самый важный, в митре, а кругом — впереди и сзади нас — теснились молящиеся с мокрыми от слез глазами и все разом, когда надо, дружно возглашали: «Радуйся, Корнилие, радуйся!» — служили акафист Корнилию.

А больше как-то ничего у меня не осталось от Печор, но осталось ощущение покоя, чистоты и музыкальности, потому что по утрам, и днем, и на закате звонили монастырские колокола, и куда бы ни уйти из города, хоть за десять километров в поля или в лес, звон этот был явственно слышен.

И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо всем, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. Год прошел, и я забыл почти все, но тишина и чистота остались, и у меня даже сердце замерло, когда я подумал, как я там буду сидеть и вспоминать своих рыбаков и стараться получше их описать.

И вот дня через три я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только рассмеркаться, я приехал в Псков, тут же нашел машину и поехал в Печоры. Я приехал туда, уже солнце поднялось, мост через Пачковку ремонтировали, мы поехали в объезд, к станции, Печоры поворачивались ко мне своими разными сторонами, и с какой стороны я ни смотрел на них, все было прекрасно, и я приехал на ту же улицу, где жил прошлый год.

А до этого меня захватило вдруг необычайно сильное ощущение русского, а это не везде случается, но тут эта моя сыновность вдруг объявилась, еще когда мы ехали мимо Изборска с его крепостью в развалинах, с круглыми башнями из сероватого камня, а потом пошли поля, поля с бабками сжатого хлеба, с желтой стерней, с хуторами, там и сям разбросанными в островках берез и осин, — и такая древность была в этой псковской земле, что я только вздыхал.

Я вылез из машины, оглянулся: все то же, и то же время года, и улица, и заборы, и яблони... а травка гусиная между булыжника выпирала, и тротуары были кирпичные, отшлифованные, стертые, и чистота была моя и воздух, и монастырь был тут, хотя для меня монастырь этот был нужен, как музыка, своим колокольным звоном, и я уж разглядел за зеленью его башенки по стенам.

Зашел я в один двор, мест не было, зашел в другой — тоже, скоро должен был праздник наступить успенье божьей матери, много богомольцев везде стояло, и вот в одном доме простоволосая старуха сказала:

— А у Белянина Михал Михалыча вы не были? Так я вас сведу.

Накинула платок и подхватилась в конец улицы, к угловому дому, ближе к монастырю. Вошли в узенький дворик, и только вошли — навстречу нам сам хозяин, сам Михаил Михайлович, пожилой такой, небольшого росточку, со склеротическим румянцем на скулах, в старой кепке с большим козырьком, в сером плаще, собрался куда-то.

— Михалыч! — сказала моя баба. — У тебя комната-то свободна ли, вот человек из Москвы, пустишь?

— Комната? — Михаил Михайлович как-то растерялся, смутился, засуетился. — Что ж, пожалуйте...

И тут же повернулся назад, а баба ушла. Вошел я в комнату — дом старый, но окна большие, и комната большая, угловая, и окна на обе стороны — одно на улицу, два на монастырь. И диван был. И стол, и кровать хорошая, и даже приемник, и этажерка, а там книги какие-то зачитанные, толстые.

— Сколько же вы просите? — спросил я.

— А вы надолго приехали?

— Не знаю, недели на две, на три.

— Сто рублей не дорого? — сказал и сам покраснел до испарины, и тут же кепку сдернул, оказался совсем лысый, до затылка, и лысина покраснела у него от такого разговора. Голова у него была, как говорят, толкачом, или яйцом, нос остренький, брови рыжеватые, козырьками, глаза маленькие, серые, голос тихий, чуть сиповатый — и как-то он прелестен был, весь светился чистотой и тихостью, и так смущался, будто не я, а он пришел проситься пожить.

— Мои на юг уехали, в Крым, — поспешил он сказать. — Вот комната. Да, комната свободна... пожалуйста... Только удобно ли вам будет, двери ведь нет в мою комнату, видите, занавеска висит.

Я тут же начал чемодан распаковывать. <...>

— Магазин у вас далеко? — спросил я.

— Близко, на площади.

— И открыт?

— Сейчас восемь часов.

И тут же сказал доверчиво:

— Вот вам ключ, я в школе работаю, во вторую смену. А ключ я вам покажу, где мы кладем. А сейчас, извините, пожалуйста, я на рынок пойду. Грибы у меня, грибки вот...

Мы вышли в сени, и в углу увидал я целый короб грибов-лисичек. Так мы и пошли вместе — я в магазин, М. М. с лисичками на базар. Я его потом видел, <...> стоял он в ряду, где ягодами да грибами торговали, в своей кепке, кротко поглядывал из-под бровей, а перед ним грибы эти, лисички, и тут я увидел, что лисички-то староватые, уж кое-где и побитые, потемнелые, и какой-то очень уж незаметный был этот М. М. в своем плащике, и никто не хотел у него грибы брать, зря-то он старался, в лес ходил, ноги свои старые бил.

Пришел я домой, <...> окно раскрыл в сторону монастыря. И еще высунулся, посмотрел туда-сюда и вдруг уловил запах, которым, как я уже потом понял, пахнут все западные города, в которых мне потом пришлось побывать, — запах каменной пыли. Не обыкновенной пыли, а именно каменной, когда люди идут и идут годы и годы все по одним и тем же каменным плитам и стирают их своими подошвами, и в воздухе стоит тогда такой едва уловимый острый каменный запах, похожий отдаленно на то, как пахнет, когда бьешь кремень о кремень, высекая искры. <...>

В каком году это было? Да в 1960-м — во второй половине августа, значит, уж два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого М. М. <...>

1963

Закарпатская проблема [13]

Сначала я хотел написать только о деле, только о проблеме, с которой сталкивается турист в Закарпатье. Как говорится, без всякой лирики. Но потом я подумал: дела людские делами, а природа в Закарпатье прекрасна и народ тоже, и секретарь Раховского райкома В. В. Орос при встрече попросил хоть немного написать о красоте края. Так что чистосердечно говорю друзьям туристам: приезжайте в Закарпатье в любое время года, поживите там хоть немного, побродите по горам и долинам, и вы уедете очарованными, и Карпаты останутся с вами навсегда!

Я был в Карпатах в марте. А март — плохой месяц, осенний какой-то, беззащитный. Деревья голые, на ветках висят крупные светлые капли, под ногами — красные сырые листья. Грязные колеи на горных дорогах, серое низкое небо, порывами задувает холодный ветер сверху. По горам ползают облака, заваливаются в ущелья, переполняют их и выпирают потом вверх, как пенные шапки.

Если непогодится, то март в Карпатах — как ноябрь. Идет, идет мокрый снег, утром выйдешь — сырая зима, крыши белые, и белые горы уходят вверх, в туман, а вершин не видно. Асфальт черен и мокр, и велосипедисты едут с поднятыми, надвинутыми на голову капюшонами плащей, и на лошадях курчавится шерсть.

Но все равно — хорошо, потянет вдруг к теплу, зайдешь в кафе, а там пусто, тихо — не сезон, но горяча кафельная печь и горячо вино с лимоном и корицей, да, подумаешь: я же в Карпатах! Сядешь с горячим стаканом к окну, грустно и покойно глядишь, как быстро валится, камнем падает с темного неба темный снег и тут же тает на асфальте. Хорошо посидеть одному, сказать что-нибудь буфетчику про погоду, и он, томимый одиночеством, тут же радостно согласится: да, да, худая погода, — а потом вдруг нанижет на кочережку ломтики сала, сунет в печку и начнет там вертеть и заглядывать туда. Хорошо подумать в такую минуту, как войдут в твою жизнь эти горы и люди, которых ты встречаешь, и этот март в снегах, и туманах, и в дожде с прозрачными каплями на голых деревьях. Хорошо еще потому, что все-таки весна и что непременно проглянет солнце.

А когда наконец покажется солнце, тогда не усидеть на месте. И увидишь тогда, как паром сходит снег с нижних склонов и из-под снега сразу объявляется зеленая травка. Увидишь, что почки давно набухли, вот-вот лопнут, и сережки тяжело повисли на ольхе. Скворцы прилетели и радостно волнуются, грачи орут, и неистовыми голосами, похожими на индюшачьи, воркуют дикие

голуби.

Шумит, ворочается на камнях Черная Тисса, которая вовсе не черная, а зеленоватая. Вдоль дорог везде деревни, дома с черепичными, тесовыми, плиточными крышами. Обгонит тебя телега — лошади в парке, с красными кистями на шеях, и у возницы на кнуте красная же кисточка. Или волы медленно бредут тебе навстречу. Велосипедисты катят туда и сюда, и почти каждый скажет тебе непременно: «День добрый!» Лесорубы идут кто с пилой, кто с топором на длинной ручке.

А то я поднялся раз в горы, брел потихоньку вверх, останавливался, поглядывал кругом — и вдруг увидел, как сверху, навстречу мне из-за оснеженных елок, оленьими какими-то прыжками, один за другим стали появляться эти самые лесорубы, и рядом с каждым стремительно неслось вниз огромное ошкуренное желтое бревно, с шипением скользило по снегу, и каждое было заарканено, в каждое был воткнут топор, с каждым бревном, сдерживая его на бегу, гигантскими скачками несся вниз лесоруб.

Идешь дорогой в весеннем мареве, видишь прекрасные деревянные церкви с грустными кладбищами — побольше и поменьше — почти в каждой деревне. Или вдруг заметишь, как хозяин что-то поправляет у себя во дворе, далеко от тебя, взмахнет топором, сверкнет лезвие, опустится, а через минуту услышишь: «Тук!»

А солнце все светит, и уже жарко, в одной шерстяной рубашке жарко, хочется совсем раздеться, да неловко, деревней идешь. И тут хорошо остановиться, присесть где-нибудь, покурить и оглядеться. Кругом складчатые отлоги выпуклых красивых гор, а где-то далеко впереди, над дорогой вдруг обрыв, скалы, ущелье сужается, река там кипит сильнее, дома лепятся к самой реке, потом все распахивается, и опять широкие долины и пологие горы кругом.

Хорошо глядеть, как весна берет свое в деревнях, как хозяева копаются во дворах, сгребают прошлогодние листья, всякие сучья, жгут костры, и дымком тянет чуть ли не от каждого хозяйства, и обнажается черная земля на усадьбах, готовая снова родить.

Или едешь по дороге из Рахова в Великий Бычков, дорога все время вдоль Тиссы, и так красиво, что чуть не каждую минуту думаешь: вот тут бы пожить, — а инструктор спрашивает: «Кто знает, где центр Европы?» Никто не знает. «Тогда стоп! Выходите, центр Европы — вот он!» Выходим. Возле дороги торчит маленький каменный столбик. Нижнюю его часть дорожники выкрасили в белое, как деревья красят. На столбике выбита латинская надпись: «Постоянное (точное) вечное место. Очень

точно, со специальным аппаратом, который изготовлен в Австрии и Венгрии, со шкалой меридианов и параллелей, установлен здесь центр Европы. 1887».

Вот, значит, оно что, вот ты и в центре Европы. Оглядываешься — кругом такие места, кругом такие милые горы, внизу река, по склонам леса, как запущенная щетина, в лесах, по черной земле белые запутанные бечевки горных речушек. А что вон там, в том ущелье?

А в ущелье на ручье стоит домик, повыше домика несколько бассейнов, в каждый бассейн по деревянному желобу течет вода. Возле домика на влажной весенней земле красная, только что забитая корова. Парок от нее поднимается. Себе на мясо забили? На мясо, на мясо, только не себе — рыбкам. Каким таким рыбкам? А форели, вон она у нас плавает, вон играет! И в этом ставке, в том тоже, вон, видите, вода прозрачная по желобам бежит, тут-то у нас и самая форель. Есть ручьевая, а есть и радужная. Радужная глубину любит, большую воду. А ручьевая — та вот прямо в ручейках и живет. Мы ее в ставках кормим, мясо ей варим, отруби, крапиву подмешиваем. И икру мы здесь получаем, тут у нас икра и выводится. Много ли? А тысяч по полтораста мальков. А как малек подрастет, пузырь у него втянется, так мы его и выпускаем.

Мы переходим от ставка к ставку, разглядываем такую потаенную на воле рыбу. Здесь она на виду, человека не боится, плавает как в аквариумах.

Ну, а там вон что? На тех вон сверкающих вершинах? А там леса, полонины, летние избушки пастухов на полонинах... Там — царство туристов зимой, обилие света, там — награда усталому путнику. Там можно раздеться и загорать днем, загородив глаза темными очками, спускаться на лыжах с пологих склонов и вновь подниматься. Кругом, насколько хватает глаз, как сахарные головы, близкие и далекие, сияют округлые горные вершины и глазурно блестят снежные поляны. По вечерам на необозримом темно-пепельном фоне гор, раскинувшихся под тобой, в провалах долин под высоким, резко отбитым небом дрожат красные звездочки — жгут костры. И кажется тогда почему-то, что и дымки видишь, как они ползут по складкам долин... И горько пожалеешь тогда, потужишь, что надо спускаться вниз, что нет в горах жилья, нет гостиницы, которая бы светилась во тьме окнами. Хоть бы одна! Нет, пусто и темно на десятки километров ночью в горах.

Давайте же поговорим теперь о закарпатской проблеме.

Карпаты — весьма удобные невысокие горы (порядка 2100 метров) с прекрасными спусками. Карпаты очень живописны. Они

находятся сравнительно близко от многих городов европейской части Советского Союза. Если исключить Кавказ, приспособленный благодаря своему рельефу больше для альпинистов, и Кольский полуостров, находящийся в довольно суровых климатических условиях, то Карпаты для нас остаются наиболее удобным географически местом горного туризма. Если же говорить об Украине, на территории которой находятся Карпаты, то в смысле туризма и отдыха Украина имеет два района, поставленных в исключительные природные условия: Карпаты и Крым.

Прежде чем говорить о туризме, необходимо решить для себя вопрос: что же такое вообще туризм? С. Щербаков из Ужгородского облсовета по туризму считает, что журнал «Турист» должен печатать побольше маршрутных карт и рассказывать о методике походов. Журнал «Турист», вероятно, так и будет делать. Но разве туризм — это обязательная утренняя побудка на турбазах, построение на линейке, распорядок дня с некоторым казарменным оттенком, рапорты дежурному инструктору и глуповатая, я бы сказал, игра в вопросы-ответы: «Настроение?» — «Бодрое!» — «Аппетит?» — «Волчий!» Что-то уж очень примитивно понимают у нас в некоторых областных советах смысл туризма.

Нет, турист — это не обязательно тот, кто взваливает на плечи рюкзак с консервами, надевает кеды и лезет в гору до изнеможения, а по вечерам поет песни под гитару у костра или накручивает «Спидолу». А разве не турист старый человек, решивший провести какое-то время в горах? Или мать с детишками? Или целая семья, приезжающая просто отдохнуть и подышать горным воздухом, — разве они не туристы? А любители старины, рыболовы, охотники, байдарочники, лыжники, наконец, люди, жаждущие тишины и покоя, — разве не туристы? Человек может поехать за тысячу километров, чтобы просто пожить в хорошей уютной гостинице. Я видел старых и молодых женщин в Чехословакии, в Высоких Татрах. Днем они гуляли по окрестностям, по вечерам сидели в огромном холле «Гранд-отеля», разговаривали. Все они приехали в горы из Праги и были туристками. Всякий человек, которого любознательность позвала в дорогу, уже турист.

На турбазе в Ясинях встретили нас негостеприимно. Фотокорреспондентам не было разрешено внести в номер (даже на время!) аппаратуру. Корреспонденты звонили директору базы т. Бутенко домой, прося об исключении. Бутенко ответствовал: «Никаких исключений!» И вот чтобы не ходить за каждым пустяком в камеру хранения, стали мы на ночь глядя ходить по

поселку и были в конце концов впущены на частную квартиру вместе с аппаратурой.

Меня тогда же, поздним вечером, в Ясинях стал занимать вопрос: почему Бутенко не обрадовал наш приезд? Ответ на этот вопрос я получил много дней спустя в Ужгороде от старшего инструктора облсовета по туризму С. Щербакова. Чуть ли не первыми его словами была фраза: «Нам рекламы не нужно!»

Вот, оказывается, в чем дело — не нужно рекламы. Не нужны корреспонденты. Без статей как-то спокойнее. Встретил туристов, устроил линейку, «физкультпривет!», и все в порядке.

Но не будем обижаться на закарпатских туристских деятелей. Им действительно реклама не нужна. Нечего им рекламировать.

В самой высокогорной, а следовательно, и самой интересной части Закарпатья — на Раховщине всего несколько турбаз. Две из них я видел — в Ясинях и в Рахове. Обе небольшие, удобств почти никаких нет. В них могут жить только так называемые плановые туристы. Неплановые, как правило, ютятся по частным квартирам. Цена за койку на квартирах, как в Сочи или в Ялте, рубль в день.

Турбазы в Ясинях и Рахове являются как бы перевалочными. Турист проводит в них только первые и последние дни. Все остальное время он в походе, в горах. Ночевать ему приходится в приютах. Что представляет собой приют? Это бревенчатый, холодный и грязный дом, после вьюг, частых зимой, полузасыпанный снегом. Внутри тоже все переметено снегом. Печь разломана, топят по-черному, а проще говоря, жгут костер прямо в доме. Спят на двухъярусных нарах не раздеваясь. О санитарных условиях говорить, конечно, не приходится.

Давайте представим себе, что нужно маленьким городкам в горах, таким, как Рахов или Ясиня, — что нужно таким городкам, чтобы стать своеобразным центром горного туризма в нашей стране. Нужны гостиницы, пусть небольшие, а средние и даже совсем маленькие гостиницы, но числом побольше.

Нужны рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые.

Нужны турбазы, хорошо, по-современному оборудованные, с достаточным количеством одноместных и двухместных комнат (сейчас поселиться на турбазе вдвоем с женой просто невозможно, вас разлучат на все время вашего отпуска).

Нужны подъемные канатные дороги, хотя бы на две-три вершины, расположенные вокруг города.

Нужны еще гостиницы и турбазы (и, конечно, рестораны и кафе) непосредственно в горах.

Нужны хорошие дороги к этим гостиницам и турбазам.

Нужны мотели, бензозаправочные колонки и ремонтные

мастерские для автотуристов.

И нужно, наконец, достаточное количество магазинов для продажи туристам всевозможного спортивного инвентаря, одежды, сувениров.

Ничего этого в Закарпатье нет. Мало того, не предполагается! Не верите? В статье заместителя председателя Закарпатского облсовета по туризму Ф. Тарахонича я прочел, что в ближайшие годы в Закарпатье будет построено 137 четырехместных туристских домиков. А уже сейчас в Закарпатье приезжает несколько сот тысяч человек ежегодно, и количество приезжающих, надо думать, будет неуклонно расти.

Но не много ли всего я перечислил — всяких там отелей, турбаз и прочего? Думается, что не много. Мне довелось побывать в Закопане, на польском горном курорте. Встретили нас там настоящие извозчики. Сновали и раскатывались на поворотах извозчичьи санки, фырчали на остановках автобусы, с сухим, звонким стуком засовывались вниз, в багажники, лыжи. Лыжники вскакивали внутрь, автобусы, поднимая снежную пыль, бежали вверх. Раскачиваясь, порявкивая, ходили по городу на задних лапах белые медведи, обнимали нас, человеческими голосами предлагали сфотографироваться. Мулы и ослики катали ребятишек на маленьких санках. На всех витринах были скрещены слаломные лыжи, нейлоновые куртки, оранжевые очки, тобоганы и коньки. Везде по склонам гор разбросаны были пансионаты, санатории, отели. Вовсю работали подвесная дорога и фуникулер. Маленькие ребятишки под руководством инструкторов довольно шустро съезжали с горок на лыжах. Всю ночь в барах и ресторанах не утихала музыка, всю ночь танцевали там туристы и пели лучшие эстрадные певцы Польши.

Нет, нет, я перечислил лишь самое необходимое для хорошего отдыха в Рахове или Ясинях.

Нас принимал первый секретарь Раховского райкома партии В. В. Орос. Вот краткая запись нашей с ним беседы.

— Рабочая сила? У нас ее больше чем достаточно. В районе у нас всего 1700 гектаров посевных площадей, тогда как на Украине у некоторых колхозов по 10 тысяч гектаров земли. Так что у нас наберется тысяч двадцать народа, не полностью занятого в сельском хозяйстве. Все эти люди рады будут получить работу на строительстве. Мы — за развитие у нас туризма. Чем больше будет турбаз, гостиниц, мастерских, дорог, тем лучше.

Кто должен строить дороги? Думаю, та организация, которая станет строить у нас турбазы и гостиницы. Это проблема, которую необходимо решить, иначе у нас ничего не выйдет. Центральный совет по туризму собирается строить турбазы, но строить дороги

к ним не хочет. А нашему району средств на строительство дорог в горах не отпускают. Мы вынуждены поэтому проектировать свои турбазы внизу, возле дороги, связывающей нас с Ужгородом. Кстати, у нас на очереди строительство большой турбазы и подъемника на гору Менчул. За полчаса можно будет птицей взлететь вверх, и все Карпаты будут как на ладони.

Вообще из-за отсутствия дорог мы вынуждены отказаться от прекраснейших мест в горах. У нас есть где построить все, что необходимо туристу. У нас прекрасная охота. Мы могли бы продавать лицензии на отстрел оленей и кабанов. По рекам полно форели. Много памятников старины. Прекрасные национальные традиции, музыка, песни. Карпаты могут очаровать людей самых различных склонностей и увлечений.

Экономические выгоды от туризма? Безусловные! Есть много стран, где доходы от туризма играют чуть ли не главную роль в государственном бюджете. Судите сами — строительство и эксплуатация зданий и подъемников, занятость населения, развитие торговли, развитие дорог, транспорта... Сразу и не перечислишь. А нам, между прочим, навязывают финские дома, тогда как у нас есть своя закарпатская архитектура, есть в изобилии лес и все что угодно для строительства. Лес нам доставляют из Архангельска. Ну, ничего, мы, наверное, скоро начнем свой лес возить в Архангельск, и будет все хорошо...

Так, невеселым смехом закончилась наша беседа. А на другой день мы попали на Раховскую картонную фабрику. Я не стану здесь описывать работу цехов фабрики, об этом следовало бы написать отдельно и весьма подробно, а знакомство наше с производством было слишком бегло. Но мне хочется сказать о любви и уважении к рабочему, так сказать, вне производства. Фабрика со своим поселком — это как бы маленький город в городе. Видели мы там и водолечебницу, и поликлинику со всевозможной терапией, и Дом культуры, и оранжерею, и многое другое. Все это построено добротно, везде много цветов и зелени.

В том же Рахове, кстати, наискосок от турбазы открыто в этом году прекрасное кафе «Эдельвейс». Такому кафе может позавидовать любой город. Значит, можно все-таки что-то делать и собственными силами. Понятно, большие работы должны производить мощные организации. Построить целый комплекс общественных зданий, сооружений и дорог не под силу и областному центру, не говоря уже о районном. Но хотя бы сохранить то, что уже было построено, содержать то, что есть, в образцовом порядке, в каком содержит, например, фабрика свой поселок — районные власти, безусловно, могли бы.

Давайте послушаем старшего инструктора Раховской турбазы

И. В. Петкова, большого знатока края и энтузиаста развития туризма.

— Кто виноват в создавшемся положении? Самое странное, что никто в отдельности, а скорее, все мы вместе. Тут было несколько десятков небольших гостиниц в горах, каждая в среднем человек на двадцать. Уютные теплые гостиницы, где можно было посидеть у камина, принять горячую ванну, поужинать, выпить кофе. Все они одна за другой пришли в полную негодность и теперь совершенно разрушены. Было у нас много асфальтовых дорог, чуть не на каждую вершину. За дорогами не следили, не ремонтировали, весенние воды их постепенно разрушали, и сейчас все они находятся в неисправности.

Были и постановления о строительстве новых турбаз, были и ассигнования. Но все это утоплено в бесконечных комиссиях, в выборе мест для турбаз, в невыносимо долгом составлении технической документации. Кажется, легче построить, чем составить документацию на строительство. Все сроки прошли, ничего не было сделано, и ассигнования нам закрыли.

Как обстоит дело со спортом? А никак. С 1965 года Украина устраивает в Закарпатье горнолыжные соревнования. Но соревнования эти у нас совсем не популярны. Ведь для того чтобы совершить спуск с горы, спортсмен должен на эту гору взобраться. Несколько часов уходит только на подъем, о каком спорте можно говорить?

У нас есть заброшенная еще с войны обсерватория на Черной горе (2026 метров). Черная гора делится пополам между Ужгородом и Ивано-Франковском. Пока решали, какая область должна превратить это брошенное добро в турбазу, — обсерваторию просто разломали и растащили. А там было несколько десятков прекрасных комнат, большой зал наверху, чуть не весь из стекла, дубовые панели внутри, дивное отопление. Все это разрушено. И асфальтовая дорога туда была, но она тоже разрушена и нуждается в ремонте. А между тем что может быть лучше турбазы или гостиницы прямо на вершине горы! Снегу там полно, для отдыхающих и туристов — раздолье... Я считаю, что и сейчас там можно построить турбазу, причем весьма дешево. Это будет, скорее, не строительство, а капитальный ремонт здания и приспособление его под отель или турбазу.

Мое отношение к канатным дорогам? Они нужны в горах как воздух. Любая, даже самая большая дорога оправдает затраты на строительство в первый же сезон. Дорога может функционировать и летом, а ведь, не забывайте, у нас гостит по нескольку сот тысяч туристов в год!

Итак, не только мне, но и всем, с кем я разговаривал, было совершенно ясно: в Закарпатье ничего почти не строится, а строить нужно много. Так почему же закарпатская проблема долгое время не привлекает внимания и не решается?

На меня в первый момент, признаться, напало уныние. В самом деле, чем может помочь Карпатам писатель? Но по дороге домой я представил себе одну яркую картину, и мне сразу полегчало. Я вообразил, что журнал с моей статьей попадет на глаза кому-нибудь из Совета Министров Украины. И что там за решением очередных государственных задач подумают и о Карпатах, вспомнят, что Карпаты — это жемчужина Украины. И будет послана в Закарпатье авторитетная и быстрая в решениях комиссия. И комиссия эта сделает свои выводы, которые доложит Совету Министров и Совету профсоюзов Украины. А эти уважаемые организации вынесут деловое решение, и закипит работа в Закарпатье!

Ведь пятилетка в действии, в действии Директивы XXIII съезда партии!

Мне хочется закончить свою небольшую статью тем, с чего я начал: приезжайте в Закарпатье, там бродит в горах ваше счастье, ловите же его, торопитесь — теперь лето в разгаре, скоро золотая осень, а там и зима...

Есть ли у вас хорошие лыжи?

«И все это два какие-то дни...» [14]

Вот уж и год прошел, ровно год, как был я в Праге, летал в Братиславу, мотался по дорогам Чехии, окунал ноги в ледяную воду Влтавы. И это время не придет больше — ни для меня, ни для тех, кто был тогда со мной в те душные майские дни. Мы были там все вместе, а теперь уж мы не те, и только память, но и память как-то уже смещает, все смешивает, объединяет, и только, может быть, камни Праги, ее дома, черепичные кровли, может быть, только они всё неизменные, всё те же...

А ехали мы плохо, потому что ехали по молодежным путевкам «Спутник», нас пересадили на границе в чешский поезд, со стеклянными дверями в купе, с диванчиками, и это было сначала так хорошо... Но тронулись мы от границы в четыре часа дня, тронулись и помчались с непривычной быстротой, так быстро, что поезд даже накренялся на поворотах, вагоны мотало. Наступал вечер, уже все попели, поговорили, пивка выпили, насмотрелись за окна, спать нам захотелось, а лечь было нельзя, и, изнывая уже, мы всё сидели. И ночь настала, мы сидели. Рассвет наступил, мы сидели — одуревшие, с припухшими глазами, а кто дремал сидя, бессильно отвалив голову или свесив на грудь.

Начался рассвет; превозмогая себя, я стал в вагонном проходе, загляделся в окно, потом открыл. Поезд остановился на какой-то станции: крытый перрон, каменные плитки, носильщики, незнакомые табло, киоски, запах железнодорожного пути, горячего металла от вагонных колес. Я перевел взгляд левее и за проволочной оградой вдруг увидел такое густое, тяжелое, росистое скопление сирени, что сонливость мою, отупелость будто рукой сняло, и я стал смотреть.

Поля проносились перед нами, и в полях прыгали кролики на резкой зелени озимых, деревни проплывали, так непохожие на наши деревни — каменные, пустынные, с мощеными улицами, и дома какие-то все розовато-серые, а там трубы, корпуса, опять поля, деревни, опять чистые небольшие городки — и так до самой Праги.

А в Прагу мы приехали часов в шесть утра, но не сразу приехали, а сперва остановились на мосту над какой-то улицей. Верхние этажи домов этой улицы были с нами вровень, и думалось, вот тут живут какие-то чехи, и никогда они не были у нас, где-нибудь на Оке, и никогда мне не суждено прийти к ним в гости, посидеть, поглядеть, какие у них комнаты и как они завтракают перед тем, как идти на работу. И еще внизу была по-

утреннему пустая улица, как и большинство улиц в Праге, брусчатая, а наш поезд как бы висел над ней, и было страшновато. Потом улица сдвинулась, пропала, еще пять минут прошло, и мы въехали на вокзал.

Что такое заграница для русского? Не знаю, как другие, но я как-то всегда довольно расплывчато воображаю ночные бары, хорошие отели, пойдешь туда, сюда, поплутаешь, выйдешь к фонтану какому-нибудь, к дворцу или к церкви, с детства знакомой тебе по открыткам, гомон, незнакомая речь, автомашины — бог знает что! Что-то такое отличное от нашей жизни, незнакомое, чужое, в чем тебе предстоит разобраться.

Но «Спутник» был верен себе — нас везли, везли, сперва мимо музея в конце (или в начале) Вацлавской площади, потом куда-то дальше по извилистым улицам, дома вокруг делались все скромнее, жизнь проступала в них, исчезало понятие «заграницы» — трамвайная линия, табачные киоски, пивнушки, магазинчики, громыхание трамвая, какие-то толстые тетки с сумками, пучки салата, редиски из этих сумок, рабочие в комбинезонах, с сумками, многие на велосипедах, старые, дымящие, с матерчатыми кузовами, с колесами со спицами трещащие автомашины, на остановках кондуктор выходит из трамвая, кричит что-то, поторапливает пассажиров, чмокает губами, улыбается при виде опоздавшей, бегущей девушки, потом громко свистит в металлическую дудку, трамвай громыхает, лязгает, дергается, кондуктор вскакивает на ходу...

А мы все едем, едем по бесконечной улице, и вот уже проплыл над нами железнодорожный мост, за заборами видны кучи угля, маневровый паровозик чухает и беспричинно гудит тонко, опять магазины, овощные лавки, газетные киоски, перекрестки, и машины разворачиваются и едут куда угодно, совсем не по-нашему...

1963

Начну с известной всем истины: люди не похожи друг на друга. У меня есть дядя, который терпеть не может путешествовать. Он вполне доволен тем, что его окружает. Что же касается меня, то я вполне доволен своим ремеслом. Но иногда я говорю себе, что родился слишком поздно и что, родись я столетием раньше, я бы непременно сделался путешественником.

Мне не присуще чувство предпочтения какой-то определенной страны или какого-то народа. На меня производят равное впечатление все страны, в которых я бывал и чье небо хотя бы на несколько дней оказывало мне гостеприимство.

Что могу я сказать о Румынии? Что могу сказать я, русский, румынскому читателю о его земле? Я могу лишь поблагодарить тех, кто дал мне возможность увидеть реки и озера Румынии, ее поля, ее города и деревни.

Чувство грусти не покидало меня все время, пока я находился в домике Крянгэ в Хумулешть. Грусти? Да, — потому что я испытывал неизъяснимое желание остаться там на несколько дней, в этом доме, который не был ни дворцом, ни поместьем, в простом дворе с плетеной изгородью, с сараем, колодцем, потому что в доме были книги и обитала такая богатая душа...

А Пьятра-Нямц — что за чудесный городок! Там я видел свадьбу, а на главной улице повстречал военный оркестр; день был жаркий и солнечный, музыканты, раздувая щеки, играли марш, и в его звуках, казалось, искрились солнечные лучи. Какое удивительное смешение прошлого и настоящего!

Потом я очутился в монастыре Воронец. Наружные его фрески были для меня настоящим откровением, никогда не забуду яркую синеву стен, неба — единого синего фона. Я взобрался на колокольню и, как в детстве, ударил в колокол. И стоял и слушал, как тает неуверенный звук... Все незабываемо: деревня, лежащая в долине медленной, с плавными изгибами реки, домики, похожие на наши, русские... Я попросился в дом к одному крестьянину: во дворе лаяла привязанная к сараю собака, пахло навозом, хозяин угощал кислым молоком — его вкус я ощущаю и теперь...

Что еще было во время этого путешествия? Мы подъехали к монастырю Агапия. Вечерело. В церкви шла служба, и, уж не знаю почему, служили пять священников. Стояли симметрично разделенные на две группы монахини, по очереди пели, тихо мерцали поставленные в кукурузную муку свечи...

Было уже совсем темно, когда я вышел из церкви... Откуда-то

сверху, со стены слышался стук, можно было подумать, что кто-то звонит в деревянный колокол (десять лет назад я слышал точно такой же стук у нас в России, ночью, в одном провинциальном городке — сторож стучал в колотушку). Мне сказали, что это «трака». Звуки шли откуда-то издалека, из давних времен, и я почувствовал, как на меня нахлынули сладостные воспоминания; однажды в мае, во время белых ночей, где-то под Архангельском, в редком ельнике на болотистом берегу я услышал глухариное токованье. Звуки, которые издавали эти древние птицы, в точности походили на «тоаку».

Кеиле Биказулуй... Скалы сходились, нависали над нашими головами, сердце у меня сжималось, единственным желанием было — скорее выбраться из этих «адских врат»... а внизу поток... Стикс... и лодочник — не кто иной, как Харон.

Красное озеро напоминает кладбище. Мертвые деревья! Это место наводит ужас: из воды торчат верхушки деревьев, будто кресты, стерегущие могилы, а на берегу неожиданное веселье — туристы, молодые девушки, транзисторы, все танцуют, поют, едят и пьют!

Я путешествовал не один. Со мною была — настоящая героиня! — моя беременная жена. В день нашего приезда в Бухарест Захария Станку и его жена пригласили нас на обед. И первый тост, который произнес Захария Станку, был за здоровье того, «кто незримо присутствует среди нас». Я не сразу понял, кого он имел в виду. И только потом оценил, какой это был чудесный тост — за здоровье еще не родившегося человека.

Не знаю почему, но мы с женой были уверены, что родится мальчик. И в то время как наша машина мчалась со скоростью 120 километров в час, пока мы скитались по городам и весям, пересекая горы и долины, мы мучительно подыскивали ему имя. Моей жене нравилось имя Иван, мне оно не нравилось, но ничего другого я не мог придумать. Через две недели после того как мы вернулись из Румынии, родился наш сын. И я, пользуясь правом отца, назвал его Алексеем, Алешей.

Двенадцать часов дня, я у себя на даче в Абрамцеве. Под окном моей комнаты цветет шиповник, чуть дальше красные маки, в лесу поет дрозд. А через девять часов с Киевского вокзала уходит поезд Москва — Бухарест. Этим поездом еду и я. Снова увижу Румынию и опять почувствую себя счастливым. А пока Алеша, которого привлекает стук и вид пишущей машинки, дергает меня за ногу — хочет тоже постучать на машинке. Алеша — прелестный мальчик, с волосами пшеничного цвета. Так говорят все, не только я, его отец.

Несколько дней назад я сказал своему отцу, что мне хотелось

бы, чтобы все вместе мы поехали на машине в Литву, чтобы он увидел, какой это прекрасный край. Он неожиданно вздохнул, поглядел в окно и сказал, что не хочет ехать в Литву. «Я знаю, что Литва — прекрасный край, как, впрочем, и другие замечательные места. Но после того как их увидишь, тяжелее будет умирать».

— Как так? — спросил я.

— Да так! Чем больше прекрасного в жизни увидишь, тем труднее будет с этим расстаться.

— Это верно! — сказал я.

Я задумался. Сначала я с ним согласился. Потом передумал. Я решил для себя, что умирать в любом случае — плохо, независимо от того, видел ты или нет в жизни прекрасное. Поэтому лучше, пока живешь, бродить по свету. Любить всех людей. Любить всю землю.

Четыре времени года (Ода Архангельску) [16]

В дорогу! В дорогу!
Я хочу говорить о дороге.

Среди всевозможных моих занятий, писаний, увлечений, волнений бывает минута, когда я как бы останавливаюсь вдруг с разбега. Это долетает до меня тихий зов Севера. Ослабленный расстоянием и временем, он все-таки глухо тревожит меня, и нет в ту минуту для меня сладчайшего занятия, чем достать «Путеводитель по Северу России», изданный еще в 1899 году, и приняться за чтение. Знакомо ли вам то грозовое ощущение, когда про себя уже звонко и твердо решил: «Поеду!» — но путешествие еще впереди, в каком-то счастливейшем будущем, а пока... Да вот посудите сами:

«От Онеги по западному берегу залива начинается Поморье — перл Архангельского края, колыбель исконно-русского торгового флота, сокровищница русской народности. Из Поморья крестьяне и судохозяева снаряжают «покруты» на Мурманские промыслы и ходят на своих судах в «Нордвегу» и на «Финмарку» для меновой торговли. Поморы живут светло и богато. Их дома, одежда и стоящие по поморским селам и деревням и посадам старинные, времен тишайшего царя Алексея Михайловича, деревянные церкви служат образчиками русского вкуса и русского зодчества, самобытно развивавшихся на нашем Севере».

Или:

«Кроме Малых Кармакул на Новой Земле, залив Моллера образует много бухт и становищ: к югу от М. Кармакул лежит губа Корельская, становища Таранцево и Гусиное; к северу Большие Кармакулы в Кармакульском проливе и залив Пуховой.

В становище М. Кармакулы в 1877 г. основано постоянное поселение самоедов, которых в настоящее время живет здесь 16 семейств. Для них выстроена здесь русская церковь, школа, дом для священника-иеромонаха и для фельдшера...»

Читая такие вот разные разности, отыскивая все эти места на карте, знаешь, конечно, что чуть не 70 лет прошло с тех пор, когда писалась эта книжка, что все на Севере переменилось, но не переменилась география: реки, заливы, скалы остались, и льды остались, и по-прежнему только в июле можно трогаться на шхуне в Карское море, и по-прежнему, уже твердо решив ехать, путешественник все равно будет волноваться: куда ехать?

Но куда бы вы ни поехали, не миновать вам Архангельска! Не

важно, что город этот славен и описан множество раз, сегодня я пишу ему Оду. Сегодня думаю я о всех своих друзьях-архангелогородцах как о лучших людях на свете. Я бывал в Архангельске во все времена года (не видал я только весеннего ледохода и разлива на Двине) и каждый раз испытывал глухое мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города и об обилии дорог, открывавшихся передо мною.

ГОЛОС ИЗВНЕ: А! Да что это за город! Вон про него говорят: «Доска, треска и тоска...» — слыхали небось?

Это говорят дураки! Это говорили всегда всякого рода вербованные, забравшиеся на Север за заработком, озабоченные только рублем и сроком, когда они, набив карман, уедут восвояси. А вот вам сначала немножко истории, самой ранней истории:

«В 1553 г. Лондонское общество Mystery Company and Fellowship of Merchant Adventures for the Discovery of Unknown Lands по настоянию знаменитого мореплавателя Себастиана Кабота снарядило для отыскания северного морского пути в Китай экспедицию из трех кораблей: «Bona Esperanza», в 120 тонн, под командою начальника экспедиции адмирала сэра Гуго Виллоуби, «Bonaventure», 160 тонн, под командою Ричарда Ченслера, и «Bona Confidentia», 90 тонн, под командою Корнелия Дурфорта. Сильная буря в Северном Ледовитом океане разъединила эти суда. Виллоуби и Дурфорт с экипажем в 65 человек погибли на Мурманском берегу в губе Варзина, а Ченслер, тщетно прождав своих товарищей в норвежской бухте Варде, отправился на восток, вошел в Белое море и 24 августа 1553 г. бросил якорь в Двинской губе у Ненокского Усолья против Никольского устья, на котором уже существовал Корельский монастырь св. Николая. Об его прибытии было донесено чрез Холмогорского воеводу царю Ивану Васильевичу Грозному, который вызвал Ченслера в Москву, осыпал его милостями, полюбил его за ум и за длинную бороду и отправил с ним в Англию послом к королю Эдуарду VI вологжачина Иосифа Непею.

Прибытие англичан к устью Двины имело громадное значение для Московского государства. С этого времени отворились первые ворота в Европу, которая также пришла в немалое волнение при виде возникших отношений Московии с Англиею. Шведский король Густав Ваза писал датскому королю о необходимости препятствовать этим сношениям, вредным для всех окрестных государств и городов Балтийского моря и могущим дать России преобладающее значение в Европе. Сам Ченслер в своих записках говорит, что если б Россия только осознала свое могущество, никому бы с нею не совладать».

Я приехал в Архангельск 403 года спустя после Ченслера, в 1956 году. Моста через Двину тогда и в помине не было, московский поезд останавливался на левом берегу. Не знаю, какой погодой встретила Двина Ченслера, а я шел тогда, в конце августа, в мокрой толпе, по мокрым грифельным доскам перрона, справа тянулись какие-то заборы, пакгаузы, носильщиков не было, да и со снабжением, как я сразу понял, дело было швах — чуть не до земли сгибаясь, тащили пассажиры всякую продукцию, круглились в авоськах арбузы, помидоры краснели на ватных спинах и грудях, баранки и белые батоны выпирали из кирзовых сумок. Жалкая какая-то провинциальность и тридцатилетняя, по крайней мере, отсталость глянули на меня через все эти чулки в рубчик, ватные стеганые бурки, телогрейки, кепочки без козырьков, которые вошли в моду в Москве весной 1942 года, сквозь все эти штаны шириной в 45 сантиметров, пиджаки с плечами, выделанными как будто из жести на березовых колодах, темно-серые прорезиненные плащи... Бог ты мой! Как редакторы потом вырубали из моих рассказов все эти приметы северного быта пятидесятых годов, как изгалялись потом надо мной критики, обвиняя в отрыве от жизни!

Но вот вместе с толпой протиснулся и я на пароходик, построенный в Гамбурге в 1871 году, протиснулся к борту, вдохнул ветряной запах мокрых опилок и торфа, запах речной воды... Все на пароходике были свои, переговаривались, шутили, чуть не каждого встречал кто-нибудь, и каждый, как мне с завистью думалось, ехал домой чай пить, целовать кого-нибудь, жену или просто свою девочку, а я был одинок в этой толпе. Да, дорогие мои братья туристы, тогда не было на всем Севере человека, который приехал бы сюда просто бродягой-поэтом, просто поглядеть, что же стало с Белым морем и со славным городом Архангельском со времен Ченслера. А если кто и приезжал в командировку, так по своим командировочно-толкаческим делам выбивать всякие там досочки и брусочки.

Но не в этом дело. А дело в том, что, как только свистнул наш пароходик, как только, забурлив и залопотав, откачнулся от родной земли-матушки, как только пошел он в великий свой поход на другую сторону, так я и погиб во цвете лет, пропал навсегда, потому что увидел я нечто!

Увидел я Двину во всем ее размахе, в широте главного рукава дельты, увидел неисчислимые пароходы, стоявшие на якорях по всему фарватеру — от Исакогорки до Соломбалы, увидел буксиры, мотодорки, катера, лодки, буи, боны, пирсы, пристани, ледоколы, спасатели, шхуны, масляные пятна на воде, пространство вширь и в высоту, хоть и было сумрачным небо,

светлую, красивую издали линию домов, растянувшуюся на десять, или двадцать, или даже тридцать километров, трубы, радиомачту, тянущиеся к аэродрому на Кег-острове самолеты, портовые краны, горы угля на левом берегу и цепочку серебристых баков с горючим для теплоходов... И все это открылось передо мной сразу, захватило меня врасплох.

С тех пор прошло десять лет — целая эпоха в жизни человека, минута в жизни города. Но за эту минуту Архангельск успел измениться и расшириться. Вот только не знаю, стал ли он красивее, как-то я не уверен в этом, уж очень неказисты (и не в одном только Архангельске) все эти так называемые «типовые проекты», пятиэтажные коробки все на один манер и «без излишеств», то есть — плоские и невыразительные.

Нет, нет, — я тут же одерну себя! — конечно, эти невыразительные коробки во сто крат лучше недавних бараков и развалюх, в которых жили люди, получившие теперь квартиры в новых домах! Кто спорит? И кто посмеет сказать, что новые каменные дома хуже домов на Опытном Поле возле Фактории? Жалко только нынешнего труда и денег, потому что через десять — двадцать лет эстетические критерии градостроительства изменятся, надо думать, и в Архангельске, и куда тогда будет девать эти нынешние коробки? Опять ломать?

А эстетика Архангельска изменяется на глазах. Куда подевались все эти прорезиненные плащи, чудовищные костюмы и прочее образца 1956 года? По улицам шествуют пижоны — и рубашечки у них нейлоновые, и пиджаки с разрезами, и все такое, и девочки с прическами, и обувь там современная, хорош, хорош все-таки город, хорош с его трудом, со всеми его заводами и лесобиржами, портами и кораблями, хорош лицами людей и их одеждой, с магазинами, в которых есть уже товары. Есть товары, братья туристы, а ведь если вспомнить — что было? Водка-сучок всегда была, не стану врать, что было, то было, и спиртишка был, спички были, конечно, и соль была. А насчет всего прочего — извините, не было ни колбасы, ни мяса, ни рыбы свежей, ни овощей... Плоховато жили в Архангельске. Значит, есть перемены?

ГОЛОС ИЗВНЕ: Ну, есть... Давай дальше.

А что дальше? Что сказать мне о городе, который полюбил я до того, что даже завидую писателям, которые там родились, — Е. Коковину, например, или С. Писахову. Да вот, кстати, великий путешественник Степан Григорьевич Писахов, позавидуйте ему, туристы! Родился он в Архангельске, занимался живописью в художественном училище барона Штиглица, был исключен в 1905 году за революционные настроения. Неистребимая любовь к

земле бросила его в странствия. Он пошел паломником в южные страны (паломничество позволяло ему путешествовать на льготных условиях, т. е. подешевле). Он побывал в Константинополе, Смирне, Бейруте, Яффе, Иерусалиме, на Мертвом море, в Александрии, Порт-Саиде, Каире и в Нильской долине. Он обошел и объехал Италию и Грецию. Два года он жил в Париже, занимаясь живописью в Свободной академии. Этих поездок уже вполне достаточно для одного человека, не правда ли? Но Писахов плавал еще со знаменитыми исследователями Арктики Д. Рудневым и В. Русановым. Он принимал участие в поисках экспедиции Г. Седова, спутников Нобиле и потом экипажа Р. Амундсена. Он много раз плавал на зверобойные промыслы в Карское море и с первыми экспедициями по установке радиостанций на Севере (Югорский Шар, Вайгач, Маре-Сале). Он побывал, наконец, на Земле Франца-Иосифа, на о. Колгуеве и, кроме того, на Онеге, Мезени и на Печоре. И целый год он жил на Новой Земле, в становище Малые Кармакулы. Ненцы любили его.

Писахов не был путешественником-профессионалом, ученым, хотя такой «послужной список» составил бы честь любому землепроходцу. Он был художником, а в конце жизни писал сказки. Сказки его написаны поистине с раблезианским размахом, картины его можно увидеть в Архангельском музее. И картины, и сказки его — только о Севере! Теперь он умер.

Отцы города! А что — много ли у вас таких художников и писателей, как Писахов? При всем уважении к талантам Архангельска, я сам отвечу: нет, не много! И как хорошо было бы оказать старику хоть посмертный почет, назвать его именем какую-нибудь, хоть самую маленькую, новую улочку. Только обязательно новую! А то вон у нас в Москве переименовывают вековые улицы, а новые называют, например, так: «Мазутный проезд».

ГОЛОС ИЗВНЕ: Нашел чем упрекать! Я тебе говорил, там доска одна, одной доске почет. У них и музея-то порядочного нет, и памятники старины они все разрушили, нет у них историзма никакого!

Тут я молчу, нечего мне возразить этому чертову ГОЛОСУ.

А что, дорогое начальство, разве такой музей нужен городу, какой есть теперь у вас? Разве у Архангельска нет славы и истории, начиная с петровских времен и до сегодняшнего времени?

А где ваш «Святой Фока», дорогие северяне? На дрова пошел. А пробивался же «Фока» к Северному полюсу когда-то, как и норвежский «Фрам»! Но «Фрам» стоит в стеклянном павильоне,

весь мир об этом знает — «Фрам» стоит. А где ваш «Юшар», добрый старый милый «Юшар» — пароход, который знали по всему Северу, по всем деревням и становищам? Да что «Юшар» — теперь вот собрались и «Георгия Седова» разрезать.

Сколько было экспедиций в Арктику за последнее столетие, сколько славных имен, кораблей, самолетов, сколько сделано открытий, сколько раз мир с восторгом и трепетом следил за русскими, а потом и за советскими подвигами в Арктике! Все эти подвиги начинались, подготовлялись в Архангельске, все экспедиции выходили из Архангельска.

Где теперь найти ладьи, на которых русские поморы еще лет шестьсот назад хаживали туда, куда Макар телят не гонял? А вот в Норвегии ёлы викингов нашли! Какой-нибудь даже второстепенный норвежский путешественник становился национальным героем, проведя в Арктике всего одну зимовку. А сколько зимовок — и где! — прожили наши мужики во тьме и хладе! Значит, не лаптем щи хлебали, значит, герои были, а и были-то их движителями холодный ветер, да Никола-угодник, да дерзость и пытливый ум.

Может ли сравниться в славе с Архангельском какой-нибудь другой северный край? Но то море и льды и далекие дикие острова. А земля? Сколько было понастроено всего, сколько, написано, вырезано, нарисовано там и сям по всему архангельскому краю. Какие церкви, избы, амбары, какие ладьи, шхуны и карбаса! Немного же уцелело, прямо надо сказать.

Славу богу, есть разговор об устройстве под Архангельском огромного музея северного зодчества под открытым небом.

Архитекторы! Отцы города! Позвольте слово молвить! Был я лет пять назад в Румынии. И вот в Бухаресте повезли нас в такой вот открытый музей народной архитектуры. Чего теперь скрывать, стыдновато нам было ходить среди всех этих хат и церквей — у нас-то такого и в заводе не было. Да и принцип музея хорош был: все дома были открыты, в каждом доме вся обстановка собрана, вплоть до чашек и ложек, и печки стояли, и даже веник в сенях непременно был. Взойди и сядь на лавку, щупай что хочешь, а в церквах можно было и в колокол позвонить, и то там, то тут по всему парку звоны раздавались — туристы любопытствовали, названивали.

Но и не в этом еще, не в собранной обстановке домов, не в незапертости их главная прелесть была, а в том, что парк-музей этот своими очертаниями в точности повторял карту Румынии, и церковь, перевезенная с юга страны, ставилась на юге этого музея. Турист как бы путешествовал по Румынии, посещал разные ее области. По-моему, отличная идея разбивки парка-музея по

географически-этнографической карте!

Но где же обещанная ода Архангельску? В самом деле, какой город без недостатков? Где времена года, обещанные в заглавии? С чего начать, с зимы, что ли?

Я был в Архангельске зимой, и все дни, которые я там провел, слились у меня в один морозный красный день. Впервые я приехал в Архангельск зимой, впервые переходил Двину пешком — мост тогда был еще не достроен, он рос на моих глазах, сначала из воды торчали только верхушки устоев, потом они поднимались все выше с каждым годом и уже обрастали стальными фермами, но в ту зиму мост еще не был готов, — шел я пешком по заледенелой тропе вечером к далеким огням города, и так была широка Двина, что мне временами казалось, что я никогда не дойду до огней. Слева на меня все подувало морским ветром, и было тепло, сыровато даже. А утром грянул мороз.

Город был завален снегом. Деревья были толсты от инея. Трамваи почти не ходили, редко-редко красный храбрец, подпрыгивая и визжа, влачился по нескончаемой улице Павлина Виноградова. У остальных перестали открываться двери и вертеться колеса от мороза. Автомашины шли каждая в облаке пара, как паровозы. Девушки поснимали свои модные пальтишки, надели валенки и полушубки. Больше двухсот метров нельзя было пробежать по улице, и в магазинах было особенно много народа — отогревались. На замерзшем ледяном поле Двины, на его белизне впаяны в лед были желтые, белые, черные туши пароходов. Все корабли извергали к небу розовые облака пара. И то один, то другой начинали вдруг задумчиво, густо гудеть. Почему они гудели зимой? Я этого и до сих пор не знаю...

Солнце было красное и в полдень висело где-то над Кег-островом, над самым горизонтом. И все дома, все деревья в инее, все заснеженные снегом крыши были красны. Солнце стояло в полдень так же низко, как летом в полночь где-нибудь под Амдермой. Воздух состоял из тончайшей розовой пыли. Это была ледяная пыль. Над головой то и дело рокотали пролетающие вертолеты, но их не было видно за ледяной дымкой. Голубое небо просвечивало сквозь розоватость, но вертолеты не были видны... Зима! Я потом улетел на Белое море, на зверобойку, две недели летал с вертолетчиками надо льдами, две недели видел, как бьют тюленей, видел сверху кровавые тропинки к ледовым лагерям, потом высажен был на льдине возле шхуны «Моряна», перебрался на шлюпке через разводье, влез через борт на скользкую от жира палубу, и для меня началась новая жизнь.

После каждого приезда я писал что-нибудь о Севере. Мои очерки стали переводить на всевозможные языки. Чего скрывать

— писателю приятно, когда его читают в Италии, в Америке, во Франции. Но тут, честное слово, мне было более радостно за моих героев! Северные фамилии их — Малыгин, Котцов, Жуков, Попов — появлялись на шведском, датском, немецком и прочих языках, и как же мне приятно было думать о том, что сидит сейчас где-нибудь в Праге или в Марселе какой-нибудь мой читатель, попивает себе там бордо или кальвадос и читает про поморов, на свой испанско-английский лад выговаривая наши имена.

Я не мог пользоваться всем этим богатством, которое каждый раз открывалось передо мной, мне нужно было приобщить к своему счастью кого-нибудь, и я в очередную поездку на Север взял с собой Женю Евтушенко. Ах, думал я, пусть он напишет о Севере стихи! Мы были вместе в Архангельске два раза, и оба раза на нас обрушивалось столько впечатлений, что мы прямо-таки стонали от наслаждения, клянясь друг другу не забывать Север. И я рад еще был просто за поэзию, потому что Евтушенко после многих своих американских и парижских стихов написал потом обширный цикл стихов о Севере. «Ночи Архангельска — сплошное быть может...», «Она из Амдермы кричала, сквозь ветер, льды и лай собак...». Будь моя воля, я бы посылал по очереди на Север всех самых талантливых московских поэтов и прозаиков.

Никогда не забуду нашего ночного отхода в Карское море на зверобойной шхуне «Моряна». В час ночи отошли от Холодильника, и во все время, пока она шла двинским фарватером, мы не спали. Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развила ход до полного, как плавно поворачивала, следуя фарватеру, как капитан Саша Матвеев, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, стоял наверху, на ходовом мостике, и похаживал и поглядывал вперед, то с одной, то с другой стороны, и как время от времени покрикивал в переговорную трубу в рубку: «Лево руля!», «Еще левей!», «Одерживай!» — и как печально и важно гудели нам то от одного, то от другого пирса огромные корабли, гудели нашей крошечной шхуне, идущей во льды, к Новой Земле и Диксону, прощались с нами, желали попутного ветра, и мы им отвечали!

Проснувшись на другой день, я подумал сначала, что мы еще по Двине идем, так ровен и плавен был наш ход. Но уж мы были в море, давно прошли Зимнегорский маяк, прошли Вепревский...

— Гляди, Юра, скоро Золотица, где мы с тобой зимой были, — сказал прекрасный наш стармех, Илья Николаевич Попов. — А вы еще не завтракали, ребята? Так идите скорей, на камбузе, едри его мать, пошарьте!

Так началась наша жизнь на водах. А помнишь, Илья

Николаевич, как мы с тобой сидели на льдине в Карском, как стреляли по несметным уткам, как орали на весь ледовитый океан: «Попал!» — «Нет, это я попал, едри ее мать!»?

И все-таки нету времени в Архангельске лучше лета! Какое солнце, какие розовые ночи, какая жара! В Двине купаются ночью, на вокзалах столпотворение, время летних отпусков, на рынке, в магазинах помидоры, яблоки, черешня, асфальт плавится, все ищут тени, весь архангельский рейд занят судами всех стран, грузят лес, приходят из Атлантики тральщики, уходят в море экспедиционные суда.

В июле трогаются в путь рыбаки и зверобои — туда, во льды, к вечному солнцу. Как летом многолюдно в ресторанах, какие прощания за столиками — еще бы, многие уходят на два, на три месяца! — какие встречи: «Здорово, откуда? Куда?» — витают в воздухе головокружительные названия морей, островов и портов! И вы можете подкатить с компанией друзей-моряков к ресторану «Север», уже отрешась от берега, уже простившись мысленно со всем любимым и дорогим, но поднимите немного глаза — мемориальная доска: от этого пирса пятьдесят лет назад уходил на «Св. Фоке» к Северному полюсу Георгий Седов! И сидят потом моряки за чистыми столиками, в кителях, в рубашечках, при галстуках, еще бы — не на вахте! — чокаются нежно друг с другом, любят друг друга, впереди долгая дорога, и впереди еще два часа до отдыха. А потом мчатся по городу такси, ах, куда же они мчатся ночью или на рассвете? — на Факторию, к Холодильнику, на другую сторону, к угольному порту или в Соломбалу; выскакивают на берег, зорко выглядывают свое судно, свой дом. А потом уходят на Север, в свет, в чистоту — и по всей Двине то тут, то там раздаются долгие прощальные гудки кораблей, и просыпается тогда оставшийся на берегу, и сердце его мучительно сжимается от грусти, от зависти, от зова дальних далей...

Нет! Не ездите вы на Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам просторный город — преддверие неисчислимых дорог. Эх! Маху дал наш Петр Великий — не на Неве ему строить было свой парадиз, на Двине!

1966

Мальчик из снежной ямы [17]

Осенью 1960 года, солнечным днем, плыл я на катере по Оке — от Тарусы в сторону Алексина.

Я сидел на верхней палубе, глаз не мог оторвать от багряных, лимонных, оранжевых и шафранных берегов и чувствовал себя счастливым.

День стоял солнечный, жаркий, не верилось даже, что через несколько дней придет октябрь. И еще мне весело было оттого, что ехал я в крохотную деревеньку, где посчастливилось мне снять на осень избушку.

Избушка была мала и так стара, что на тесовой ее крыше давно уж цвел мох. За водой надо было ходить далеко, к самой Оке, к роднику, за дровами тоже нужно было идти в лес и тащить потом за плечами добрую вязанку.

Но это-то и было хорошо! Зато в избушке был стол, было деревянное старое, какое-то ямщицкое кресло, в котором спинкой служила дуга, и электричество было, хоть деревенька и состояла из пяти дворов, — чего же мне было еще нужно!

А главная моя радость состояла в том, что наконец-то я буду один, разложу свои записки, стану работать... Мне не терпелось сесть за стол.

Незадолго до этого месяца полтора ходил я по Северу, по Белому морю, жил по нескольку дней в разных деревнях, жадно расспрашивал каждого о чем придется, нисколько не стыдясь своего неведения, своей наивности, пока не понял вдруг, что чуть не каждый человек, родившийся и выросший в суровом краю, на берегу Белого моря, — герой.

«Тихие герои» — так окрестил я про себя всех встреченных мною, и вот теперь, на катере, сидя под горячим солнцем на верхней палубе, я не переставал вспоминать их и восхищаться ими.

В деревне Майде остановился я пожить у веселого краснолицего старика Евлампия Александровича Котцова. С утра до ночи он все что-то делал — то в бригаде, то возле своего дома, и всяческие колхозные нормы перевыполнял, и дом его был крепок и ухожен, и весело, завидно было смотреть на него, но и больно, потому что не ходил этот Котцов, а ползал на четвереньках, шурша и постукивая своими культяпками в бахилах.

В молодости его во время зверобойки отнесло на льдине в море, несколько дней он «пропадал» вдвоем с товарищем, боролся со смертью и вот как об этом рассказывал:

— Это событие произошло такое. Сполнилось тогда мне двадцать лет от роду, парень я был крепкий, хороший, сказать тебе, парень. Пошел я раз на зверобойный промысел Белого моря. Пошли мы обыдёнкой... Обыдёнка, сказать тебе, товаришш, это когда утром уходишь, а вечером домой ворочаешься. И вот ушли мы в море далеко, и пал на ту пору ветер горний. А как пал — зашлось у нас сердце. А потому зашлось, что на гору (на берег) попасть мы не могли никак... Унесло, понимаешь, кругом-то море да льды плавают, и, сказать тебе, берега совсем не видно. Вот как, милый товаришш. А утром встали, уж земли нашей и совсем след пропал! Находились мы потом, сказать тебе, в тонкой разнилатке...

Разнилатка-то? А это, к примеру, тонкий лед, сантиметра так три. А от берега стали мы по всем нашим расчетам километров за двадцать, не мене. Погоревали мы, погоревали, кушать совсем нечего, и стали, понимаешь, домой пробиваться. Стал я на коргу лежать, на брюхе, ноги свесивши наружу и вперед. Корг — это, тебе сказать, будет нос на лодке. Дальше? А дальше так было, что товаришш мой гребет, а я на коргу лежу да ногами лед разламываю.

Этим путем мы трои сутки попадали до берега. Сказать тебе, товаришш, смерть возле нас стояла и глядела на нас, как мы копошимся. А мы все ж копошимся, потому, понимаешь, что ничего больше не остается нам делать. Трои сутки ломался я на коргу, лед ногами разламывал и уж боле ничего не понимал, где у меня руки, где ноги, а где голова.

Дальше? Дальше попали мы, попали на гору, но не в деревню, а, сказать, в пустое место, в двадцати километрах от деревни нашей к югу. Хорошо. Вытянули мы лодку на берег и пошли пешим порядком в сторону Майды. Идти плохо можем, ноги, понимаешь, чувствуют ненормальность. Отошли километра три, ну в крайнем случае четыре, так сказать, избушка. В этой избушке живут люди, койдена (из Койды), три человека их, ребяты.

Дальше, понимаешь, заворотили мы в эту избушку. Нас приняли. А мы голодные, холодные, пятеро сутки не едали никого. Приняли хорошо, обули, одели, накормили, худо ли, хорошо, по-местному будем говорить — приятно сделали для нас. Вот вы были в Койде-то? Так живет там старичок такой Артемий Васильевич, а его отец был на те поры капитаном. То есть капитан шхуны, или, сказать тебе, л*о*дьи.

Ноги-то мои примерзли к голяшкам (кожаные сапоги). Он раздел голяшки, дал мне пимы. «Я, говорит, пойду за конями, обратно спушшу вас». А пошел под вечер, в три часа, приехал назад в двенадцать часов ночи на лошадях. Так... приехали, нас

забрали и привезли сюда.

Дальше что получилось... Дальше получилось такое событие, что стали ноги у нас разбаливаться. А у товаришша одна: он на коргу лед не ломал дак. Болят и болят, и что ни день, то пуще, и прямо, понимаешь, ступить нельзя — так болят! Дело дошло до того, что сам собой сидеть не мог. Как малого ребенка ложили и поднимали.

Хорошо. Решили везти меня в Мезень, и поехали на лошади. Трое сутки ехали, а январь, так и метет, и мороз сильный на те поры был. Ну что ж... Привезли меня в Мезень, там в больнице представили. Врачей не было, докторов, одни фершала, народ темный, в медицине мало понимали.

А у меня уж, простите за выражение, на ногах внизу от кости отвалилось. Дальше. Дальше медицина все это сразу отрезала. На одной ноге с пяткой, на другой одну ступню, а пятка осталась. Смертельное дело мне приходило, товаришш ты мой! Даже в смертельную камеру выносили не один раз. Не пил, не ел больше недели совершенно никого. Потом почувствовал полегчение и есть захотел. Лежал больше месяца, пить-есть начал, стал домой проситься. На распутице и привезли меня домой.

Год цельный не ходил никуда и не ползал, не мог. А потом работать стал по хозяйству, а потом революция, а вот он уже и колхоз. Я в колхозе стал работать и все могу делать, одних грамот сто штук, только ходить уж не пойдешь, не побежишь...

Вот жизнь-то наша северная какая, другой раз и голову загубишь и с моря не вернешься, пропадешь, а все ничего, живем, сказать тебе, живем!

Едва вспомнив рассказ Котцова, мигом вообразил я и других своих героев, всех, с кем довелось мне встречаться и говорить, и мне показалось, что я с ними и не расставался, что все они по-прежнему со мной рядом и долго еще будут, пока я стану писать о них, приходить ко мне толпой и поодиночке, смотреть на меня и звать опять туда, к ослепительным небесным чертогам, на мрачные берега, в высокие свои дома, и в чумы, и на палубы своих кораблей...

И не знал я тогда одного только — не знал, что в эти дни, когда по окской пойме, между желтых и красных холмов, под синим небом гуляет солнечный теплый ветерок, когда возле Новой Земли скапливается уже лед, идет снег и с устрашающей силой начинают задувать новоземельские бури, — что в эти дни в архангельской больнице умирал человек, который мог стать главным героем моих очерков, умирал Тыко Вылка.

Как часто удручающая печаль охватывает тебя: человек ушел навсегда, смешался с землей, на которой жил, и ты осиротел, а

сам и не почувствовал этого, потому что не успел узнать и полюбить его при жизни и если узнаешь потом — с горечью и сожалением, — то уже не *его, а о нем*...

А ведь я мог зазнать Вылку! Я начал ездить на Север с 1956 года, — в том же году переехал с Новой Земли в Архангельск и Вылка. Я мог бы приходить к нему в свои приезды, слушать его рассказы, его песни, выспрашивать его обо всем, смотреть, как он пишет картины. Я мог бы написать о нем при его жизни, а это так важно — успеть сказать о человеке доброе слово при жизни! Да, видно, не судьба была, никто меня с ним не познакомил, не повел к нему в гости, а сам я откуда же мог знать, что это был за человек?

«Президент Новой Земли», так иногда называли в шутку Тыко Вылку, — вот, пожалуй, и все, что я о нем знал...

Через четыре года, перед тем как пуститься на зверобойной шхуне «Моряна» в Карское море, мы с другом-поэтом зашли в местный музей, который тогда помещался рядом со старым морским вокзалом. Друг мой был любитель и собиратель всяческой живописи — французской, русской, советской, а я как раз перед этим рассказывал ему о северном художнике и сказочнике Степане Писахове.

Некая девица провела нас в так называемые фонды, на пыльный чердак, оставила одних, и мы принялись за картины. С наслаждением разглядывали мы полотна А. Борисова, С. Писахова, но вот все чаще стали попадаться нам маленькие картинки, старательно, крупно подписанные «Тыко Вылка»...

Картинки эти выглядели наивно, даже как бы беспомощно, будто рисовал их ребенок, но в робких, каких-то беззащитных красках была такая свежесть, такая безыскусственность, что глаз нельзя было оторвать, как, бывает, не оторвешь взгляд от ослепительно-синего окошка небес в низких темных тучах.

Тогда же, на шхуне, друг мой написал стихотворение «Про Тыко Вылку», которое кончалось так:

И я восславлю Тыко Вылку!
Пускай он ложку или вилку
держать как надо не умел —
зато он кисть держал как надо,
зато себя держал как надо!
Вот редкость — гордость он имел!

Гордость — не то слово, конечно... Вылка не был горд, он был добросердечен и храбр, он был Учитель. Он учил не только ненцев, но и русских, он говорил: не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь жестока, но и хороша, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно!

Невелика, может быть, мудрость в его поучениях, но необходимо помнить, что говорил он это не в ресторанах под сакраментальное «прошу наполнить бокалы!», не в уютных квартирах, не обеспеченным людям, которым не так уж много и храбрости нужно было, чтобы жить, — говорил он это своему бедному народу, в заваленных по крышу снегом избушках, в чумах, долгими полярными ночами, под визг и вой буранов, — многих своим участием, своим словом, деятельной своей добротой спасал не только от отчаяния, но и от смерти.

Он не только учил мужеству, он всю жизнь творил добро. В юности он заботился о своих престарелых родителях. Потом пришлось ему взять на себя заботу о прокормлении и воспитании многочисленной семьи погибшего брата. А всю вторую половину жизни он заботился — в качестве несменяемого председателя островного Совета — уже о сотнях людей. Каждый год ездил он в Архангельск, проводя месяцы в неустанных хлопотах, доставая для охотников продовольствие, катера, боеприпасы, утварь, и в неустанных заботах о сохранении поголовья зверя и птицы — единственного источника жизни на Новой Земле.

Он не издавал книг с описаниями своих полярных путешествий, не ездил по городам Европы с лекциями. Известность его во время жизни на Новой Земле была ограниченной. Всего несколько сот ненцев и русских знали его лично, говорили с ним, слушали его поучения, видели его картины. Но те, кто его знал, любили его безмерно.

Живи он не на Новой Земле в наш век, а где-нибудь в Европе в иные века, кто знает, не имели бы мы теперь в его лице еще одного святого? Или национального гения, какого норвежцы имеют в лице Фритьофа Нансена?

Гляжу на его картины, на его чистые краски, на его бесхитростные сюжеты... Жизнь, остановленная на полотне кистью Вылки, так не похожа на нашу жизнь!

Ледники, на которых, по словам В. Русанова, выживают лишь немногие виды бактерий, заливы, окруженные скалами, выброшенный на берег плавник, чумы, тихие, задумчивые ненцы вокруг костра, прекрасно переданная округлость белых медведей, кровь на снегу возле разделываемого тюленя, мистическое полярное сияние и тут же лампочка на столбе — такой милый человеческий свет, мешающийся с космическим светом, перебивающий его!

Картины Вылки — как привет друга, долетевший к нам из другого мира, из иных времен...

Да! В том-то все и дело, что, воображая жизнь Вылки, нам необходимо помнить, *где и когда* он родился! Академик Бэр,

посетивший Новую Землю, писал впоследствии: «Я не мог подавить в себе мысли, невольно мне представившейся, будто теперь только что настает утро мироздания и вся жизнь еще впереди...»

«Жестокие погоды начинаются в Филиппов пост и продолжаются до Великого поста, почти около трех месяцев. Бури продолжаются часто по неделе, иногда же по десяти дней и по две недели. В то время весь видимый воздух занимается густым снегом, кажущимся наподобие курящегося дыма; человек же, потерявший из своих глаз становище, не может в то время на пустом месте не заблудиться, потому что со всех сторон ничего, кроме снежных частиц, видеть не может и в таком случае холодом и голодом погибает».

Так пишет о Новой Земле один из путешественников XVIII века.

Представьте себе маленькую часть небольшого народа, завезенную на жестокий ледяной остров, вообразите себе прошлый век, жалкие дырявые чумы, грязных людей, низведенных условиями жизни до уровня зверей, ни о чем не помышляющих, кроме как о том, будет ли хорошая погода, будет ли удачной охота, скоро ли привезут на пароходе или на шхуне спирту, чтобы можно было напиться и закурлыкать свои жалкие песни, представьте, что смысл и счастье жизни людей состоят в том, сыт ли и пьян ли ты... Если сыт и пьян, значит, жизнь хороша, если голоден и трезв и не предвидится удачной охоты — умирай.

Из Печоры на двух карбасах выехали двадцать промышленников зимовать на Новую Землю. Они ехали добывать песцов, медведей, морского зайца.

На одном карбасе были все ижемцы. С ними был один ненец с женой, матерью и дочерью. Их было четверо. Старуху звали Некона, а дочку ненца — Некоця.

Когда показалась Новая Земля, промышленники разделились. Один карбас ушел в Карское устье. Ижемцы и ненец с семьей поехали к Мучному мысу. Пристали к берегу в Мучной губе. Здесь оказалась старая гнилая избушка. Ижемцы вышли на берег осмотреть избушку. Половина избы упала и сгнила. Около нее лежали кости покойников.

За губой увидали еще два дома. Пошли посмотреть эти дома. В одном доме еще можно было жить, а другой совсем развалился. Около избушек белели кости: оленьи рога, черепа медведей, моржей. Ижемцы обрадовались, говорят:

— Это место, видно, промысловое было!

Ижемцы починили домик и стали здесь зимовать. Промысла

было много. Хорошо промышляли: моржа, нерпу, морского зайца добывали.

Наступила зима. Губа замерзла. Ижемцы говорят:

— Когда на Мучном мысу выпадет снег, дикие олени сами сюда придут. Никуда ходить не надо.

Ненец говорит:

— Надо идти в тундру искать оленей.

Ижемцы говорят:

— Не надо ходить, олени сами придут.

Никуда не ходят. Лежат в темной сырой избе, в карты играют. В месяц Малой Темноты все заболели цингой: ноги у них заболели, десны распухли, ходить не могут.

Когда наступил месяц Большой Темноты, ижемцы стали умирать. Ненец с женой тоже заболели цингой.

Ижемцы своих умерших товарищей вынесли на улицу.

Старуха Некона и Некоця — двое остались здоровые.

Все ижемцы умерли. Ненец с женой тоже умерли. Некона и Некоця остались вдвоем среди покойников. Они стали жить в углу около печки. В передней части дома лежали покойники. Так и жили Некона и Некоця — в доме темно, от покойников смрад. У них потому не случилось цинги, что они тайком ели нерпичье сырое мясо. Так и жили нерпичьим мясом.

Старуха Некона сделала из снега сени, чтобы пурга не попадала в дверь избы. Добытого осенью мяса морского зайца и нерпичьего мяса было очень много. Некона собрала мясо, собрала кровь и все это занесла в сени.

Старуха Некона молилась и приговаривала:

— Мы теперь будем есть нерпичье мясо. А бог, если ему надо, пусть как хочет, так нас и судит. Мы хотим жить. Сын мой и невестка не ели нерпичьего мяса и умерли. Бог не спас их от болезни.

У месяца Большой Темноты дни короткие. Пурга, ничего не видно. Некона и Некоця перестали выходить на улицу, только выходили в сени.

Однажды в полночь кто-то постучал к ним в избу. Некона вышла в сени и крикнула:

— Кто там?

Ни звука в ответ. Каждый день в полночь стали стучать в дверь, которая была в сенях. Потом стали стучать в дверь избы. Потом однажды дверь открылась и показалась черная голова, а туловища нет, только позвоночник, руки да ноги, а глаза сверкают как искры.

Неведомое существо прошло мимо них к покойникам, посмотрело на покойников, заглянуло в очаг и вышло обратно.

Некона думает: «Зачем понадобились покойники? На человека не похоже, нет туловища. Наверное, это цинга!»

Каждую ночь стало приходить. Некона задумалась: «Что-то надо сделать, чтобы напугать цингу. Сделаю-ка я крест!»

Сделала крест с одной перекладиной. В полночь опять вошло в избу, опять покойников рассматривает. Уходя обратно, посмотрело в их сторону и протянуло руки к Неконе. Некона выставила крест цинге навстречу. Цинга уходит и снова приходит. Всю ночь Некона оборонялась крестом. Только утром цинга ушла на улицу.

Не спавшие всю ночь, Некона и Некоця заснули как убитые. Когда Некона проснулась, она стала думать: «Видно, крест не спасет нас. Если в полночь цинга опять придет, как будем ее прогонять?» Некона в уме сказала: «Люди говорили: цинга крови и свежего мяса боится».

Некона набрала мороженой крови из свежего мяса и растопила в котелке.

Снова настала ночь. Некона зачерпнула ковшик крови и поставила возле себя. Когда пришла полночь, цинга опять вошла в избу, глядит на покойников. Потом повернулась к ним и протянула руки к Неконе. Тогда Некона взяла в одну руку крест, а в другую ковшик с кровью. Сначала Некона выставила крест на цингу. Цинга то отступает назад, то снова подходит, чуть не вцепилась в Некону. Тогда Некона ударила цингу в лицо ковшиком с кровью. Лицо у цинги все покрылось кровью. Цинга вдруг закричала:

— Фэ-э! Фэ-э! — и чуть не упала с ног. Цинга вышла из избы и в сенях все приговаривает: — Фэ-э! Фэ-э!

Когда цинга ушла, Некона набрала крови еще больше. Теперь Некона поняла: цинга в самом деле боится крови. Некона и Некоця весь день и ночь сидели возле ковшика с кровью. Цинга перестала появляться.

Некона и Некоця и днем и ночью не выходили из дома. Дверь занесло снегом. Окна тоже занесло. В избе темно. День и ночь сидели с жирником.

Наконец сквозь занесенное снегом окно, через снег стал показываться розовый свет. Некона подумала: «Теперь, наверно, светлое время настает, солнце показалось».

Снаружи послышались чьи-то шаги. Кто-то, слышно, ходит вокруг избы. Слышно рычание медведя и лай песца.

Некона и Некоця не выходят на улицу, боятся: медведей много ходит.

Сколько-то еще прожили, медведи перестали ходить. И вот Некоця вдруг сказала:

— Ой! Слышно, собаки лают!

Через недолгое время они услышали — кто-то ходит, как будто люди. Люди, слышно, кричат в трубу сверху:

— Кто живой есть?

Некона встала, открыла трубу и крикнула:

— Мы двое с внучкой. Я старуха!

Один человек, слышно, говорит другому:

— Старуха с девочкой живы остались.

Другой отвечает, слышно:

— Ну и пускай! Пусть остаются! Наверно, среди покойников и сами скоро помрут.

Первый говорит:

— Так нельзя. Живых людей нельзя оставлять среди покойников.

Немного времени прошло, в избу вошел человек (он их раскопал) и сказал:

— Одевайтесь поскорее! Я вас увезу.

Некона и Некоця вышли на улицу, на свет. Видят, одного человека уже нет, уехал, едва видно.

У доброго человека было четыре собаки. Он посадил на сани Некону и Некоцю, а сам пошел пешком. Три дня едва идет. Через три дня человек сказал:

— Вон там (на небе) поднимается туча, будет сильная пурга. Нам нужно заранее сделать домик из снега.

Скоро домик был готов. Сверху он был накрыт шкурами. Еды осталось два куска мяса.

Человек сказал:

— Товарищ оставил мало мяса. Теперь я вас оставлю в этой снежной избушке. Здесь двум человекам поместиться можно. — Он еще добавил: — Не бойтесь, я вас не брошу. Я приеду на большой упряжке, а только теперь останьтесь.

Когда он уехал, действительно ударил ветер, задула метель. И наутро была пурга, ничего не было видно. Три дня пурга шумела. Некона закрыла дверь пологом, чтоб не попадал снег.

Они сидят, пережидая пургу. Некона сидит, задумалась. В руке она держит мешочек с табаком. Вдруг Некоця говорит:

— Бабушка! Медведь!

Некона повернулась к двери, а медведь уже просунул голову в дверь.

Некона набрала из мешочка горсть табаку и бросила медведю в морду. Медведь с рычанием повернулся, чихая, как обезумевший побежал прочь и скрылся за метелью.

Прошло четыре дня. Пурга прошла. Небо очистилось. Добрый человек приехал на большой упряжке, на десяти собаках.

Некона и Некоця уселись. На десяти собаках едут, только вихрь кружит. Они сидят и смеются.

Приехали в становище. Здесь все были живы. Цинги не было. Мяса запасено много. Промысла много было: песца, медведя, морского зайца, нерпы, белухи.

Некона и Некоця хорошо зажили. Некона стала чинить одежду и обувь: женские паницы, мужские малицы, пимы, липты. Иногда новое шьет или шкуры сушит. Так и живет. В избе было тесно, сделали чум, и Некона с Некоцей стали жить в чуме.

Когда наступило лето, нагрузили карбас, и все поехали на Большую землю.

Эту историю Тыко Вылка записал уже в старости. А разве один только этот случай был у него на памяти? Сколько смертей, сколько трагедий разыгрывалось под холодными небесами, в разреженном арктическом воздухе!

Читая об этом, невольно думаешь, что это легенды, древние сказки, дошедшие к нам из первобытных времен, — и вдруг спохватываешься: да ведь это же XX век! Ведь этот едва не погибший ребенок, эта девочка Некоця, доживи она до глубокой старости, была бы нашей современницей, она могла бы сама рассказать, как в виде страшной бестелесной женщины являлась к ней цинга!

«Самоеды, — пишет известный писатель-этнограф С. В. Максимов, — в незапамятные времена оставляя свою родину на Алтае, за Саянскими хребтами, теряя с нею житье в умеренном климате, где быстро вырастало и крепло их племя, покидали сочные травы и тучные пажити, на которых так же обильно плодились и быстро нарастали стада овец и табуны лошадей. Вступив в холодную страну, загнанные на пустынную и мокрую тундру, они нашли на ней такую скудную растительность, которая не в состоянии была пропитывать ни овец, ни лошадей. Сами люди могли погибнуть с холоду и голоду. Новая родина обещала им одну смерть. Только сильное и здоровое племя с помощью того сокровища, которым бог наградил человека и которое человек называет разумом, могло спастись от конечной погибели.

Природа засеяла тундру мхом и населила оленями. Олени приняли мох за пищу и, не нуждаясь ни в какой другой, не потеряли с тем вместе и своей живучести. Невзирая на холод, они плодятся еще с большею быстротой, чем другие животные в теплых странах. Оленей нашли самоеды и их соплеменники в диком состоянии; они боялись людей и с быстротой молнии бежали от них. Но люди принесли с родины уменье превращать диких животных в домашних, и тот же аркан, который ловил в

горах Алтая диких и сердитых лошадей и баранов, с меньшим трудом накинут был на рога диких же и бойких оленей...

Найдя и покорив себе оленей, самоеды сделали для себя великое дело: они могли остаться в тундре и не погибнуть в ней ни с холоду, ни с голоду. С оленями они заведомо живут вторую тысячу лет и все на тех же местах, где помнил их преподобный Нестор, писавший «Русскую летопись».

Из шкур молоденьких оленей, или пыжиков, самоедка, большая рукодельница, шьет мужу шапку; из шкур взрослого оленя, или неблюя, делает нераспашные мешки с рукавами и прорезом для головы, из которых один, называемый малицей, самоед надевает вместо рубашки, прямо шерстью на голое тело, а другой мешок, или совик, — в мороз, зимой — поверх малицы. Из того же неблюя шьются чулки, или липты, на ноги и сверх их род сапог, или пимы, узорчато-красиво изукрашенные кусочками сукна и белыми с коричневыми лоскутками камусины, или шкуры с ног оленя. Шкуры вместо ниток сшиваются жилами тех же оленей. В таком бесконечно теплом, хотя тяжелом и неудобном наряде не страшны самоеду морозы тундры, в них он смело пускается в дальний путь по необозримым снегам своей родины.

Шкуры со старого оленя, или быка, он подстилает и на санки и для спанья, называя их постелями. Ими же обкладывает и обвешивает снаружи и внутри жерди своего подвижного и складного жилища, которое называется чумом. Свежее мясо оленя служит самоедам пищею летом; вяленное на солнце, идет в зимние запасы. Вареные языки и губы нравятся самым избалованным лакомкам из русских, а наросты молодых рогов (рога олень сбрасывает каждогодно), студенистые, хрящеватые наросты, вырезанные из-под кожи, китайцы покупают на вес золота. Сами самоеды считают великим лакомством теплую кровь убитого оленя и находят великое блаженство в том, чтобы съедать с гостями и друзьями еще парное сердце, еще дымящиеся и сейчас вынутые из груди легкое и печень.

Можно видеть теперь, насколько дорог для самоеда олень, дающий и от голода спасение, и от холода защиту, и в кочевьях — дорогой, незаменимый товарищ. Заложив в санки на высоких копыльях четырех оленей, самоед сажает на них свою семью; к этим саням привязываются вторые санки, с четырьмя же оленями. На них кладутся жерди, служащие остовом или скрепою чума. На третьих санках помещаются постели или те оленьи шкуры, которыми обкладываются жерди чума снаружи и обвешиваются внутри. Сюда же бросает самоед хохлатую, маленькую, некрасивую собачонку — другого своего заветного и нужного друга. И поезд, или аргиш, готов. Самоеды перекочевывают на

другое место оттого, что на этом съеден весь мох и изрыт весь снег так, что белая тундра превратилась в серую.

Олени бегут без дороги по сугробам снега, через подснежные кочки, ловко выхватывая свои быстрые и легкие на ходу ноги из мягких сугробов и не скользя и не оступаясь на льду наснежного наста. Пустив на длинной и единственной вожже слева переднего толкового и приученного оленя (который потому и продается вдвое дороже), самоед верит ему больше самого себя и повинуется. Изредка ткнет шестом ленивых оленей и поправит вожжу передового только тогда, когда звезды на небе или полосы, намеченные ветром на снегу, покажут самоеду, что олень, отыскивая мох, забывает о хозяине и везет его совсем вдаль и в сторону от русских, у которых водится пьяная водка.

Устали олени, самоед собирает всю вожжу в свою руку и быстро повертывает передового оленя, а с ним привязанных к нему трех других в левую сторону и — останавливается. Стоит как вкопанный и весь аргиш: олени, пробежавшие за один дух верст двадцать, тяжело дышат и хватают пух свежего снега. Надышавшись и напившись, через четверть часа они опять готовы в дорогу. И опять бегут, положивши свои ветвистые рога на спину и помахивая своим коротеньким хвостиком до нового доху через 15—20 верст или до полной остановки там, где мох не съеден и, стало быть, можно становиться чумом.

В несколько часов чум готов и кажется издали копной сена. Иньки, или самоедские женщины, уколотили его постелями в два ряда и вывели дверь по направлению к югу, завесив ее подъемной шкурой. Пока мужчины распутывают оленей и пускают их на волю бродить по тундре, середи чума иньки развели огонек, который пускает дым в оставленное наверху чума отверстие. Дунет ветер сверху, чум наполняется дымом до того, что непривычному человеку ни дышать, ни глядеть невозможно. От этого дыма и от сверкающей белизны снегов у всех бродячих дикарей болят глаза и по зимам постоянно гноятся.

Постукивая передними копытцами (попеременно то левым, то правым), олень пробивает ледяную кору, или наст, разрывает наст и докапывается до моха. Съест его в одном месте, идет на другое. Если слишком крепок наст, у оленей разболятся копыта. Если слишком много мошки летом, они заболеют нарывами, мечутся, мучатся, иногда умирают в изнеможении, если не удастся спастись им в воде ближайшей реки, озера или океана. Хозяева тоскуют об этом, но средств никаких не придумали и не употребляют: лет двадцать пять назад, в 1831 и 1833 годах, забралась в тундру чума и опустошила всю тундру — олени мерли, как мухи. Архангельские самоеды до сих пор не могут

оправиться, и б*о*льшая часть из них, бывши хозяевами, стали пастухами чужих стад, принадлежащих зырянам.

В то время, когда иньки шьют нюки (покрышки для чумов), обшивают семью и готовят пищу, мужчины обыкновенно больше спят и просыпаются, чтобы есть. Едят что ни попало, без разбора: не гнушаются они и жестким вонючим мясом песцов; в голодное время и собакой не брезгуют. Пастух-самоед смотрит только за тем, чтобы оленям была пища, и если тундра вокруг его чума начинает чернеть, выбитая оленями, он начинает думать о перекочевке. Когда же узнает и увидит, что олени отошли далеко и чум его очутился не на середине стойбища, а далеко на краю, самоед решается переменить место. Дальних оленей могут резать волки, которых много бегает по тундре, а потому, поймавши ближних оленей, самоед впрягает их в санки и едет сгонять остальных оленей в кучу. Не столько он сам со своей палкой-хореем и своею веревкой с петлей, сколько работает тут его собачонка. Бегает она взад и вперед с громким пронзительным лаем, который привыкли понимать олени. И как бы ни задумался олень, уткнув рыло в снег, собака разбудит его звонким лаем прямо над ухом. Олень схватится с места и побежит туда же, куда бегут все его товарищи и где хозяин ловко вскинет ему на рога меткую и крепкую петлю; затем впряжет — и опять погонит по снежной пустыне на свежее моховое болото. Тундра же не межевана и нераздельно принадлежит всему самоедскому народу.

Так и идет жизнь самоедская рядом с оленьей, в полной зависимости и непременной подчиненности: без оленя самоед не живет. Даже те, которые пошли *на едому*, то есть пробиваются людским подаянием по соседству русских селений, не бродят без оленей. И опять-таки не самоед выбирает себе место, но олень указывает ему оное и с тем, чтобы через неделю-другую вести его на новое...

Когда доводится самоедским старшинам с прислугою жить в русских селениях и казенных избах, они неохотно топят печи, а спят всегда на повети, разбросавшись на сене в то время, когда русские храпят и стонут в невыносимой духоте и жаре на печах и полатях. Только против морозов самоед кутается в шубу, а холод почитает для себя тем же, чем рыба воду. Жары он не выносит и в теплой избе не сидит долго. Летняя жара ему — наказание; зимний холод для него — удовольствие, лишь бы только хивуса и замятели не спутывали неба с землей, не застилали божьего света.

Так изменился этот дикарь на своей новой родине. Против кое-каких невзгод ее он давно уже придумал и отыскал оборону если и не хитрую, то потому, что и сам он весь нехитер. Летом,

когда из каждой мшины родятся на свет целыми облаками комары и оводы, самоед жжет кору и гнилушки и в дымокуре этом, который ест глаза и гонит слезу, избавляется на день от докучной мошки (а на ночь она и сама погибает). От постоянной мокроты, сонливой и неподвижной жизни, от дурной и гнилой пищи без соли портится кровь и привязывается мучительная костоломная болезнь — цинга, при которой пухнут десны, появляется невыносимо гнилой запах во рту, усыпается все тело багровыми пятнами и близится смерть. От цинги самоед пьет теплую оленью кровь в большом количестве и ест морошку, которая тут же под руками растет по тундровым кочкам. Если прибавим к этому выносливость самоедской природы, его терпение и привычку, то не станем дивиться, что самоед ест до отвалу и с жадностью волка, когда много запасов, а нет пищи — он способен голодать и выносить даже самое мучительное из всех чувств — жажду. Надо много жестокости и настойчивости, чтобы вывести его из терпения. Его обидеть трудно, но рассерженный он бывает дик и неукротим, как лесной зверь. Против тоски скучной жизни он придумал кое-какие развлечения. Если песен он не поет и ни на чем не играет, зато свадьбу справляет не скучнее других, хотя и по-своему.

Когда он сговорил невесту и заплатил ее отцу сколько сговорено оленей, молодой без особых обрядов берет иньку к себе и затевает пир, или, лучше сказать, пьянство. Пиршество начинается с угощения свежим оленем: гости берут по ломтю парного мяса и, подняв лицо кверху, жуют мясо, ловко отрезывая кусочки ножом подле самого рта. Что остается в руках, они снова обмакивают в теплую кровь, которая течет и по реденьким бороденкам, и по коротким шеям, и по широким крепким грудям гостей. Кончается пиршество поголовным пьянством, причем пьют и иньки и маленькие ребятишки, и завершается пир непременной дракой. Сначала начнет один, ни за что ни про что ударив другого. За каждого заступаются другие, кому за кого вздумается, и начинается общая свалка... Дерутся самоеды так, с пуста, в какой-то заразе: они совсем не драчливы и вовсе не злы (доброта самоедов известна и в дальней Сибири). Но такова сила вина, со страстью к которому самоеды не могут сладить...

Кроме всех этих невзгод, на самоедское племя напали приносные смертельные недуги, в которых гниет это племя и начинает заметно вымирать и уменьшаться. Оспа, оленья чума, корь, цинга, горячки застарелых и гнилых свойств должны со временем истребить это племя. Оно упорно держится за старые обычаи и не хочет, по примеру лопарей, сближаться и сливаться с русским племенем.

Русские лет уже около пятидесяти крестят самоедов, строят им церкви — постоянные там, где попрочнее сидят самоеды (как на устьях Печоры и на острове Колгуеве), и вывозят в тундру походные церкви; но самоеды упорно стоят за язычество. На шее носят крест, чтобы показывать начальству, а за пазухой для себя — деревянные чурочки богов, грубо сделанных наподобие человека. Таких же божков они становят у снастей, настороженных на пушного зверя, и при счастливом лове тычут им в рот кусочки оленьего мяса; при неудаче — бьют и секут прутьями. Этого бога бросают, вместо него режут нового. На острове Вайгаче имеется каменный чурбан, который всем самоедским народом почитается за великого и главного бога. Насколько мрачна природа тундры, а с нею и от нее и жизнь самоеда, настолько же мрачен дух этого народа и столько же мрачна его вера.

С темною верой в злую силу умирает самоед равнодушно, не сожалея о прошлой жизни, не скучая о том, что не удается еще помаячить. Иньки одевают покойника в лучшую одежду и выносят не в дверь, а через нарочно прорванное отверстие из чума. Кладут его в яму (ухватясь за голову и за ноги) вместе с вещами, которые прежде испортят: нож иступят, хорей, которым покойный погонял оленей, разломают на части, чашку, из которой он любил пить водку, разобьют. Все это засыпают землей и на кургане убивают оленя, которого любил умерший и на котором привезли его тело к могиле. Рады все самоеды, когда убьют оленя сразу, считая это добрым предзнаменованием...

Жизнь самоедки еще печальнее. На ней лежат все тяжелые работы: она и за стряпуху и за швеца. Целый день она нянчится с ребятенками и, выходя за сбором подаяния, за пазухой и за спиной таскает их с собою, как вьючная лошадь. Пьяный муж ее больно колотит и всегда охотно обмеряет чаркой. Женщина у самоедов почитается существом нечистым: в чуме она не смеет шагать через постель и одежду мужа; в дороге — через лежащую вещь. Беременную иньку все племя почитает поганою; богатый муж на все время девяти месяцев выгоняет ее в особый чум, но и бедняк отгораживает ей особый угол, который и зовется «сямяй-мядыко», то есть поганый чум. Муж даже может совсем бросить жену и взять другую, возвратив только старому тестю то количество оленей, которое взял в приданое. Вот, может быть, почему самоедка любит принарядиться и распашную паницу свою украшает пестро и нарядно. По всем швам она обшивает ее разноцветными суконными лоскутками и на покупку их тратит самые заветные свои вещи. Подол паницы оторачивается песцовым и беличьим мехом и разноцветными суконными

кусочками, даже на шапке и на пимах торчат разноцветные суконные лоскуточки.

Рассказавши про жизнь самоедов, мы рассказали и про сибирских *юраков*, которые, живя по соседству рек Таза и Енисея, пропитываются летом ловлею рыбы, а зимой бегают на лыжах по тундре за пушными зверями. Сибирских самоедов разделяет Обская губа на две половины: Каменную и Низовую. Каменная самоядь, или карачеи, через проходы в Уральских горах находятся в сношении с печорскими самоедами...»

Был прекрасный день в моей жизни, когда и мне довелось побывать у ненцев.

Где-то в тундре, где-то за горизонтом, за озерами, за карликовыми лесами, сказали нам, живут ненцы. Где-то там ходят стада оленей и стоят берестяные чумы. Они стоят в безмолвии, среди озер и ручьев, под светлым ночным небом. И когда ненцы, напевая слабыми голосами песню, уплывают в ночь на озера за рыбой, то, наверное, выходят их провожать собаки, и сидят потом на берегу, и, насторожив уши, смотрят и нюхают...

Тундра ровна и беспредельна. И мы под жарким, удушающим солнцем идем по ней, как по Африке. Горят леса в стокилометровой дали, и дым от пожаров растекается по всей долине, по мху и по рекам, переваливает невысокие угорья вдоль берега моря и простирается дальше в море, и, кажется мне, уходит к полюсу.

Мы идем в голубоватом мареве, струящемся по блеклой тундре, по сухому, хрустящему под ногой мху, мимо мертвых озер с торфяными берегами. Мы входим в низкий лес. Это не наш веселый шумящий лес, это что-то покорное, окаменевшее. Такие деревья бывают в театральной бутафорской, ими подчеркивают сумеречность и дикость какой-нибудь мифической преисподней. Здесь стволы их еще скручены в узлы и пригнуты к земле. Вековые мучения видны в каждом утолщении и в каждом изгибе.

Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стукают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается легче.

Попадается много вереска — островками растет он, плотен и жёсток, и цветет сиреневым дымом. Кочки по сторонам покрыты красным, желтым и синим — везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, собираем морошку, сок которой янтарей и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.

Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются

крикливые тундровые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.

Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать карбас, который должен где-то здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает.

— Глубоки у вас озера? — спросил я как-то в деревне.

— А мы их, прости за выражение, не мерили! — отвечали мне.

И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся на восток, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его будто уложены человеком — один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой, как щупальца спрутов.

Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит еле заметная тропинка. Отсюда нужно тащить карбас волоком по узкому каменному перешейку... Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда перетаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу[18].

— Ненецкая рюжа, — говорит один из ребят-проводников.

— Ихняя, — подтверждает другой.

В этой рюже видится мне внезапно признак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека — в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.

Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая и всплескивая сапогами по воде, и между камней, вырастающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменистый мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.

— Вон чумы!

Мы вздрагиваем, оборачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса чуть

светлее по тону, чем берег.

Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега. Но на одном из них, самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума — вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде кроме как здесь.

Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят — вон зубчики леса! — так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную, и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда...

— А-а-а-а... — проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне.

Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не поймем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки.

— Аркадий Вылка это! — решают наконец проводники.

— Чего он?

— Увидел нас, зовет, чтоб мимо не прошли.

Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумеречное восточное небо, чумы все ближе, и, когда в перерывах между гребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх — сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок — пожиже, попрозрачнее — из среднего чума.

Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, тянем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегаются, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки — старые и совсем щенята с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.

— Здравствуйте!

— Нгань дорово! Здравствуйте!

Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.

Вот чумы и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегает на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это? И мы смотрим, потому что светло и все видно.

Аркадий Вылка не похож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинны и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой, и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем шлеме с отверстием для лица он похож на бедуина. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, глядя в землю, и молчит, будто знает все на свете.

А Петр Вылка — брат его — крепко сбит, низок и кривоног. Стремителен, хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные звуки, когда кричит он вдруг на собаку:

— Гин! (Пошла прочь!)

И втягивает потом с давящимся хлюпаньем воздух.

Сидят возле нарт или встают за чем-нибудь еще двое, столь же резко очерченные, такие особенные и не похожие ни на кого в мире: Алексей Назаров и Николай Горбунов. Один — пожилой, с поднятыми вверх внешними углами глаз, с кустистой бородкой, разговорчивый, веселый и любопытный. Другой молод и крепко попирает землю, налит чугунной силой, белозуб и, наверное, особенно лаком, особенно вкусно пахнет — комары облепляют его пуще всех, но он не замечает их.

Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них розоватые, цвета неспелой клюквы.

Вон чумы, составленные из длинных жердей и обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты — длинные, легкие, с полозьями, будто покрытыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные, с длинными печальными глазами и бархатными рогами.

Между нарт валяются во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль.

Ребятишки, как привидения, вырастают из-за чумов, жадно рассматривают меня — сначала один, постарше, тут же возле него появляется другой, поменьше, потом еще и еще, и глаза их одинаково горят любопытством, а потом к ним на четвереньках прибавляется совсем уже крошечное существо и тоже смотрит туманным взглядом.

На горизонте, из-за угорьев показывается широко-плоское пятно немного бурее по цвету, чем тундра. Оно шевелится, вытягивается и сжимается, растекается шевелящейся полосой по всему горизонту. Это олени.

Они ждут своего часа.

Запряженные по четыре в нарту, они помчатся, хрюкая, в снежную беспредельность. Над ними будет вздыматься тонкий хлыстообразный хорей, а нарты с грузом или людьми будут обсыпаться снегом, наклоняться и переваливаться на сугробах. Много сотен километров предстоит пробежать этим оленям, и многие дали обволокут их и заглянут им в глаза. А другие упадут под ножом, и кровь их напитает мох, мясо их сварится в чуме, и много малиц и унтов наделают зимой из их шкур.

Но это исполнится не сейчас. А теперь они свободны и ходят в тундре, окуная ноздри в мох, и могли бы уйти совсем, далеко на север, к океану. Они могли бы стать дикими, чтобы мчаться по угорьям и замирать на вершинах, озирая пустыню. Но чумы держат их, человек зовет их, и зов этот во сто крат сильнее зова тундры. Олени придут к людям и станут нюхать дым костров. Они идут. Шевелящееся пятно все ближе...

Ненцы кончили починять нарты.

— Ну, ребята, чай пить будем дак!

И между нарт, между собак и лежащих оленей мы идем к чуму Вылки. Нагибаемся и входим по очереди и сразу начинаем разуваться на мягких шкурах, снимать куртки и свитера. В чуме сумерки и верхний свет. В чуме гудит железная печь, рыба благоухает на ней и чайник кипит, и труба поднимается к дыре наверху, к той дыре, в которую когда-то выходил дым от очага, а теперь льется свет белой ночи.

Садимся пить чай на шкуры за низкий столик. Жена Вылки, как в хорошем доме, накрывает на стол. За нашими спинами подушки. Рыба вкусна. Чай душист и крепок. Главный разговор, как у московских таксистов, — про погоду. Но здесь погода не просто приятная или неприятная, здесь она, как и у рыбаков на море, определяет ход жизни.

Больше месяца в тундре жара. Мох высох. Олени болеют копыткой, тощают и вот-вот начнут падать. В тундре нет тени и некуда деться от солнца. Даже ночью над лежащим оленьим

стадом поднимается пыль от дыхания.

Из чума виден печальный, больной олень.

— Как будет по-вашему олень? — спрашиваю я.

Ненцы смеются.

— Ты.

— А тундра?

— Вы.

Ты и вы.

— А озеро?

— То.

Взгляд мой падает на мальчугана, совсем беловолосого, примостившегося на колене отца.

— А ребенок?

— Ацак***ы***.

В чум, пожимаясь, пробирается собака, садится, молотит хвостом, сладостно смотрит на нас. За ее спиной на светлой полосе озера торчат уже уши другой...

— Гин! — кричит Вылка.

Собаки сконфуженно исчезают.

Печка остывает, хозяева вежливо позевывают. Нам стелют шкуры у стены, кладут подушки, опускают полог от комаров. Ноги советуют спрятать под пушистое собачье одеяло. Хозяева устраивают себе точно такую же спальню на другой стороне чума.

Плачет ребенок. Его укачивает мать, быстро говорит что-то переливающимися звуками по-ненецки. Ребенок смеется. Потом затихает в теплой темноте, за пологом.

— Спокойной ночи! — говорят ненцы-гости и бесшумно выходят из чума.

В чуме остаются только хозяева.

Ночью я просыпаюсь от глухого топота и хрюканья. Чумы окружены оленями. Медленно, но неуклонно двигались они сюда из тундры и вот пришли и легли — тысяча оленей, темных и белых.

И еще раз я просыпаюсь под утро от волнения за стенами чума, которое передалось и мне. Топот так силен, что дрожит торфяная земля, и слышно сквозь этот топот, как бархатно сталкиваются рога взволнованных чем-то оленей. Что с ними? Приснился ли всем сразу страшный сон? Или подошли близко волки?

Третий раз я просыпаюсь от солнца, дымным косым столбом бьющего в распахнутый чум, и от крика снаружи. Ненцы ходят среди оленей, расталкивают их, осматривают их копыта. Трещит и наполняет все вокруг жаром затопленная печь. Низенький столик вынесен наружу, готовится общее утреннее чаепитие. В

глазах рябит от множества оленей вокруг, от множества огромных блестящих круглых глаз. Но как измучены эти олени, как впали их бока, какой нервный ток пробегает по ним, когда кусают их оводы! Рога их разнообразны — от простых шишечек, покрытых черным пухом, у молодых, до великолепных, со многими отростками, у стариков. Внизу светло-буро-черная шевелящаяся масса тел, а выше неоглядное переплетение рогов — будто карликовый лес.

Уже нет вчерашней некоторой таинственности, при свете солнца все обыкновенно, понятно и будто давно знакомо. Будто мы много раз бывали у ненцев, жили среди них, слышали каждый день хрюканье оленей, говорили о пастбищах, о кочевках, о падеже и о проценте сохранения молодняка.

Садимся пить чай. Пьем, обливаясь потом, на жаре, под солнцем, и чем больше пьем, тем больше хочется.

— А можно белого оленя посмотреть поближе?

— Можно! — говорит Вылка и поворачивается к мальчишке. — Тэ хань сэрако тым тэвра! (Сходи в стадо за белым оленем!)

Мальчишка радостно бежит, скрывается в стаде, распихивает бурых, находит белого оленя и выводит его.

— Таля! — кричит ему Вылка. — Иди сюда!

Мальчишка тащит к нам оленя.

Белый олень крупнее темного и сильнее. Он дрожит всей кожей, по крупу у него пробегают волны.

— На оленей в нартах хотите посмотреть? — спрашивают нас.

Разумеется, мы хотим. Тогда среди чумов начинается оживление. Достают упряжь, бегут к стаду, олени вскакивают, шарахаются, черных толкают в бока, чтобы не мешали, ловят только белых.

Через десять минут четверка оленей запряжена в нарты. Вылка стоит с хореем, выжидательно смотрит на нас.

— Пускай! — кричим мы.

Вылка падает в нарты, олени рвутся, нарты со свистом летят по мху, ненцы хохочут. Вылка потягивает оленей хореем, направляя по громадной дуге, нарты подскакивают на кочках, Вылка, выбросив ноги в стороны, балансирует, отталкиваясь пятками от земли, скрывается вдали за стадом. Потом показывается опять и летит уже к нам — олени легко перебирают ногами, рога их закинуты к спине, ноздри раздуты. Они ослепительно белы под солнцем, как снежное чудо. Когда смотришь на них, становится будто бы прохладнее.

А еще часа через два мы прощаемся, нас зовут в гости зимой, выходят с нами вместе, на берег, мы налегаем на карбас,

сталкиваем его в воду, вскакиваем, умащиваемся на веслах...

Поднятые руки, невнятные прощальные крики, свежий ветерок, а ненцы, и олени, и чумы отдаляются, отдаляются, и с этим ничего не поделаешь.

Целый день потом мы гребем по озерам, купаемся, бредем тундрой, рвем морошку и чернику, проходим опять мхами, болотцами, карликовым лесом — все время лицом к солнцу, к морю.

Даль между тем затягивается дымкой, мы думаем о пожаре в лесах, но это не пожар, это наползает с моря туман, заволакивает солнце и дышит холодом. А к вечеру приползают и тучи, и ночью уже идет дождь, значит, конец душной муке! И мы все время вспоминаем ненцев и оленей, воображая их радость дождю.

А через четыре года на зверобойной шхуне «Моряна» я собрался идти в Карское море на промысел белухи. Как забилось, как заныло мое сердце, когда я узнал, что шхуна наша зайдет на Новую Землю!

За Каниным Носом началась качка. Волна была не слишком крупная — баллов в шесть-семь, но «Моряну» валило усердно, и с боку на бок, и с носа на корму. Все дерево шхуны, все ее шпангоуты, переборки, балки, палуба — все скрипело и трещало, двигатель однообразно напряженно гудел, винт клокотал за кормой, и все кругом было наполнено разнообразными звуками: свистел ветер в мачтах и вантах, бухали в скулы волны, шипела проносящаяся по палубе вода — и я, сидя ли в каюте, стоя ли на ходовом мостике или в рубке, все чаще ловил себя на том, что вслушиваюсь в эти скрипы, гудение и шипение и уже различаю в них отдельные согласные хоры и даже отчетливо слышу мелодию и голоса поющих как бы с закрытыми ртами — мощно и постоянно.

А по ночам, глядя на малиновый солнечный круг на переборке (низкое солнце светило в иллюминатор), на раскачивающуюся на вешалке одежду, я вспоминал картины Тыко Вылки, которые видел в Архангельске, и старался представить себе Новую Землю.

Мне почему-то воображалась тишина, прозрачные ручьи, водопады, низвергающиеся из-под ледников, тундровые озера, дымок от костра, летящие вверху, освещенные ночным солнцем гуси... И старые каменистые могилы с истлевшими, повалившимися крестами, развалившиеся избушки — слабые следы жизни полярных исследователей на этом диком острове.

Как же жил там долгие десятилетия неведомый мне Тыко Вылка, как находил он поэзию на этой бедной земле, в этом поистине ужасающем вертепе ледяной стужи и мрака?

Первый лед нам встретился при подходе к семьдесят первой параллели. Он появился на северо-востоке и дал знать о себе сначала странной окраской неба, а потом едва уловимой белой полоской на горизонте. Через полдня на нас уже надвигались и окружали со всех сторон первые льдины. Они были небольшие сперва и походили издали на стаю лебедей. Подводная часть льдин, когда мы проходили близко, просвечивала сквозь воду необычайной голубизны. А какие фигуры можно было увидеть над водой! Одни льдины были похожи на гриб атомного взрыва, каким его изображают на плакатах, другие — на притаившегося белого медведя, третьи были как застывшие кучевые облака. Качка совершенно прекратилась, и вода в разводьях стала как стекло. На дальних льдинах спали между торосами морские зайцы. То и дело по сторонам высовывались нерпы, глядели на нас во все глаза, а когда, наглядевшись, ныряли — медленные круги расходились по воде.

То ли будет еще на Новой Земле, думал я, какая там рыба в реках, сколько дичи, может быть, увидим диких северных оленей или белых медведей...

Но до Новой Земли мы так и не дошли тогда, не ступили на берег. Чем ближе подходили мы к земле, тем гуще и крупнее становились ледяные поля. Черные морские утки бесконечными цепочками тянули в разных направлениях над этими полями. В губе Саханиха шхуна наша уже с трудом пробиралась узкими разводьями, пока наконец в километре от берега не уперлась в сплошной паковый лед.

Нам открылись черные скалы в прожилках ледников с робкими зелеными пятнами мха на южных склонах. Когда заглушили двигатель, настала такая тишина, лед был так первозданно бел, а скалы вдали так зловещи и безжизненны, что мне, так же, как и академику Бэру за сто лет до этого, показалось, что жизнь на земле еще не начиналась.

Двое суток простояли мы в ожидании — не начнется ли подвижка льда, не погонит ли его от берега... Потом как-то сразу подступил туман, и это было тем более дико, что небо по-прежнему сияло голубизной, берег скрылся, мы повернули и пошли в Карское море.

Целый месяц потом стояли мы в заливе, километрах в пяти от тундрового берега, и почти каждый день с мачты, из бочки раздавался радостный вопль вахтенного матроса: «Белуха идет!» — и начинался топот по палубе, мгновенно спускались на воду катера, и начиналась охота на белуху, азартная, дивная, но и отвратительная все-таки...

В безбрежном океане воды, неба и льдов маленькая наша

шхуна была единственным организованным, созданным людьми существом среди доисторического мира. Никогда не забуду, как меня отвезли на охоту на дальнюю льдину и уехали, и все смолкло, и я остался один. Такое вдруг беззащитное одиночество полоснуло меня по сердцу, что я даже в разгаре охоты, когда утки валом валили на меня, нет-нет да и оглядывался, чтобы увидеть крошечную точку шхуны на горизонте, как бы висящую в воздухе.

Но вот на одном из тундровых холмов, среди пятен снега появились два чума, и по вечерам в тихую погоду хорошо было видно в бинокль, как струятся над ними дымки. Несколько дней мы собирались к ненцам в гости, наконец собрались, спустили катер и поехали.

Лохматые собаки яростно встретили нас и, побрехав, с удовольствием помахивая хвостами, побежали впереди, как бы показывая нам дорогу. Несколько белых оленей лежали возле чумов. Там и сям разбросаны были нарты, какие-то тюки, рваная оленья упряжь, и вялилась на кольях рыба. Кое-как залатанные ветхие чумы испускали дым изо всех своих щелей. При виде нас поднялись с нарт два ненца, до сих пор сидевшие неподвижно, подошли, попросили закурить. Долго разглядывали нас красными щелками глаз. Потом один из ненцев, откашлявшись, спросил с надеждой:

— Шпирту привежли?

— Шпирту? Зачем тебе шпирт, нету у нас шпирту! — быстро, с неудовольствием сказал ему наш стармех Илья Николаевич.

— А-а... — протянул ненец и пошел к нартам.

Я попробовал заглянуть в дымное чрево одного из чумов. Там, спасаясь от комаров, молча сидели ненецкие женки. Лиц их я разглядеть не мог.

Я отошел немного и присел на теплый мох. Комары облаком висели надо мной. Нестерпимое летнее солнце заливало тундру светом. Вдали паслись олени. Блестели озера. С океана едва слышно потягивало ледяным ветерком. Тишина, покой... На сотни километров ни в ту, ни в другую сторону не было ни становища, ни какого-нибудь поселения. Разве вот такие чумы да редкие фактории...

И опять пришел мне на ум Тыко Вылка и его жизнь, его юность, его дела — не здесь, а севернее, на Новой Земле, шестьдесят лет назад!

Но что же представляет из себя эта Новая Земля, на берег которой мне так и не довелось ступить? И каково там было жить, если десятки путешественников, посетившие ее в свое время или, в крайнем случае, перезимовавшие на ней, получали потом не только прижизненную, но и посмертную славу?

Трижды посещал Новую Землю Вильгельм Баренц. Он и умер на ней, у мыса Ледяного. Дважды побывал на Новой Земле знаменитый мореплаватель Генрих Гудзон.

В XIX веке на Новой Земле побывали Лазарев, Литке, Пахтусов, Норденшельд и множество экспедиций. В начале XX века исследованием Новой Земли занимались Г. Седов и особенно В. Русанов.

Все они, описывая потом свои посещения Новой Земли, рисовали картины мрачные. Нормальная человеческая жизнь и деятельность на Новой Земле представлялась им невозможной. И Новая Земля, открытая новгородцами еще в XI веке, до последней четверти XIX века оставалась необитаемой.

Из года в год приезжали на Новую Землю русские промышленники и, добыв какое-то количество зверя, торопились уехать домой. Древние избушки разваливались и гнили. На их месте ставили новые дома, но дома эти, как и пятьсот лет назад, служили временным пристанищем для зверобоев.

На Новой Земле за восемьсот лет не родился ни один человек. Новая Земля не слыхала никогда детского смеха или плача, никогда не хранила детских следов на своем снегу или на морских своих отмелях. Только кровь зверей проливалась на ней, только кресты из плавника воздвигались над каменистыми ее могилами.

Лишь в 1877 году в становище Малые Кармакулы на Новой Земле было основано первое *постоянное* поселение ненцев. Всего 16 ненецких семей жили к исходу XIX века на Новой Земле. Для них выстроена была православная церковь, открылась школа, приехал фельдшер и, наконец, устроена была первая в Заполярье станция Общества спасания на водах.

Ненцы жили по-прежнему в нищете, в долгах, их по-прежнему спаивали и обирали все кому не лень, но худо-бедно ли, а Новая Земля была отныне их домом, а для детей их — и родиной!

Одним из первых поселенцев на Новой Земле был отец Тыко Вылки — Ханец. Вот рассказ Вылки о своем отце.

Ханец Вылка был бедняк и работал у богатого оленевода пастухом. Он жил вдвоем со старухой матерью. Старуха мать была слепая. Слепая мать не могла шить. За шитье одежды, за починку пимов брали с них дорого. Богатые оленеводы плохо обращались с Ханецом: оленей всех у него забрали, и осталось у него всего с десяток оленей.

Когда Ханец остался без оленей, богач бросил его на Югорском Шаре с матерью, без продовольствия. Один только Лаптандер Хохрома помогал ему едой, дал ему ружье. У самого Хохромы тоже много оленей не было, триста оленей было.

Однажды весной Хохрома к ним приехал, мяса, шкур привез, пороху и свинца пуль на десяток. Он сказал:

— Я дам тебе карбас. Ты здесь без еды пропадешь. Тебе надо ехать на Новую Землю. Карбас теперь у тебя есть, как-нибудь почини и поезжай. На Новой Земле будут колонисты. Тебе нужно туда записаться, — так сказал Хохрома товарищу.

Ханец Вылка долго не женился. Девушки за него не шли: очень бедно он жил.

Всю весну жил он около поселка на Югорском Шаре, промышлял нерпу, шкуры сушил и продавал за порох и свинец.

Однажды к поселку подошел путник. Он увидел чум, остановился и говорит:

— Ханец, как ты сюда попал?

Ханец сказал:

— Я давно приехал, меня здесь оленщики оставили. А теперь я хочу ехать на Новую Землю. Хохрома дал мне карбас. Мне теперь нужен только помощник.

Пришедший был Хыльтё Вылка. Он рассказал:

— Меня тоже оставили. Оленей у меня нет. Я работал у оленщиков. А как теперь буду жить, не знаю. У меня жена и сын, втроем живем.

— Заходи в чум! — сказал Ханец.

Хыльтё Вылка зашел в чум. В чуме слепая старуха варит нерпичье мясо. Хыльтё Вылка сказал:

— Тебя женить надо.

Ханец ответил:

— Невесты не идут, потому что уж очень плохо я живу. Хыльтё сказал:

— Нам нужно вместе жить, наладим карбас как полагается. Вместе поедем на Новую Землю. Где бы ни умирать — все равно.

Ханец сказал:

— Очень хорошо. А где стоит твой чум?

— Мой чум стоит за лесом недалеко... Завтра сюда перееду. У меня есть четыре собаки.

— Собаки на Новой Земле очень нужны, — сказал Ханец.

Прошел день. Хыльтё переехал к Ханецу. Поставили общий чум, стали жить вместе. Жену Хыльтё звали Хунгля, а сына — Халко. Ханец и Хыльтё очень подружились. Вместе охотились на нерпу. Убили одного морского зайца, разрезали шкуру на ремни, продали оленщикам. Купили мешок муки, пуль, за нерпичьи шкуры купили кремневое ружье и мешков. Из мешков сшили парус для лодки.

Снег весь растаял. Прилетели птицы, утки, куропатки. У Ханеца был лук, из которого он стрелял. Ханец был очень меткий

стрелок. Из лука он убивал уток и куропаток.

Весна прошла хорошо.

Однажды Хохрома снова приехал и привез мяса. Хохрома сказал:

— Ханец, ты нашел себе помощника. Теперь вдвоем-то вам хорошо. Поедете на Новую Землю. Там хорошо.

Хохрома дал пороху и свинца на десять пулек. Он сказал:

— Ну, теперь прощайте. Живы будем, так, может быть, увидимся.

Хохрома уехал. Ханец и Хыльтё прожили еще три дня. Погода установилась тихая. Ханец и Хыльтё нагрузили карбас и поплыли по направлению к Вайгачу. Целые сутки гребут вдоль берегов Вайгача. Погода очень тихая.

На другой день прибыли в Карские Ворота. Остановились отдохнуть. Утром ветер подул с юга, попутный ветер на Новую Землю. Натянули парус. Две женщины край паруса руками держат. Временами волна заливает борта карбаса.

Впереди показалась Новая Земля. Поздно вечером доехали. Остановились у мыса Логинова. Ночь переночевали. Утром вперед поплыли. Доехали до острова Хусова. На острове ходят четыре диких оленя.

Пристали под крутым берегом. Четырех оленей убили. Олени жирные, сало толстое, мясо вкусное.

Мясо диких оленей очень хорошее! Ханец и Хыльтё оленьи желудки вычистили, кровью наполнили, мясо положили. Старухи едят сырое мясо и улыбаются. Одно говорят:

— Теперь мы живем!

Морских зайцев много, моржей много. На морской косе там и здесь лежат морские зайцы. На берегу в горах много диких оленей. Ханец и Хыльтё стали охотиться. Они говорят:

— Теперь надо искать русских: пушнину продать. На зиму продовольствия надо закупить. Говорят, что есть река Соханиха. Там, наверное, есть поморы-рыбаки. Надо туда торопиться, чтобы не ушли к себе на родину.

Поплыли в губу Соханиху. Приехали туда, там было одно судно. Поморы их встретили. Ханец и Хыльтё по-русски говорить хорошо не могли, но кое-как разговаривали, и поморы их понимали. Поморы сказали:

— Сюда приезжали Максим с Фомой. Откуда вы приехали?

— Мы с Югорского Шара.

— Что продаете?

Ханец указал рукой на карбас и сказал:

— Там. Мясо есть, нерпичье сало есть, ремни есть, шкуры есть.

Ханец и Хыльтё всю добытую пушнину продали, чего нужно было, всего накупили. Потом поехали еще дальше. Обогнули Черный мыс и вошли в губу. В устье губы, на скалах, гагарки много сидит. В Черной губе они стали зимовать. Губа застыла, хорошо живут. Нерпы много, морских зайцев, моржей. В горы (в тундру) не ездят.

Однажды Хыльтё поехал на охоту в губу Железнова. В конце губы увидал след саней. Поехал вперед, поднялся на холм. Видит чумы. Хыльтё поехал к чумам, про себя думает: «Что это за люди?» Из чума люди вышли, спросили:

— Откуда ты появился?

— Я из чума приехал.

Они спросили:

— Как ты приехал на Новую Землю?

— Мы приехали на карбасе.

У них оказался хозяином Марк-ижемец. Остальные все были ненцы: Ледков Алексей, Ледков Прокопий, Лаптандер Ирико, Тайбарей Нохоко. Они добыли много пушнины. На двух карбасах приехали. Один карбас был очень большой. Они приехали с Печоры.

Хыльтё поехал домой. Приехал и говорит своим:

— Сегодня я жителей нашел. На двух карбасах приехали с семьями.

Ханец сказал:

— Теперь хорошо. Жители, оказывается, есть. Не мы одни на Новой Земле.

Так они хорошо жили. Но вот подул ветер с запада. Пурга. На море волна больше стала. В полночь такая пурга задула, ничего не видно. Они спали.

Вдруг Ханец закричал:

— Вода в чум пришла!

Все вскочили на ноги. В чуме вода. На улице волна шумит. Всю ночь очи простояли на ногах. Все вещи развесили. Что можно из одежды, держали на плечах всю ночь.

Утром ветер стих. Вышли на улицу. Волны стали поменьше. На их счастье волной выбросило на берег огромную льдину. Это их спасло. Если бы не было льдины, их чум смыло бы в море.

Они поставили чум на более высоком месте. На Большой Земле они не имели понятия, что такое волна.

Пурга прошла. Снова поставили чум, уже на другом холме, куда волна не достигала. Карбас остался цел. Он был заведен в реку, и волна его не достигала...

Я приближаюсь наконец к дате рождения Тыко Вылки. Но когда он родился? Этого мы не знаем. Не знал этого и сам Тыко

Вылка. Последняя жена его, Марья Савватьевна, убеждена, например, что Вылка родился в 1876 году. Но этого не могло быть, потому что отец его приехал на Новую Землю холостым в то время, когда там уже жили колонисты, — значит, позже 1877 года...

Вот краткая автобиография Вылки, написанная им собственноручно. Я привожу ее с сохранением орфографии.

«Родился я на Новой Земле в 1886 году, это по паспорту, на деле на несколько лет раньше. Мне около 76 лет.

В детстве и юности жил я в чуме, а приходилось и в снежной яме, грязь, дым, никаких удобств.

Одежда и обувь были из оленьих шкур, белья не знали, не знали постельных принадлежностей.

Занимались мы охотой и рыболовством. Били морского зверя, белого медведя, песца, ловили рыбу гольца.

Меха и гольца ненцы сначала продавали скупщикам за бесценок, часто за водку и разные безделки.

Но боеприпасы всегда в первую очередь себе покупали.

Затем стали меха и рыбу вывозить от нас на рейсовом пароходе. Приезжали за ними представители канцелярии губернатора, от канцелярии нас снабжали боеприпасами и продуктами.

Но продуктов до следующего рейса не хватало. До марта были сыты, а там опять без хлеба сидели. Голодали часто, если зверя и рыбы не было. Бывали дети помирали. В 1902 году на реке Савиной вымерло шестеро ребятишек от голоду и холоду.

Особенно плохо пришлось нам в годы 1900 по 1907. Ружья у меня не было, стрелял я гусей из лука. Самодельный лук был. Стрелял метко. Хорошо видел, очков не носил, да и знал, что (если) не подстрелю птицу, то мы голодом насидимся.

В 1909, 10, 11 годах я проводником был у полярного исследователя, большого ученого и замечательного человека Владимира А. Русанова.

Изучал он историю Новой Земли, искал полезные ископаемые, исследовал пути в Арктику.

С ним прошли мы вокруг северного и южного острова Новой Земли.

В 1910 году зимой и до весны 1911 года жил я в Москве, учился там. Эту поездку устроил незабвенный мой друг Влад. А. Русанов. Приехал из Москвы я на Новую Землю и стал жить, как раньше жил.

В 1915 году стали строить в Белушьей губе новую большую церковь, привезли все строительные материалы.

Я сказал лучше бы построили несколько домиков для охотников плохо живем, один бог будет хорошо жить, помощи от этого никакой не будет.

Начальство очень разгорячился на меня, я испугался и удрал со всей семьей на Карскую сторону.

Там прожил до 1918 года, других поселенцев там не было. Пурги новоземельской не боялись, поставили чумок и живем, потом из плавника выстроил избу.

В 1920 году прибыл на Новую Землю ледокол «Святогор». Он был послан спасать другой ледокол «Соловей Будимирович». Соловей застряла льдах Карского моря.

Моряки со Святогора и рассказали нам, что в России новое правительство с народным комиссаром Лениным во главе. Они говорили что В. Ильич Ленин любит людей.

В 1924 году был я избран председателем островного Совета. Дали мне задание организовать артели для промыслов. Открыли

для нас новое становище, промысловые избы, моторные бота.

Открыли медицинские пункты, больницы, красные чумы и школу-интернат. По всем этим вопросам ездил я в Москву, докладывал в комитете малых народностей северного края.

Меня лично принял Михаил Иванович Калинин. Я был у него в кабинете. Скромно все у него было, а сам одет в гимнастерку и ремешок опоясан.

Сказал он мне золотые слова: никогда не отрывайся от народа, всегда служи ему, народ тебе поможет, работы не бойся, организуй артели, тогда будут у вас моторы и дома.

Сейчас на Новой Земле новые фактории, 55 промысловые дома, 6 медпунктов, больница, красный чум, клуб на 100 человек, электросвет, кинокартины, школа-интернат на 100 человек, квартирные дома учителям, почтовое отделение.

Раньше ненки помирали во время родов, не было помощи, а нынче есть у нас матери-героини по 6, по 8 детей выращивают. Новая Земля полна детишек, Новая Земля стала многолюдным и веселым островом.

Мой народ выбирали меня председателем островного Совета 32 раза подряд.

Заботился я о народе, старался выполнить указания Михаила И. Калинина.

Старость моя обеспечена, мне назначили персональную пенсию республиканского значения. Строят мне дом. Когда я жил снежных ямах, капли ума не было. Старости буду жить хорошей жизни.

Хорошо приняли меня в Архангельске.

Благодарен за все.

Выбирайте в Советы хороших людей.

Коммунистов и беспартийных.

Желаю успехи работы благо нашей Родины».

К сожалению, это все-таки не автобиография в полном смысле слова. Судя по заключительным фразам, это, скорее всего, конспект выступления Вылки на своем юбилее. Или на очередных выборах его в председатели Совета.

Но как ни мало известно о жизни Вылки — целые годы его проходят как бы в небытие, — все-таки жизнь его можно разделить надвое: первая половина — путешествия, занятия живописью и географией; вторая — преимущественно общественная деятельность, хоть живописи и тут находится место.

Не думаю, чтобы Вылка занялся живописью с детства, с ранней юности, не было первого толчка, да и не до того ему было. Зимой ненцы промышляли оленей на юго-восточном берегу

Новой Земли. Становища свои они покидали в январе. Уложив снаряжение и имущество на нарты, запряженные собаками, они шли пешком до тех пор, пока не попадали в богатые охотничьи угодья. Мужчины охотились, женщины вели хозяйство. Пищу готовили на огне, разведенном прямо в чуме.

Кроме оленей, ненцы били морских зайцев, тюленей и моржей и ловили в капканы песцов. На морского зверя начинали охотиться еще в сентябре, разъезжая по заливам на карбасах и стреляя показавшихся из воды зверей. Попутно били белых медведей.

Весной и летом ненцы промышляли гусей, чаек, гаг, чистиков, лебедей...

Так, вместе со всеми, жил и Вылка, пока в 1900 году не появился на Новой Земле художник А. Борисов.

Я и раньше сомневался в том, что Вылка — самоучка, что он пристрастился к рисованию, не имея перед собой никакого примера.

Вот что рассказал по этому поводу племянник художника А. Борисова:

«Давно собирался я встретиться с этим интересным человеком, мне хотелось услышать от него, как он помнит художника А. Борисова. Проезжая как-то через Архангельск в родной Красноборск, я остановился в гостинице «Интурист». На всякий случай я поинтересовался у дежурной, не живет ли в гостинице Тыко Вылка? Какова же была моя радость, когда я услышал в ответ, что Вылка в гостинице жил, но ему показалось дорого платить за номер, и на днях он переехал в Дом колхозника.

В Доме колхозника я узнал, что Вылка только что ушел и что найти его, скорее всего, можно возле речной пристани.

Вылка действительно одиноко сидел на лавочке, смотрел на Двину и о чем-то сосредоточенно думал. Все в нем — поза, лицо — говорило о каком-то философском самоуглублении. Мне подумалось, что так сидеть и молчать может не каждый, что одинокое молчание Вылки — следствие большой, богатой событиями жизни, проведенной в северных просторах.

Жаль мне было нарушать его внутренний покой, однако, извинившись, пришлось сказать:

— Здравствуйте, Илья Константинович, я племянник художника Борисова, хочу с вами познакомиться и поговорить, у меня к вам есть вопросы...

— А как ты меня узнал? — несколько смущенно спросил Вылка. — По самоедскому лицу?

— Да нет, — сказал я, — по одежде: мне дежурная сказала,

что на вас темно-синий китель со светлыми пуговицами...

— А, так ты, значит, внучек художника Борисова?

— Не внучек, а племянник, — поправил я, однако в дальнейшем разговоре Вылка упорно продолжал именовать меня внучком.

— Помню, помню Борисова, молодой еще был, очень любил Новую Землю.

Было видно, что тема воспоминаний ему приятна. От былой внутренней сосредоточенности не осталось и следа. Вылка оживился.

О многом переговорили мы в тот вечер. Вспомнил Вылка, как снимали с плавучих льдов Борисова и его спутников. Было это 3 октября 1900 года.

— Мы в то время несколькими чумами стояли на Карском берегу. Слышим, с моря выстрелы. После сквозь туман различили людей. Мой отец с другими самоедами взяли карбас и через несколько часов всю борисовскую группу доставили на берег...»

Вылке в ту пору было примерно 18 лет. Оказалось, с Борисовым он встретился уже второй раз. Первый раз он его увидел в 1896 году на Маточкином Шаре (это был первый приезд Борисова на Новую Землю). Об этом писал и А. Борисов в своем очерке «На Новую Землю»: «Какая прихотливая игра судьбы! Это были мои старые знакомые. Еще в 1896 году я жил с ними на Маточкином Шаре».

Таким образом, Вылка еще лет с четырнадцати познакомился со всем, что обыкновенно окружает художника: мольберты, этюдники, кисти, краски, холст... Он наблюдал, как пишутся этюды и картины. Все это, как признался мне Вылка, сильно подействовало на его воображение. Мог ли он после увиденного удержаться от искушения самому попробовать что-то писать? Конечно, нет! Возвращаясь в 1896 году с Новой Земли, Борисов оставил ему бумагу и карандаши.

Вот когда, по-видимому, и началось, если так можно сказать, приобщение к живописи Тыко Вылки!

Борисов со своими спутниками 31 октября 1900 года пешком добрался с Карской стороны до своего дома в Поморской губе. Продуктов питания, а также дров, керосина и прочего было припасено на два года для всего состава экспедиции. Условия быта в этом доме были прекрасные. Мало того что имелась хорошая мастерская для работы, были предусмотрены и меры против цинги во время длинной полярной зимы. В этих целях Борисов завез с материка двух коров с достаточным запасом сена.

После возвращения в свой дом художник немедленно приступил к работе. Уже 4 ноября он пишет углем портрет

Максима Пырерки с надписью «Праотец Новоземельский». А 11 ноября второй портрет, тоже углем — отца Тыко Вылки, — с длинной подписью «Самоед Константин (Ханец) Вылка, убивший на своем веку более 100 белых медведей». (Эти рисунки хранятся в Государственном Русском музее в Ленинграде.)

Оказывается, семья Вылки (а может быть, и другие семьи) ушла с Карской стороны вслед за Борисовым в Поморскую губу.

Всю зиму на 1901 год Борисов писал в своем доме пастелью и делал рисунки углем. Эта зима для Вылки и стала художественной «академией»: рядом с ним царила атмосфера творчества, он почти ежедневно мог наблюдать и ощущать ее. Замечу попутно, что в эту зиму А. Борисов написал целую серию портретов новоземельских ненцев, и вся она находится в настоящее время в отделе рисунков Русского музея.

5 сентября 1901 года экспедиция А. Борисова на пароходе «Пахтусов» вернулась в Архангельск. Покидая Новую Землю, художник снова оставил Вылке бумагу, карандаши и краски.

— Когда у меня кончилась бумага, — рассказывал Тыко Вылка, — я стал писать на обратной стороне оберточной бумаги из-под чая...

Борисов, таким образом, не столько научил, сколько приучил, пристрастил Вылку к живописи, к рисованию. Под влиянием Борисова проснулось в Вылке чувство понимания формы, цвета и композиции. Ну а дальше, как известно, год пребывания в Училище живописи, ваяния и зодчества у В. Переплетчикова и А. Архипова...

Но, может быть, Вылка действительно самоучка? Вот он пишет: «Однажды, это было в августе, я сидел у берега Карского моря. По небу тучи, облака ходят. Горы на воде отражаются. Куски льда плывут по течению. Я подумал: если бы умел рисовать, срисовал бы эти горы. Пошел в чум, взял бумагу, карандаш и начал рисовать. Три дня работал, кое-что написал».

Нет, не верится в это! Откуда бы взяться в чуме бумаге и карандашам? И потом эти художнические, профессиональные слова: «работал», «написал». Работа для Тыко Вылки в те годы состояла в другом: в многодневных, тяжелейших поездках на нартах или на лыжах, в расстановке капканов, в охоте, в разведении и поддержании огня, в устройстве чумов...

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Вылки, если бы не случилось роковое несчастье с его братом и Вылка не остался бы на Новой Земле навсегда.

А судьба его могла сложиться иначе: в 1910 году он уже жил в Москве, учился живописи у известных художников, выставлялся, о чем много писали.

«Осенью 1910 года, как-то утром, — вспоминает В. Переплетчиков, — пришли ко мне два незнакомых человека: один высокий, блондин, свежий, энергичный, живой, другой низенький, коренастый, с лицом монгольского типа. Это были: начальник новоземельской экспедиции, обошедшей летом 1910 года северный остров Новой Земли, Владимир Александрович Русанов, другой — самоед Тыко Вылка.

Тыко Вылка приехал в Москву учиться живописи. Он никогда не видел города, и вся его прежняя жизнь проходила среди северных ледяных пустынь Новой Земли.

Пока мы разговариваем с Русановым, обсуждаем план жизни и обучения Тыко Вылки в Москве, тот самым благовоспитанным образом пьет чай; его манера держать себя совсем не показывает, что это дикарь. Одет он в пиджак, от него пахнет новыми сапогами, и только когда он ходит, то стучит по полу ногами, как лошадь на театральной сцене. Ему приходилось в своей жизни больше ходить по камням, по ледникам, чем по полу...»

Как бы там ни было, в жизни Вылки должна была произойти большая перемена. Его не могли не заметить, ему не могли не помочь стать самобытным профессиональным художником или профессиональным же полярным исследователем — слишком талантлив, слишком заметен, слишком уж редкостное явление был он по тем временам.

Уже газеты печатают его биографию, уже его награждают и отмечают:

«В 1909 году Вылка участвовал в экспедиционном отряде В. А. Русанова, исследовавшего северный остров Новой Земли от Крестовой губы до полуострова Адмиралтейства.

В 1910 году Вылка входил в состав экспедиции Русанова, обогнувшей впервые под русским флагом северную оконечность Новой Земли.

За экспедицию 1910 года Вылка высочайше награжден нагрудной золотой медалью на Анненской ленте.

В 1910 году бывший архангельский губернатор И. В. Сосновский, принимавший в судьбе Тыко Вылки самое живое участие, имел счастье поднести Государю Императору альбом картин Вылки. Его величество всемилостивейше пожаловал Вылке пятизарядный штуцер системы Винчестер и 1000 патронов».

Проучившись зиму 1910/11 года в Москве, Вылка на другой год собирался опять ехать учиться. На Новой Земле он должен был использовать знания, полученные в Москве: написать за лето как можно больше картин, собрать зоологические и ботанические коллекции. Да, он далеко ушел от мальчика, жившего когда-то в снежной яме, он писал Переплетчикову:

«Его высокородие Василий Васильевич! Дорогой мой приятель! Ты учил меня, очень помню тебя. Жил с тобой, жил дружно. Желаю тебе быть здоровым, еще приеду к вам в Москву. Я ездил по Карскому морю, по Ледовитому океану.

Когда я пришел на Новую Землю, мне показалось скучно. Туман, холодно. Плывут снега в горах. Отец, братья все живы. Один двоюродный брат застрелился, попал патрон на огонь и убил его. Жена, дети остались...»

И Вылка женился на вдове, потому что, потеряв мужа-добытчика, она была осуждена на верную смерть вместе с шестью своими детьми.

Но не случись этого несчастья, не останься Вылка на Новой Земле, ненцы, возможно, никогда бы не узнали Вылку-учителя, Вылку — председателя, «президента Новой Земли».

Архангельский писатель Евг. Коковин подарил мне фотографию, на которой он снят вместе с Тыко Вылкой и С. Писаховым. У Вылки на этой фотографии круглое лицо, пухлые веки, старческие уже брови, широкий нос. Он в старомодных очках, и видно, что очки не к лицу, неудобны ему, режут переносицу.

Известна фотография и молодого Вылки. Там он большеглазый, с жесткой, густой щеткой усов, с густыми, черными, жесткими же волосами. Скулы почти не выдаются, глаза блестят, губы прекрасно вылепленные, несколько даже негритянские, лицо полно энергии. Лицо мужественного человека.

«Ежегодно подвигался он на собаках все дальше и дальше к северу, — писал о Вылке Русанов, — терпел лишения, голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалою, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А самоед без собак в ледяной пустыне — то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылка своей жизнью для того только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной, манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылка чертил карты во время самых сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твердой, как сталь».

Один современный журналист сердится на дореволюционных рецензентов, которые, оценивая картины Тыко Вылки, называли его «дикарем», «выдающимся самоедом», «уникальным явлением». И, как бы отвергая эти давнишние, покрытые уже пылью

восторженные оценки, журналист пишет: «Лишь те, кто хорошо знал и любил Илью Константиновича, говорят о нем без удивления, с теплотой и уважением».

Насчет «теплоты и уважения» я согласен, но почему «без удивления»? Как раз удивление, изумление — вот первые чувства, которые испытываешь, знакомясь с жизнью Тыко Вылки. Что же касается «дикаря», то и в этом слове я не вижу ничего обидного, оскорбительного для представителя тогдашних ненцев. И думаю, что человек, написавший это слово, отнюдь не хотел унизить Тыко Вылку. Это слово всего-навсего констатация факта, ибо кем же, как не дикарями (не в смысле низменной расы, а в смысле социальном), были тогдашние самоеды? Отношение царского правительства к окраинным народностям достаточно известно. А в данном случае вообще никакого отношения не было. Все добытое на острове вывозили норвежцы, вывозили за бесценок, за спирт!

Кстати, свой первый рисунок, за который ему заплатили, Вылка продал капитану какого-то норвежского судна, капитан дал ему серебряный рубль.

«Печальная картина на русской земле, — писал Русанов, — там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь легко богатеют норвежцы».

Нет, передовое русское общество горячо приветствовало талант Вылки. Его сразу и по достоинству оценили не только как художника, но и как человека.

«Вылка несомненно талантливый человек, — писал о нем В. Переплетчиков, — он талантлив вообще. У него хороший музыкальный слух и память. Он знает массу самоедских сказок. Интересуется механикой. Умеет управлять бензиновым мотором на лодке и знает его механизм. Очень интересуется электричеством, знает жизнь птиц и зверей на Новой Земле, и знает это не из книг, а по собственным наблюдениям; он интересуется ботаникой, в экспедициях познакомился с геологией и знает названия камней.

Он чуток и наблюдателен и всегда сумеет тонко подметить свойства и характер того человека, с которым имеет дело, и часто наблюдая его, это дитя природы, я видел, что он помалкивает, замечает и мотает кое-что себе на ус. В его определениях нашей жизни было всегда много юмора и наблюдательности. Как-то Вылка был в магазине Мюра и Мерилиза (теперешний ЦУМ. — *Ю. К.*).

— Понравился тебе магазин?

— Птичий базар! — отвечает Вылка, причем его монгольский глазок иронически прищуривается. Птичьим базаром в полярных

странах называют скалы, где гнездятся тысячи птиц, и шум от голосов этих птиц слышен за семь верст».

Одним из первых русских, который узнал Вылку, полюбил его, и подружился с ним, и неизмеримо много для него сделал, был знаменитый полярный путешественник Владимир Александрович Русанов.

Тыко Вылка родился приблизительно в 1880—1882 годах, значит, в 1907 году, когда Русанов впервые приехал на Новую Землю, Вылке было 25—27 лет.

Девятого июля, пишет В. Пасецкий, Русанов высадился в Поморской губе у западного входа в пролив Маточкин Шар. Здесь находилось небольшое поселение ненцев, среди которых Русанов надеялся найти проводника. Через несколько дней, прощально гудя, пароход покинул берега Новой Земли, и Русанов остался один. Теперь его уделом до конца дней стал Север. Он поселился в пустующем доме художника А. Борисова и прежде всего начал знакомиться с жизнью ненцев. Русанов к тому времени был гидрологом и геологом, прошел школу революционной борьбы, познакомился с царскими тюрьмами и ссылкой, окончил Сорбоннский университет и мечтал об открытии судоходства по Великому северному пути и об освоении Новой Земли.

А кем же стал к этому времени Вылка? Он прекрасно знал жизнь зверей и птиц, знал природу Новой Земли, ее климат, ее реки, проливы, заливы и горы. И еще он умел рисовать, рисовать наивно, по-детски, но тем не менее поэтически. Знал сказки и предания, помнил и видел десятки смертей в море, в бураны и от цинги... Во всем остальном душа его была подобна листу белой бумаги, на котором Русанову, фигурально выражаясь, предстояло начертать первые письмена.

Мария Савватьевна Вылка, последняя жена Вылки, рассказывала мне:

— Отец ему говорит: надо тебе жениться, поезжай на материк, выбери себе невесту. Вылка жениться не хотел, но раз надо — поехал на Печору. Сел на пароход, летом дело было, одет был в малицу худую, без штанов и босый. У него альбом был с рисунками, и он еще на пароходе рисовал. А там ехал какой-то человек. Жена его увидала рисунки, попросила альбом, а потом пригласила к себе с мужем в каюту. Каюта была первого класса. Сказала: «Молодой самоед, пойдем к нам!» А Вылка был волосами обросший, вот как сейчас ребяты ходят, волосы по плеч. Те попросили у него рисунки на память, он дал. Они с мужем подарили ему за это кожанку и штаны, а потом и ботинки. Говорят: «Постригись и старую одежду в море брось!» Он завернул малицу и пимы рваные, хотел в воду спустить, а потом

забоялся: «Брошу, а вдруг одежу назад заберут?» Потом все же набрался храбрости. Ночью всю одежду в море бросил. А потом смотрит — у него в кармане кожанки двадцать пять рублей золотых. Испугался так, что заснуть не мог. Наутро прибежал к тому человеку, вынул деньги и сказал: «Вы, наверно, забыли деньги из кармана взять?» А тот говорит: «Нет, это я тебе за твои работы подарил». А он столько денег в жизни не видал, а сам невесту ехал выбирать. Ну, приехал, кой с кем познакомился, говорит: «Мне надо невесту». Знакомая старуха говорит: «Сведу тебя, знаю невесту», привела к одной. Она, говорит, девушка хорошая, только у нее в середине червячок есть. Он испугался. «Мне, — говорит, — с червячком не надо». Ему говорят, что это потом пройдет, червячок не все время будет. А он не послушал и стал искать другую невесту. Нашли другую. Надо было ехать далеко за ней. Ехали долго. Доехали, а там уже в чумах живут. Зашли в чум и сели. И невеста вошла, села. Посидела и говорит: «Не пойду за тебя замуж, потому что ты ни одного слова со мной не сказал». И ушла. Так он и вернулся обратно без невесты, очень доволен был.

Таков был Тыко Вылка к моменту знакомства его с Русановым. В архиве мне удалось найти начало описания экспедиций с Русановым, сделанное Тыко Вылкой в старости.

«По окончании учебы в Париже Владимир Русанов возвратился в Россию и, не заезжая в Орел, к родным, поехал в Архангельск с целью посвятить свою деятельность Арктике.

Еще находясь в ссылке, Русанов читал книги об отважных мореплавателях, о зимовках их на Новой Земле. Теперь он сам увидел следы Пахтусова и Размыслова, их развалившиеся избы, побывал на могиле Якова Чиракина.

Русанов рассказывал мне: «Я, когда в первый раз прибыл на Новую Землю, очень был рад, что лично увидел следы русских мореплавателей Пахтусова и Размыслова». В это лето мне с Русановым не пришлось ходить, я уезжал. Русанов с Молчановым ходили по проливу Маточкин Шар на Карскую сторону. Проводником у них был Ефим Хатанзей.

В 1908 году Русанов вновь приезжал на Маточкин Шар, в бухту Поморскую и опять ходил на баркасе по проливу. Проводником его на этот раз был мой отец Константин Вылка. Они дошли до Незнаемого залива, оттуда пешком пересекли Крестовую губу и вернулись обратно.

Русанов приехал вместе с французами, в это лето и я ходил проводником, со мной на шлюпке был фотограф экспедиции Захар Виноградов.

Когда все мы собрались в бухте Поморской, Захар Виноградов

рассказывал, какие сильные случались ветры и как нашу шлюпку заливало волнами.

Захар Виноградов говорил Русанову: «На следующий год вам нужно будет взять проводником молодого Тыко Вылку, он хороший мореход, несмотря на то, что молод». Русанов обратился ко мне: «Ну как, Вылка? Захар Захарович тебя хвалит. В следующем году пойдешь со мной, будешь проводником нашей экспедиции. Пойдем вдоль западного берега Новой Земли. Как ты, согласен или нет?»

Я с радостью согласился поехать с Русановым. В 1909 году первым рейсовым пароходом Владимир Русанов опять прибыл в любимое место — бухту Поморскую.

Так я стал проводником Русанова. Моим помощником взяли молодого ненца Санко Вылку. Захватили две упряжки собак, шлюпку, на которой ездили вместе с Виноградовым, и большой баркас. Пароход нас доставил в Крестовую губу и оставил там. Мы с Русановым ходили сухопутным путем к Незнаемому заливу и обратно...»

Итак, Русанову посчастливилось (как и Вылке, в свою очередь): он познакомился, а затем и подружился с Тыко Вылкой, который оказал ему неоценимые услуги в исследовании Новой Земли.

Первое путешествие, проводником в котором был Тыко Вылка, Русанов совершил по проливу Маточкин Шар до Карского моря. «Пользующиеся такой известностью у туристов норвежские фиорды, — писал Русанов, — тусклы и бледны по сравнению с удивительным разнообразием и оригинальной яркостью форм, цветов и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива!»

В этой первой поездке на карбасе по Маточкиному Шару Тыко Вылка обнаруживает такие познания в топографии Новой Земли, что впоследствии из простого проводника превращается в полноправного участника последующих экспедиций Русанова.

Через год — в 1910 году — В. Русанов предпринимает на судне «Дмитрий Солунский» путешествие вокруг Северного острова Новой Земли. После Саввы Лошкина (XVIII век) он был первым русским, обошедшим Новую Землю с Севера.

Во время остановки у северной оконечности острова Русанов предпринял поход в глубь острова. Вместе с ним пошел Вылка. Они попали в места совершенно безжизненные. «Они бродили по голой равнине с редкими ручьями и озерами, — пишет В. Пасецкий со слов Русанова. — Не было ни уток, ни гусей, которые южнее встречались тысячами. Только маленькие кулички иногда стремительно проносились над водой, нарушая тревожным

писком чуткую тишину пустынного края. Растительности не было никакой. Тут нельзя было увидеть даже новоземельской ивы, которая встречалась в Архангельской губе и в Незнаемом заливе. Глаза не могли отыскать ни одного цветочка. Мхи и те встречались редко и всегда прятались между камнями. Оленьих следов не было видно, зато много встречалось медвежьих...»

Экспедицией была составлена новая карта Северного острова, более точная и подробная, чем существовавшие до того времени. Было открыто несколько новых неизвестных ранее островов, проливов, заливов и бухт. Многие из них уже ранее были нанесены на карту Тыко Вылкой.

«Во всех тех случаях, когда оказывалась возможность проверить на месте разницу между существующими картами и чертежами Вылки, результаты говорили не в пользу карт, а в пользу чертежей Вылки», — писал Русанов.

Но обратимся вновь к воспоминаниям Вылки. (Писал он в старости по-русски неуверенно, поэтому мне пришлось прибегнуть к стилистической правке.)

«Потом мы пошли на шлюпке до полуострова Адмиралтейства, шли на веслах, трудности нас одолевали, и пришлось вернуться назад в Крестовую губу.

К тому времени, когда нам нужно было возвращаться в Маточкин Шар, в бухту Поморскую, к нашему счастью рядом оказалась парусная яхта. Владимир Русанов договорился с капитаном яхты, к вечеру мы сели на судно и, хоть погода была неблагоприятная, вышли из Крестовой губы в море. Ночью поднялся сильный шторм.

Наше судно ныряло в волны, буря была такая, что я первый раз видел такое страшное море. Я был уверен, что до утра не доживем. Но с утра стало получше, я вылез на палубу, Владимир Русанов тоже вышел из каюты, говорит: «Тыко Вылка, не ходи по палубе, упадешь в море. Как у тебя Санко Вылка, жив ли?» Я сказал Русанову: «Ой, ой, как страшно!» Владимир Русанов сказал: «Мы с тобой много увидим еще таких штормов». Я ему ничего не ответил. Пришли в бухту Поморскую, и последним рейсом парохода Владимир Русанов выехал в Архангельск.

На следующий год Русанов прибыл на большой парусно-моторной шхуне «Дмитрий Солунский». На этот раз он сам был начальником экспедиции. На борту находились все члены экспедиции. Из бухты Поморской мы пошли на север к мысу Желания, чтобы обогнуть Новую Землю с севера. Заходили во многие губы и заливы. «Дмитрий Солунский» оставил нас у полуострова Адмиралтейства на большой шлюпке, а сам ушел в Архангельскую губу.

Шлюпка наша была моторная, но при спуске на воду был сломан гребной вал, и нам пришлось на веслах грести до Адмиралтейской губы. Испытав много трудностей, мы потом еле добрались до «Дмитрия Солунского». Несколько дней мы отдыхали в Архангельской губе, затем пошли дальше, к мысу Желания.

Когда вышли, погода была благоприятная. Шли под парусами. Немного прошли по Русской гавани, вдруг разбушевался сильный ветер, переходящий в ураган. Вода поднималась столбами, будто смерчи. Владимир Русанов говорит: «Какое полярное море сердитое! Недаром в старину так много людей гибло среди айсбергов». В самом деле, впереди нас плавали айсберги, оторванные от береговых ледников, и угрожали нашему кораблю гибелью.

Умело маневрируя, мы проходили между ними. Когда мы подошли к Оранским островам, ветер стих. На обеих мачтах «Солунского» подняли флаги. В. Русанов, восторгаясь успехом, сказал экипажу: «Сегодня мы находимся у самой крайней точки севера Новой Земли. Тут русской экспедиции до нас не было!»

«Дмитрий Солунский», ведомый Русановым, берет курс дальше. Ночью море закрылось, туман, тихо, утром матросы разбудили меня, говорят: «Вылка, почему половина неба белая, а где мы находимся — темная?» Я ответил: «Белое небо — это отражение сплошного льда а темное небо — это чистая вода». Вскоре мы вошли в сплошной лед.

Пробиться было нельзя. Пришлось вернуться к мысу Желания и постоять на якоре весь день. Быстро изменилась погода, подул ветер с запада, принесло много льда.

Принимаем решение: выходить с восточной стороны Новой Земли. Добираемся до ледяной грани, и опять дальше нет ходу: Карское море забито льдом.

Пришлось в ледяной гавани отстаиваться на якорях. Пока стояли, мы с Русановым съехали на берег поискать полезных ископаемых.

Вдруг видим — три оленя. Русанов говорит: «Давай убьем оленя, накормим команду свежим мясом». Я убил одного оленя. Русанов взял на плечи всю тушу и потащил на «Солунский», я нес только голову и шкуру. На другой день ветер изменил направление, подул с востока.

Льды начали надвигаться на берег. Мы быстро снялись с якоря и опять пошли к мысу Желания.

Стали на якорь. Потом бросили второй якорь, потому что подул неожиданный ветер с запада. Двое суток бросало нас из стороны в сторону, два якоря еле держали. На нас надвигалась

масса льдов. На четвертый день подул слабый ветерок с севера, и нам пришлось выйти на Карскую сторону.

Другого выхода не было. Продвигались между тяжелыми карскими льдами. Владимир Русанов круглые сутки не спал, все стоял на носу судна, а капитан Поспелов находился на мачте и высматривал разводья среди льдов.

Один раз путь нам прекратили тяжелые айсберги. Между двумя айсбергами оказался узкий проход. Судно могло протиснуться с большим трудом. Русанов сказал капитану: «Давайте их толкнем, от удара они, может быть, раздвинутся». Капитан Поспелов крикнул: «Полный вперед!» Машина заработала во всю силу.

Судно ударилось об айсберг, мы все упали с ног на палубу. Айсберги были выше нашего судна. В тот момент получилась страшная катастрофа. Айсберги потеряли равновесие, корнями повернулись вверх. Корма «Солунского» задралась высоко, и мы покатили носом вперед.

И тут же айсберги закачались сзади, мы были спасены!

Картина была очень страшная. Катастрофа для льдов.

«Дмитрий Солунский» еле двигался среди ледяных полей. Судно было большое, а сила мотора была всего 50 лошадиных сил. Между ледяных полей, в разводьях, по ночам замерзал тонкий ледок, на носу «Солунского» как стекло звенело.

Команда «Солунского» очень боялась зазимовать, боялась, что тогда нас унесет на Северный полюс. Многие плакали. Русанов говорил: «Не надо бояться, на нашем судне есть машина, хоть слабая, но все-таки мы идем вперед. Вы вспомните, какие вчера громадные айсберги мы победили. Может, у кого имеется гармошка, играйте, песни пойте, все забудете свой страх». Мы подошли к островам Пахтусова. Между островами береговой лед еще стоял неподвижно. Тут нас прижало к береговой кромке льда, команда не вытерпела, взяла винтовки, выскочила на лед охотиться на медведей, много ходит медведей.

Русанов кричит за ними: «Убейте хорошего медведя на жаркое!» Матросы убили двух медведей, притащили на судно, с отливом лед отошел от кромки, образовалась узкая полоса воды, мы поехали по этой канаве. Добрались до мыса Пятипальцева, «Солунский» зашел в бухточку, стали на якорь. Я сказал: «Печально здесь зазимовать, никто не напишет, а если и вспомнят, то не узнаешь». Русанов говорит: «Мы дальше пойдем. Когда я отбывал ссылку в Усть-Сысольске, то много читал о полярных мореплавателях, меня тянуло на север, как магнитную стрелку. И вот я пятый раз здесь и говорю тебе: Новая Земля будет хорошая земля!»

Мы с Русановым раскопали в одной очень старой, развалленной избушке кожаный документ, промыли и высушили, надпись читать было очень трудно, на углу документа был изображен какой-то герб. Владимир Русанов говорил: «Мы с тобой нашли находку, это пойдет в музей».

Мы пришли очень поздно, сели в каюте, остальные люди уже спали, Русанов сказал: «Как бы чайку попить». Он говорит: «У меня есть спиртовка для сухого спирта». Он достал баночку, зажег, поставил.

1945 г. И. К. Вылка».

На этом воспоминания Тыко Вылки обрываются. Что помешало ему продолжить? Мне кажется, напряженная, многообразная работа председателем — должность, которой он никогда, ни единой минуты не пренебрегал.

Закончив путешествие, тридцатого августа Русанов решает наконец привести в исполнение давно занимавший его план. В этот день он записывает в дневнике: «Вечер я пробыл у самоедов, пили чай, беседовали и окончательно решили, что Илья Вылка, сопровождавший нас в экспедиции, поедет со мной учиться в город».

По прибытии в Архангельск Русанов устраивает выставку картин Вылки. Выставка привлекла многочисленных посетителей. По единодушному мнению знатоков живописи, молодой ненец обладал недюжинным и самобытным талантом.

Затем вместе с Русановым Вылка едет в Москву и поступает учиться живописи к В. Переплетчикову. Русанов находит Вылке бесплатных учителей русского языка, арифметики, географии, топографической съемки, ботаники и зоологии.

«Он читает книгу природы так же, как мы с вами читаем книги и газеты; в экспедициях он незаменим как помощник и проводник; это живая карта Новой Земли. Человек он смелый, отважный, решительный; отличный охотник — бьет гуся пулей на лету», — так характеризует Вылку Русанов своим друзьям.

Тыко Вылка в восторге от Москвы. Новые его друзья не только учат его живописи, ботанике, математике и прочему — они наперебой показывают ему Москву, возят в театры, в музеи, на концерты...

«Люди хорошие в Москве, — писал он Переплетчикову, — очень хорошие, добрые! Ты мне как отец был, заботился, и хозяйка, где я жил в комнате, заботилась, и учителя заботились, и учительницы заботились. К Москве теперь привык, все знаю, как на Новой Земле. Театр люблю, музыку люблю, кинематограф люблю».

Вылка скоро освоился в Москве, усердно занимался

живописью и науками. Ему страстно хочется походить на европейца, он сшил себе модный пиджак, носит высокие крахмальные воротнички, пестрый галстук, завел себе плащ. Художник Архипов подарил ему котелок, в руках у Вылки — тросточка. В этом наряде Вылка по воскресеньям важно гуляет по Сухаревской площади и рассматривает старинные вещи.

Купив себе игрушечный пистолет, он пробкой стреляет по мухам у себя в комнате и таким образом удовлетворяет свою охотничью страсть. Мух он сначала называл птичками, ибо на ненецком языке нет слова «муха», потому что нет мух на Новой Земле. И только в Москве он узнал, что есть насекомые, которые называются мухами.

Но рядом с впечатлениями от новой, загадочной и увлекательной для него московской жизни постоянно присутствуют у Вылки в душе впечатления далекой родины. Иногда он тоскует и тогда рисует избу своего отца, рисует снеговые горы за избой, красный кирпич, сложенный у крыльца, рисует отца, брата...

Тогда из комнаты, где работает Вылка, слышны странные, тягучие, печальные звуки — это Вылка за работой поет самоедские песни: песнь войны, песнь охоты, песнь смерти. Эти необычные звуки переносят его своей тягучестью в далекие снеговые пустыни, в бесконечные полярные ночи, эти звуки тоски — прекрасны и музыкальны.

Во сне он часто видит старого отца, братьев, и, должно быть, у него мелькает мысль о смерти: доживет ли он до возвращения на Новую Землю? Снятся ему тогда вещие сны, будто он уже умер, и по утрам он в смущении рассказывает их Переплетчикову:

«Видел во сне, что сам помер, — испугался, жалко себя стало. Вижу, по лестнице народ на небо лезет: начальники лезут, дети лезут, бабы лезут, долез и я до верху, а мне и говорят: «Куда лезешь, ты еще не помер, после полезешь». Я обрадовался, назад полез, насилу до земли добрался, народ шибко лезет — не пускает. Очень рад был, что не помер!»

А и в самом деле, какая судьба ждала этого талантливого человека? Возможно ли было совместить такие две крайности, как европейский уклад жизни со всеми ее знаниями, со всеми ее удовольствиями от комфорта, ядом волнений и впечатлений — и жизнь на Новой Земле, где ночь тянется три месяца при свете северных сияний, где дует «всток» при пятидесятиградусном морозе и камни летят по воздуху от ветра, где тюлени выползают на берег послушать, если кто поет песню на берегу, так любят они музыку, и по ночам перекликаются во тьме человеческими голосами, и человеческими же голосами кричат и плачут, когда

их убивают самоеды-охотники, где природа цельная, гармоническая и нетронутая еще, как в первые дни творенья, и где, наконец, маленькая горсть людей отрезана от всего мира в течение девяти месяцев в году, где почти нет инфекционных болезней, где люди благодаря чистому полярному воздуху могли бы жить долго-долго на белом свете, если бы не умирали так рано от голода или от цинги, не тонули бы в море, не пропадали бы без вести в снежных буранах...

Худо-бедно ли, но пока судьба Вылки складывалась удачно! Можно себе представить, какие разговоры были у него с Русановым на следующий год, когда они опять вместе — в третий раз — отправились в новое путешествие, теперь уже вокруг Южного острова Новой Земли. И легко вообразить, как считал Вылка дни и оставшиеся до конца путешествия мили, потому что осенью он должен был опять ехать в Москву, продолжать образование.

Но роковое событие оборвало все его планы, в единый миг перевернуло всю его судьбу! Вернувшись на Маточкин Шар, он узнал, что погиб его брат. Слишком близко положил к огню заряженную винтовку, слишком разгорелся костер, винтовка раскалилась, грянул выстрел...

В сентябре Вылка прощался с Русановым, уезжавшим домой, и не знал, что прощается навсегда, не знал, что Русанов через два года погибнет в Карском море.

Не знал он также, что царский винчестер — этот символический императорский подарок — на долгие годы станет для него единственным источником существования. Не знал, что и золотая Анненская медаль тоже сослужит ему неожиданную службу — он ее обменяет потом в голодный год у норвежского шкипера на несколько килограммов масла...

В 1913 году Новую Землю посетил художник, учитель Вылки Василий Переплетчиков. Подойдя к становищу Белушье, пароход дает долгий густой гудок. На берегу поднимается восторженная пальба из ружей. Такой же пальбой берегу отвечает пароход. Якорь еще только ударился о воду, а к пароходу уже изо всех сил спешат карбасы. С прошлогоднего сентября новоземельцы не видели свежих людей. На Новой Земле давно говорили, что у них в году два праздника — рождество и пасха. Рождество — это первый рейс парохода, пасха — второй.

К пароходу подходит первый карбас. Тыко Вылка в плаще с медными застежками, в чиновничьей фуражке, но без кокарды, с золотой медалью на красной ленте важно и внушительно стоит среди карбаса. Он похож не на ненца, а на таможенного чиновника. Остальные ненцы в малицах.

— Здорово! — кричат с парохода.

— Здорово! — отвечают с карбаса.

— Ну, как промыслы в этом году?

— Плохо!

— Шкуры медвежьи есть?

— Немного есть!

— А песцы?

— Песцов не попадало! Ни одного нет!

— В становище здоровы?

— Одиннадцать человек померло!

— От цинги?

— Нет, от кори!

На палубу по трапу всходит Тыко Вылка.

— Здравствуй, дорогой, как здоровье? — приветствует его Переплетчиков.

— Плохо. Корью был болен, потом воспалением легких, а потом сердце болело, недели две как поправился, а то все лежал.

— Работал зимой?

— Да, немного картины рисовал, не очень много.

— Не слышал ли о Седове чего, о Русанове?

— Нет, я ходил на Карскую сторону, до Пахтусова острова доходил, никого не встретил. В Маточкином Шаре тоже ничего не слыхали.

(Несколько дней спустя, посетив Ольгинский поселок, Переплетчиков увидел в одной из избушек «Книгу посещений Ольгинского поселка в Крестовой губе на острове Новая Земля» — и на последней странице следующую запись: «1912 г., авг. 27 дня, по пути к Северному полюсу завернули к гостеприимным ольгинцам на необходимый отдых. Отрадно видеть было, что Ольгинский поселок с 1910 г заметно разросся. Одно только жаль, что метеорологическая станция потерпела аварию от шторма и прекратила свое действие. Проверил время колонистов, и оказалось, что они, пользуясь солнечными часами, мною установленными в 1910 г., жили лишь на 20 минут сзади. Желаю от души дальнейшего счастливого пребывания лихим колонизаторам крайнего Севера. Старший лейтенант Седов». Это была последняя запись, сделанная Георгием Седовым на земле.)

Ненцев между тем набирается на палубе все больше и больше. Некоторые сидят в пароходной рубке, их расспрашивает об обстоятельствах зимней жизни чиновник, ведающий делами колоний Новой Земли.

— Отчего песцов нет? — спрашивает он.

— Мыши много было. Мышью песцы питались, не шли в капкан на приманку.

— А медведи?

— Медведей тоже мало было, рыба сайга от наших берегов ушла, а медведь эту рыбу любит.

Туристы на шлюпке съезжают на берег. Приставать довольно трудно, берег крутой, кругом снег. Земля еще не оттаяла и не просохла и имела совершенно такой вид, как в средней России в начале марта. Около изб лежат ездовые собаки, на приезжих они не лают — только поглядывают искоса.

В избе у Тыко Вылки чисто и аккуратно. Переплетчикова со спутниками встречает жена Вылки Прасковья — сам Вылка еще на пароходе.

— Здравствуй, Прасковья! Как живешь? — спрашивает Переплетчиков.

— Муж болел долго, а то ничего, — отвечает она.

Над нарами висят несколько этюдов масляными красками, висит винчестер, на окне — бинокль. На стене часы, но они не ходят, сломаны.

— А ну-ка, Прасковья, покажи нам работы Ильи, — просит Переплетчиков.

Прасковья бережно приносит папку с акварелями и рисунками. Приезжие рассматривают работы... Хорошо изображена внутренность избы при лампе в бесконечную полярную ночь, на нарах на оленьих шкурах сидит Прасковья и шьет. На другом рисунке изображены яхта, залив, горы. И странно тут, среди этой обстановки, видеть рисунки, кисти, краски...

На прощанье в кают-компании устраивается небольшая выставка картин Вылки.

Переплетчиков прощается с Вылкой, тот сходит по трапу вниз, отец его Константин сидит на веслах, а на носу карбаса стоя подплясывает вдребезги пьяная ненка, она того и гляди упадет в море.

— Эй, тетка, осторожней! Лучше сядь! — кричат ей с парохода, у всех замирает сердце.

Но «тетка» не обращает на крики никакого внимания, она танцует, жестикулирует и разговаривает сама с собой.

Вылка уныло стоит в карбасе. Глаза его полны слез.

— Эту зиму Вылка не пойдет слушать музыку в опере! — говорит он, глядя вверх, на склонившиеся к нему с борта головы. — Опять остался один...

И отъезжающим долго был виден удаляющийся карбас, гребущий Константин, грустно стоящий Вылка и неутомимо пляшущая на носу карбаса женщина.

Первая половина жизни окончилась, колесо судьбы

повернулось, на долгие годы Вылка скрывается из нашего поля зрения, живет где-то на Карской стороне уже в полном одиночестве, если не считать семьи. Как горько, должно быть, было ему отказаться от всего, чем поманила сначала его судьба, отказаться от полярных странствий, забыть наивные, но гордые мечты стать настоящим художником, образованным человеком, поехать, может быть, в Париж, где жил когда-то и учился Русанов, в Италию.

Отныне и до веку суждено ему было опять жить в снежной яме. Ну пусть не в яме, конечно, не в рубище, не в худой маличке — в избе из плавника, но все же, все же!

Он мечтал слушать музыку, а пришлось слушать ему вой метелей, крик тюленей и гул моря.

Он снова был низвергнут в первобытное состояние, но к счастью своему, не на всю жизнь. Как мы уже знаем, в 1924 году он становится председателем островного Совета. Он остался им чуть ли не до конца своей жизни.

Много соблазнов подстерегает человека на руководящих должностях, много встречается камней преткновения — выдержал ли испытание властью, почетом Тыко Вылка? И почему первым председателем избрали именно его? Мало ли что сопровождал Русанова в экспедициях! У Русанова были и другие замечательные проводники, например Санко Вылка (не брат и не родственник Тыко Вылки, просто однофамилец). Кроме русановской, на Новой Земле много побывало и других экспедиций, соответственно многие ненцы служили им проводниками.

Или за то, что Вылка так хорошо рисовал? Но жил на Новой Земле замечательный резчик по кости, тоже Вылка Михаил Прокопьевич. Изделия его были в свое время знамениты, выставлялись даже в Париже, а потом разошлись по рукам и сгинули, как, впрочем, почти все картины и самого Вылки. Жил, любимый всеми ненцами, полуграмотный поэт Василий Пырерко, у которого никто не записал ни строчки, а он умер уже в 1946 году.

Это только те люди, о которых я узнал от Ивана Степановича Лодыгина — сослуживца и товарища Вылки, — а мало ли было среди тогдашних ненцев других талантливых людей, нам неизвестных?

Значит, было что-то в Вылке, что выделяло его особенно, что заставляло других безоговорочно признавать его авторитет?

Что же?

— С Тыко Вылкой, — вспоминает Иван Степанович Лодыгин, — я был знаком с зимы 1931 года до самой его смерти в

Архангельске. Он приехал тогда с ветеринарным фельдшером к нам в избушку на Кусовой земле, где мы зимовали, занимаясь промыслом. Вылка тогда еще ездил по зимовкам на собаках. Ездил он обычно с женой своей Александрой. Приехавши на основное становище (факторий тогда еще не было), жену оставлял там, а сам с кем-нибудь из промысловиков отправлялся по промысловым участкам.

Был у Вылки на Новой Земле, в Белушьей губе, небольшой бревенчатый домик, разгороженный внутри на несколько малюсеньких клетушек. Была небольшая печь-плита, и стояла вторая печка — железная, из бочки. Печки впоследствии несколько раз переделывались. К домику примыкали сени и небольшая дощатая пристройка для собак. Стоял домик на невысокой скале, у самой воды. Крыша сначала была тесовая, но потом тоже перекрывалась. Дом стоял хорошо, далеко было видно кругом.

В гостях у Вылки побывал я первый раз в 1932 году, он жил тогда со второй женой и с двумя молодыми сыновьями. В доме у него было довольно грязно, постоянно топилась то одна, то другая печь, постоянно кипел большой старинный медный чайник, закопченный до черноты. В одной из комнат стоял небольшой стол без клеенки, по обеим стенам шли довольно широкие нары, застланные оленьими шкурами, а возле стола, сколько помнится, стояли две довольно старые табуретки.

Как зайдешь в дом, справа на гвоздях висело кое-что из одежды. Вылка потом мне показывал винтовку системы «ремингтон» замечательного качества, всю вороненую, а к прикладу была прикреплена серебряная пластинка. Что было выгравировано на пластинке — не помню. Вылка заметил как-то, что винтовка — подарок, но говорил ли от кого, я тоже не помню. Винтовка эта была у него всегда вычищена и смазана, но он ею почему-то не пользовался, по крайней мере я ее никогда не видел у него в дороге.

Посуды было мало, только самое необходимое: пара кастрюль, несколько больших мисок, ложек и кружек. В те годы Вылка, сидя у себя за столом на нарах, еще подворачивал ноги, потом эта привычка у него прошла.

Как и все ненцы, Вылка мог выпить чайник чая и при этом — если рядом в миске или в тазу свежая оленья кровь — съесть целую оленью ногу: отрезал кус мяса, окунул в кровь и абурдай.

Мог и выпить, но никогда не пил много. Особенно любил коньяк. Как-то в Архангельске зашли мы с ним в магазин, я спросил, чего брать из выпивки, а он: «Степаныч, только звездочку!» Нет, выпивками он не увлекался, не в пример многим

другим, не только ненцам, но и русским, да и жалованье у него было небольшое.

За то время, что я его знал, регулярным промыслом он уже не занимался. Добудет случайно голову-две морского зверя да поймает вблизи пары три песцов... Он на еду семье зарабатывал председательством, так что промышлять ему не надо было, да и староват становился. Ну а если и промышлял — так это оттого, что свою охотничью страсть хотелось удовлетворить.

У Вылки был очень хороший характер, его легко было привлечь на свою сторону. Он очень любил общение с людьми, умел внимательно слушать, всегда поддакивал, хотя вряд ли все принимал на веру. Многие считали эти качества Вылки слабостью и пытались использовать их в своих интересах. Иногда это удавалось, в первые годы Вылке не хватало опыта и государственного мышления. Впоследствии вера его в людей осталась, но опыта было больше, и в общении с людьми, а особенно с русским народом, он научился оценивать в своей работе все плюсы и минусы и уже не ходить на поводу у каждого краснобая.

За внимание к людям, к их нуждам, за повседневную отзывчивость мы его много лет избирали председателем островного Совета. Свыше кандидатуру Вылки нам никогда не предлагали! Не каждому человеку бывает оказано такое доверие, да еще малограмотному, хотя по уму он и в 30-е годы резко выделялся среди населения Новой Земли.

Вылка очень любил сидеть где-нибудь на высоком месте, часами смотреть на окрестности, на море, и я его очень хорошо понимаю, — надо иметь поэтическую душу и большую любовь к своей родине, пускай суровой, но изредка дающей такие дни, какие не увидишь нигде, кроме Арктики.

Живописью Тыко Вылка занимался все время, но работал очень медленно, любил работать, когда у него никого нет, придешь к нему — он сразу же прекращал работу.

Как-то говорили мы с ним, еще в 30-е годы, что хорошо бы изобразить в красках ночевку промысловиков на Карской стороне Новой Земли, тогда еще мало освоенной. Вылка говорит: «Хоросо бы вецером сюм (чум), горит костер, везде снег, торосы...» Я забыл потом об этом разговоре, приехал в мае на пленум островного Совета, зашел к нему, он мне и показывает небольшую картину, написанную на куске камня-плитняка (сланца). Плитка треугольной формы, неправильной, темно-синего цвета. Назвал он картину «Ночевка на Карской». Изображено было: берег моря, зима, поздний вечер, почти полные сумерки, все в синих тонах, снег, в море торосы, стоит небольшой чум, лежат собаки, видны

нарты, горит небольшой костер, виден закипающий чайник, чуть струится из верхушки чума дымок, по дыму видно — тишина. У чума два человека, все краски как бы сливаются с цветом плитняка, на котором была написана картина. Вся картина дышала тишиной! Я не знаток в живописи, но был, помню, поражен реальностью сюжета и оттенками будто бы излучающих морозную тишину красок. Лучше я не видел у Вылки картин, в картинах своих он чаще всего наивен, но та картинка, небольшая, была неповторима по воздействию на зрителя. Я ему сказал, что у него другой такой картины пока не было, эта самая лучшая. Он усмехнулся, говорит: «Надо делать картину больше — этот маленький». И подарил мне, а на мой вопрос, чем мне расплатиться, говорит: «Вот узе приеду к тебе, рассцитаешься», но и потом никакой платы Тыко Вылка с меня не взял, ну угостил, тем дело и кончилось. До сих пор жалко мне этот подарок — в 1937 году картина, как и все мое имущество, утонула при гибели судна «Ленторг».

У Вылки много картин расходилось по людям, иногда беззастенчиво вымогавшим их у него, особенно мелкие картинки...

Сколько было лет Вылке, не знаю, то есть когда он родился, да он и сам не знал. Шестидесятилетие его отмечали три раза: два раза на Новой Земле и раз в Архангельске. Во всяком случае, он был старше своих официальных лет.

В Архангельске ему дали сначала квартиру на улице Вологодской, и как-то на мой вопрос: довольны ли квартирой? — он пошутил: «Зылье хоросее, вот только на конце улицы много народу лезыт, нехоросо туда попасть». А в конце улицы Вологодской, недалеко от квартиры Вылки, расположено у нас городское кладбище. На Новой-то Земле покойникам просторно! И все же пришлось ему лежать вечно не на Новой Земле, а там, где ему так не хотелось «лезать», и я, как бываю на Кузнечевском кладбище, всегда останавливаюсь у его могилы и вспоминаю свои с ним встречи.

Тыко Вылка был действительно выдающимся, незаурядным человеком среди новоземельских ненцев, человеком великих способностей, в силу обстоятельств его трудной жизни полностью не развившихся. Но и то, что им сделано, достойно удивления и памяти!

Он был мудрым человеком, и лично я отношусь к нему как к человеку, наиболее полно знавшему все условия жизни на Новой Земле. И главное, что он своих знаний никогда не держал при себе, всегда готов был поделиться своим опытом и своими наблюдениями, а наблюдений и опыта к концу жизни у него на

десятерых хватило бы. И авторитет его среди промысловиков-полярников был исключительно велик!

Навсегда запомнился мне такой случай. В 1931 году, зимой, в феврале месяце, Тыко Вылка, промысловик Василий Ефимович Кузнецов и я на трех упряжках выехали с избушки на Кусовой земле в становище Русаново, до которого, если ехать напрямик, было километров шестьдесят — один небольшой перегон по тамошним понятиям. Думали, что проскочим до становища, — хотя погода с утра и не радовала, но видимость была. Но не успели мы проехать и пятнадцати километров, как ветер усилился, видимости не стало, да к тому же и ветер был встречный. Наш путь лежал по льду моря, оставаться дольше на льду становилось опасно, лед могло выломать и отнести в море.

Посоветовавшись, мы решили выходить на берег и там искать какого-нибудь укрытия — на ровном льду не укроешься. Между избой, откуда мы уехали, и становищем Русаново, куда мы держали путь, был еще промысловый участок, была избушка, в которой жила одна семья. Определившись по компасу, мы взяли направление к этой избушке в бухте Охальная. Перестроили упряжки, первой поставили упряжку Кузнецова — у него была самая сильная, — Вылка поехал на второй, у него были самые слабые собаки, а я ехал замыкающим. Договорились ехать не спеша и ни в коем случае не терять друг друга из виду. Добрались мы до берега — коса, и укрыться опять негде, видимость ноль. Собаки у Вылки совсем забастовали, стали ложиться. Наши пока держались, но так двигаться долго было нельзя — заморозишь собак, а укрыться негде. Решили добраться до первого маломальского укрытия и залечь. Ехали, тащились, наверное, с полкилометра и наехали на большую кучу дров — плавник был собран большим конусом. Загнали в затишье собак, которые сразу же залегли, и в минуту их занесло снегом. Кучу дров мы опознали и решили, что до избы Охальной, где жил промысловик, с семьей, не более полукилометра. За дровами ветер на нас прямого действия не оказывал, но было сильное снежное завихрение, и каждые полчаса надо было скидывать с себя снег, то есть вылезать из сугроба.

Пурга тем временем усилилась до предела, понесло песок, мелкие камни, но, как всегда бывает на Новой Земле, с усилением ветра мороз пошел на убыль, скоро стало не более десяти градусов мороза. Кузнецов принялся настаивать, чтобы добираться до избы. Все понимали, что «куропачить» придется долго. Он и я подняли собак, но упряжку Вылки сдвинуть с места не могли. Собаки даже на ноги не хотели вставать. Кузнецов предложил оставить собак Вылки, а две упряжки вести за вожжи и

попытаться добраться до избы.

Но Вылка идти отказался, только твердил: «Пойдем — уж пропадем, как-нибудь уж будем здесь». Я своего мнения не смел иметь, был еще новичком в таких переделках, но Кузнецов был уже тогда полярником с дореволюционным стажем и был убежден, что, если изба рядом, нужно было дойти, чем терпеть такие муки, лежать несколько суток под такой пургой.

Я, может быть, длинно рассказываю, но, поверьте, дни под снегом, почти четверо суток, ох как они долги! Пролежали трое суток, на четвертые похолодало. Вылка говорит: «Уж скоро стихнет». И верно, стало утром проясняться, хотя ветер был еще сильный, видимость временами становилась метров на сто. Стало рассветать, и мы заметили невдалеке от нас, метрах в двухстах, что-то темное, большое — то видно, то скроется. Прошли метров пятьдесят и разглядели избу! Откопали собак, выпрягли из упряжек, а нарты потащили к избушке сами.

Так мы и прокуковали почти четверо суток рядом с избушкой. По совету Вылки хлеб мы держали за пазухой, оттаивали и тем питались.

Я вспомнил этот случай к тому, чтобы показать вам, как велик был авторитет Вылки, настолько велик, что даже полярники с многолетним стажем не смели его ослушаться, его советы всегда выполнялись беспрекословно.

Да, если говорить теперешним языком, то Вылка был человек с большой буквы!

Мне повезло: среди людей, так или иначе знавших Вылку, мне повстречался в Архангельске Андрей Александрович Миллер.

Андрей. Миллер, серьезный, приятный человек, долгое время плававший старшим механиком на судах Тралфлота, с детства жил на Новой Земле и зазнал Вылку в 1934 году. Подробностей первых встреч с Вылкой он не помнит. Слабо помнит только, что приезжал какой-то добрый ненец на собаках, который мастерил детям игрушки.

Зато события следующего года, когда Миллеру исполнилось семь лет, на всю жизнь врезались ему в память, потому что, по его же словам, жизнью своей он обязан Тыко Вылке.

Жили они — отец, мать и четверо детей — в охотничьей избушке на Северном острове, на берегу залива Чекина. Там же жил и одинокий охотник Иван Тимофеевич Филатов. В избушке Миллера мебели никакой не было: стол, нары да оленьи шкуры. В избушке же, в холодной половине, за стенкой жили и собаки.

Однажды мать полоскала белье в проруби, простудилась и слегла. Встревоженный отец попросил Филатова поехать на мыс Выходной, где находилась полярная станция и жил врач по

фамилии Синявский. Филатов уехал, а мать между тем вскоре потеряла сознание и через несколько дней скончалась.

Оставшись один с маленькими детьми, отец впал в отчаянье. Он пил спирт, рыдал, а скоро ему стало казаться, что и он и дети должны неминуемо погибнуть. За стеной была полярная ночь, завывала пурга, сбившись в кучу на нарах, дети тихо плакали. Чтобы не видеть, как один за другим умирают его дети, отец решил кончить дело разом и принес из кладовки большой бидон с керосином, собираясь разлить его по избушке, сжечь детей и погибнуть в огне самому. По-видимому, он помешался от горя и от беспросветной полярной ночи.

Филатов между тем заблудился. Он ехал на мыс Выходной шесть дней и в конце концов упал со скалы вместе с собаками. Кое-как добравшись все-таки до Выходного, он встретил там Тыко Вылку, который объезжал в это время все новоземельские охотничьи избушки и фактории. Узнав, что у Миллера заболела жена, Вылка тотчас собрался в дорогу. Врача на полярной станции не оказалось, он уехал к больному. Наказав Филатову дождаться и привезти врача, Вылка на шести собаках отправился к заливу Чекина. (Больше шести собак у Вылки в упряжке не бывало.) По-прежнему бушевала пурга (танзей), и избушку Миллера так занесло, что, приехав к заливу Чекина, Вылка не мог ее найти.

Уложив собак, он принялся тыкать хореем в снег на том месте, где, он знал, стояла избушка. Нащупав хореем крышу и разгребя снег, Вылка начал отдирать доски на крыше. Миллер, услыхав, что крышу кто-то ломает, узнав голос Вылки, звавшего его по имени, в свою очередь выломал две-три доски на потолке и помог Вылке влезть в избушку.

Увидев плачущих детей, нетопленную печь, бидон с керосином, всмотревшись в сумасшедшее лицо Миллера, Вылка сразу все понял, всплеснул руками и забегал по избе.

— Саса (Саша), ты сто задумал! — кричал он с ненецким акцентом. — Жить надо, терпеть надо, детей спасать надо!

Тыко Вылка был круглолиц, одет в малицу, подпоясан широким ремнем, на бедре болталась связка медвежьих клыков. Он суетился, взволнованно бегал по избе и то, заложив руки за спину, ругал Миллера за малодушие, то сострадал ему, то жалел покойную Евлампию, которая, окоченев, лежала тут же, в холодной, не топленной много дней избушке.

Вылка принес хлеба и мяса и дал детям, потом заставил вылезти наружу отца, вылез сам, и они принялись откапывать избушку из-под снега. Очистив от снега трубу, затопили печь, стали варить обед. Вылка не уставал убеждать Миллера, что тот

не имеет права предаваться отчаянью, что он мужчина и новоземелец!

Жил Вылка у Миллера до приезда Филатова с врачом, а когда те приехали — тотчас отправился за 160 километров на факторию Пахтусова и попросил заведующего Ивана Лодыгина обеспечить семью Миллера всем необходимым.

Мать решено было похоронить в июне, когда на Новой Земле появляются проталины. Семь месяцев пролежала покойница в избушке, в холодном чулане. (Каково им было жить все это время, постоянно сознавая, что за стенкой в темноте и холоде лежит мать!) А летом сделали гроб, поставили на нарты, на гроб посадили детей и повезли к большому камню — скале. Земля еще не оттаяла, динамита, чтобы взрывом вырыть могилу, не было, гроб положили на землю и заложили пирамидой камней.

В августе в залив Чекина пришла на вельботах топографическая экспедиция. Вместе с экспедицией приехала из Мезени бабушка. Она преодолела большие трудности, чтобы навестить могилу дочери и забрать с собой детей.

Миллер-отец скоро уехал с экспедицией проводником. Дождавшись его отъезда, бабушка с детьми пошла на могилу дочери. Бабушка была в длинном сарафане, дети держались за подол, и так все вместе они дошли до могилы. Пришел Филатов, снял шапку. Плача и причитая, бабушка принялась откладывать с могилы камни, пока не открылся гроб. Крышку гроба бабушка снять сама не могла и стала просить Филатова. После долгих колебаний Филатов открыл гроб. На лице у матери был синий платок, на груди красиво лежали бусы, ноги были обуты в меховые липты (сапоги). Приподняв платок с лица дочери, бабушка долго вглядывалась в почти не изменившиеся родные черты и плакала. Она привезла из Мезени мешочек с землей. Прочитала над дочерью заупокойные молитвы, предала ее земле, потом гробовую крышку опять поставили на место, гроб заложили камнями — теперь уж навсегда...

Много мужества, говорю, нужно было иметь, чтобы жить на Новой Земле и не только исполнять свой прямой мужской долг: охотиться, кормить родителей, детей, и себя, и жену свою, — но еще находить силы для того, чтобы заботиться о других, постоянно объезжать все избушки, разбросанные на огромных расстояниях, не пропуская ни одной, и каждому приходить на помощь.

Ежедневный риск, ежеминутная готовность встретить смерть — разве этого не хватит с избытком на долю любого человека, решившегося прожить таким образом хотя бы один год, не говоря уж о всей жизни!

Трогательное, всего в несколько страничек, жизнеописание Тыко Вылки поражает простотой изложения, но еще более — простотой отношения к опасностям:

«Я только на Карской стороне промышлял. Однажды мы трое поехали оленей отыскать. Мы не могли найти. Ходились на высоких горах. Мы вернулись домой. Был туман. Я сказал братьям: «Давай поедем вот здесь. Ближе будет». Мы едем. Вдруг высокая скала. Я соскочил и упал на землю. Собаки упали. До смерти я так испугался. Уж думал: я теперь жив не буду. Едва вижу. Два брата тоже упали. Видел: мой кнут (длинная палка) прямо на меня идет концом. Думал, меня убьет. Мы остановились внизу. Снег был мягкий. Мы стали на ноги. Поехали снова...

В январе я однажды ходил по воде, Ледовитым океаном. Убил одну нерпу. Ветер сильный был. Я вернулся домой. Мне не удалось до дома доехать. Думаю — на берег попаду. Подошел к берегу. Соскочил на берег. В тот момент волна поднялась. Я упал в воду. Лодку понесло по морю. Кое-как вышел на берег. Весь промок. Видел товарищей. Я крикнул. Они не слышали. Я пошел к ним. Сказал: «Я лодку упустил». Я взял их лодку и пошел свою лодку искать. Ветер сильный. Не мог найти. Лодка течет. Я испугался. Думал: ветер сильный будет — на берег не попасть. Поехал на берег. Морская волна была большая. Хотел пристать к берегу. Подошел — берег высокий. В тот момент я не видал большую волну. Волна хлестнула мою лодочку. Перевернула. Я в воду упал. Лодка на меня упала. Я попал под лодку. Думал: теперь живым не буду. У меня ружье было привязано к лодке. Другая волна хлестнула меня. Выкинула на берег с лодкой. Я стал на ноги. Весь мокрый. Лодку вытащил на гору и поехал домой.

В мае однажды я придумал на охоту за 60 верст ехать. Птиц, чаек стрелять, яйца собирать. И поехал туда вечером. Подошел. Стал стрелять чаек, убил десяток. Одна упала под гору. Я пустился доставать чайку. И пошел. У меня в руках была длинная палка, чтобы придерживала: снег был твердый, днем было тепло, ночью мороз. Вдруг я упал. Так катился — никакого ума не было. Уж думаю — теперь не жив. Отец найдет собак. У меня был длинный кинжал. В последний момент придумал кинжал вынуть. Я вынул. Изо всех сил в снег ударил. До черенка вошел в снег. Я остановился. Отдыхал тут. Потом я стал кругом смотреть: уж до ног волна хватает. Чуть в море не провалился! Ползком пополз вверх и пошел домой...»

Как просто, какими немногими обыденными словами рассказано о десятках случаев смертельной опасности!

«Убил одного медведя по пути. Собак покормил. День был ясный. Мне одному скучно было. Морозы 50 или 40 градусов. Три

дня я ехал домой. У меня градусник лопнул от мороза».

Проучившись два года в Мезени, Андрей Миллер вернулся к отцу на Новую Землю. Он стал жить в губе Белушьей, где была тогда школа и где жил Вылка.

Вылка преподавал в школе рисование. Но разве только рисование! Перед Вылкой в классе сидело два десятка детей — ненцев и русских, — два десятка маленьких граждан острова, на котором он родился, прожил всю жизнь и председателем которого был теперь. Мог ли он не учить их всему тому доброму, что сам носил в своей душе!

— Любите землю, — говорил он, — это наша советская земля! Любите, не обижайте друг друга. Никогда не хнычьте, знайте, что суровая земля слабых не любит. А живете вы теперь лучше, чем жил я в детстве. О нас с вами заботится весь народ. Но и мы должны думать о народе и делать все так, чтобы все говорили: хорошо!

Он рисовал нарты, собак, ненцев, корабли, охотничьи сценки. Рисовал мелом на доске. Рисовал промысловые избы, выезды охотников...

Поучая, он всегда держал указательный палец торчком. На всю жизнь запомнился Андрею этот короткий толстый палец.

Тыко Вылка знал родителей всех своих учеников, и для каждого ребенка был праздник, когда Вылка начинал рассказывать о его отце. Зато и не было большего укора для какого-нибудь озорника, если Вылка принимался выговаривать:

— Если уцицься плохо будес, сказу отцу. Твой отец герой труда, хоросо промысляет, а ты сто, уроков не знаес?

В то время началось массовое освоение Севера, и Вылка горячо принимал к сердцу успехи наших полярников. Возле школы чернела на снегу копия палатки папанинцев, в классе на стене висела большая карта северного полушария, и Вылка собственноручно отмечал на ней дрейф первой нашей станции «Северный полюс».

Больше всех других праздничных дней Вылка любил праздник 1 Мая. Для него это был не только советский, пролетарский праздник — это был радостный день весны на Новой Земле, день подведения зимних итогов. Тьма отступала, и солнце все неохотнее склонялось к горизонту. Впереди были самые прекрасные на Севере дни — летние, приход парохода, встречи со старыми друзьями...

И не было большего удовольствия для Вылки, чем готовиться к маевке. За несколько дней до праздника чуть не со всего острова съезжались к островному Совету охотники. Вылка обязательно встречался с каждым, радовался зимней удаче или

горевал вместе с промысловиком, если у того случилось зимой несчастье или постигла неудача. Музыкальных инструментов на Новой Земле не было, но был барабан. И вот, возглавляемые отрядом пионеров, под громкий треск барабана все охотники острова шли к «Знаку» (так местное население называло морской створ). Там уже готова была трибуна, обитая кумачом, на трибуну поднимался Вылка... Надо ли говорить, как слушали его люди, в течение долгой зимы не видавшие человеческого лица, не слыхавшие ничьего голоса, кроме как своих близких!

А Вылка рассказывал о великом строительстве, идущем по всей стране, о переменах, которые скоро настанут и на Новой Земле, и слезы навертывались ему на глаза. Вспоминал ли он в такие минуты незабвенного своего друга Русанова, думал ли о своем детстве, о том времени, когда никому во всем мире не было ровно никакого дела до того, как живут ненцы и живут ли они вообще на свете?

Зато после митинга, если на острове все было хорошо, Вылка любил повеселиться. Пел ненецкие песни своего сочинения. Выпить добрую чарку любил: «Чарка елый саво!» (Чарка очень хорошо!). К каждому охотнику непременно заходил в гости и сам любил угостить, любил смотреть, как люди едят. Ел он всю жизнь очень много, справедливо полагая, что без сытной еды человеку на Севере не прожить. Мог съесть в один присест (абурдать) целую холку оленя.

Уже в 1946 или 1947 году, вспоминает Миллер, Тыко был в Москве на приеме у Калинина. Ему удалось выхлопотать большую партию всевозможных машин и снаряжения для Новой Земли, и вернулся назад он очень довольный. Рассказывая новоземельцам о Москве, он всякий раз весело вспоминал, как ел в ресторане котлетку, съел — и ничего не почувствовал.

— На столе нет котлетки... и брюхе нет котлетки, — говорил он, заливаясь добродушным смехом.

Говорят, что однажды на приеме Калинин назвал Вылку президентом Новой Земли. Сказано было это, конечно, в шутку, однако с легкой руки журналистов, любящих броские фразы, этот титул так и укрепился за Вылкой. Даже и теперь, стоит только упомянуть имя Вылки в Архангельске, как тотчас в ответ услышишь: «А-а! Как же! Президент Новой Земли!»

Между тем «президент» — слово несколько официальное, холодноватое. Президент — лицо, высоко стоящее над обществом, лицо труднодоступное.

Вылка же был прост и доступен. Вся жизнь его проходила на людях, он охотился, ел и спал вместе с ними, он хоронил их и принимал новорожденных. По-человечески он оставался всю

жизнь прежним Тыко Вылкой, не меняя ни привычек своих, ни пристрастий. Очень ярко характеризуют Вылку-человека воспоминания недавно умершего Василия Дмитриевича Заборского:

— В 1922 году я был молодым боцманом и плавал на судне «Ярославна». Пароход это был небольшой, водоизмещением всего в две тысячи тонн, но по тогдашним временам это был гигант. Мы в то время делали регулярные рейсы на Новую Землю.

В первый же мой рейс к нам на пароход сел Тыко Вылка, который сопровождал с Новой Земли первую партию пушнины.

Потом вместо «Ярославны» на Новую стал ходить «Русанов». Не было случая, чтобы Вылка не отправился на нем в Архангельск — сдавал там пушнину, добывал снаряжение на зимний период и осенью, в сентябре, возвращался назад. Всю зиму он объезжал фактории и становища, промысловые избушки, собирал какие-то гербарии, коллекции, я уж теперь не помню какие, помогал всем, учил детишек в школе, а летом обязательно встречал нас.

На борт часто брал яйца кайры — сам их очень любил и всю команду угощал. К пушнине относился как к драгоценности. Говорил, легче машину построить, чем добыть трех песцов.

На судне у нас всегда теснота была — собаки, грузы разные, народу много, зимовщики домой возвращались... Словом, другой раз и на палубе места не было. Но какая бы теснота ни была, Вылке отводили отдельную каюту. Это стало уже традицией, так и говорили: каюта Вылки. Мы его все очень уважали. За что? Лично я его только на пароходе видел, в деле не видел, но его все любили, уважали, все зимовщики, промысловики, только и слышишь: Вылка сказал, Вылка обещал...

На пароходе он обычно целыми днями рисовал. Мы уже так и знали — как только Новая Земля скроется за горизонтом и все на палубе угомонятся, так Вылка сейчас же к себе в каюту, приготавливает там все свое хозяйство, всякие краски, картон — и затих. Значит, рисует. А то, слышно, песню свою запоет. Он любил петь. Но в каюте рисовал только в плохую погоду, а в хорошую — на верхнем мостике или на палубе. Картины свои любил всем показывать. Бывало, все спрашивал: «Хоросо?»

Плохие черты? Не знаю. Говорю что помню: мы его все, и русские и ненцы, очень уважали, гордились им. Был справедливый, никого не обижал зря, все знали — раз решил, значит, решил правильно.

Вот не знаю, удалось ли ему, а был тогда у Вылки стратегический план переселить всех промысловиков на восточную сторону, как мы говорим, на Карскую, там зверя больше было. Он, бывало, все об этом с нами толковал, очень

увлекающийся человек был.

Как жил? По-своему жил. Там, на Новой, специально для него построили хороший дом с печкой, уютный, я там много бывал. Первым рейсом приходим, захожу — печка сломана, он ее разрушил, на полу самодельный очаг из кирпичей, топится по-черному. Дыму — как на пожаре. Вылка и все вокруг закопченное, как колбаса. Кстати, о еде... Ел очень много. Оленину, рыбу. Два-три килограмма мяса — как один бутерброд.

Курил постоянно, не помню его без папироски. Но не только курил, а еще и жевал табак. Не плиточный, не тот табак, что для жевания, а обычный, из папирос. Не вру! Меня угощал, но чаще жевал махорку. Жует и плюется.

Очень был радушный хозяин. Отказываться от угощения или там от выпивки и не думай — обижался по-настоящему.

Прекрасный охотник был. Думаю, лучший охотник из тогдашних промысловиков. Я уж не говорю о том, что он лучше всех нас стрелял. Главное — он все знал, чувствовал про зверя. Ребята поговаривали иной раз между собой — уж не колдует ли, не шаманит? — так знал, где зверю должно быть. Это у него, наверное, в крови было, природное.

Характер? Очень дружелюбный, мирный. Но бывало, что и вспыливал, кричал, сердился, когда узнавал о плохом поступке. Но только это с него быстро сходило. И умный был, много знал про Север, испытал много. Повторяю, мы его уважали.

Про картины не знаю. Помню, они нравились нам, все очень похоже рисовал — льды, собак, тюленей, чумы... Но я тогда его картины делом не считал, я про Вылку знал: охотник, хозяин Новой Земли, ну а на пароходе он вроде как бы отдыхал, почему не порисовать? Да и от него никогда не слышал, чтобы он о себе сказал: я художник! Может быть, от скромности? Да нет, навряд ли он думал о себе как о художнике...

Все-таки думал, всю жизнь думал о себе как о художнике, только никому не говорил, природная его скромность не позволяла ему выговорить тех слов, которые так часто и так легко выбалтывает наш язык.

В старости, в минуты печали, говорил:

— Вот бы еще картин пять написать... А потом и догонять пойду...

— Кого догонять, Илья Константинович?

— Русанова...

Последние годы, отслужив в армии, Андрей Миллер встречался с Вылкой уже в Архангельске. В первый раз он встретил Вылку в краеведческом музее. Вылка вгляделся в него из-под руки — эта привычка смотреть, сделав ладонь козырьком,

осталась у него с тех пор, когда глаза его слепил солнечный снег или блеск моря. Вылка узнал Миллера мгновенно.

— Мой питомес! — с удовольствием выговорил он.

Он знал всех новоземельцев в лицо, никогда ни с кем не путал. Он любил ходить по городу — от Вологодской до Поморской пешком, не любил ни трамваев, ни такси. Ходил большей частью один... О чем думал он в эти свои одинокие минуты, что вспоминал?

Говорил:

— Живу хоросо, но сумно.

Жил он в деревянном доме вместе с последней своей женой Марьей Савватьевной. Тут уже порядки были другие, время его ценилось, и когда он работал, к нему не пускали. А работал он много. Теперь ему не нужно было уезжать в многодневные изнурительные путешествия, не нужно было охотиться, чтобы добыть себе пропитание, не нужно было навещать заброшенных в ледяной пустыне промысловиков... Зато в свободное время гостям бывал всегда рад. Держа руки за спиной, выбегал мелким шагом в прихожую смотреть: кто пришел? На вопрос: «Как поживаете, Илья Константинович?» — отвечал неизменно:

— Хоросо. Сейчас пису. Рисую.

Все стены его мастерской были увешаны картинами. Берега Новой Земли Вылка знал так хорошо, так подробно, а память его была столь остра, что ему теперь не нужна была натура — он писал по памяти, и старые новоземельцы сразу узнавали места, изображенные им.

Новая Земля не давала ему покоя. Он писал с глубокой озабоченностью:

«На Новой Земле я прожил более 75 лет. На моих глазах произошло много изменений в природе новоземельских островов. К сожалению, на островах не ведется постоянных наблюдений за ледниками, озерами, реками, островками и изменениями береговой линии.

Ледники на Новой Земле отступают. Особенно изменился ледник залива Вилькицкого. В 1910 году его язык почти доходил до Зеленой реки, а теперь не достигает реки примерно 12 километров. Самый залив стал вдаваться глубже в сушу и потому стал длиннее в два, а может быть, и больше, раза. Может быть, залив был покрыт ледником?

Ледник в южной Сульменовой губе, который В. Русанов назвал «Шумным», в 1910 году падал в залив крутым барьером. Толща льда, уходящая в воду, достигала 55 метров. Теперь этот ледник до воды не доходит примерно на два метра, и толща льда его уже на такая, как 50 лет назад.

Ледник около озера Крестовой губы падал в него отвесной стеной, и на озере плавали айсберги. Теперь он до озера не доходит, и спускается он не тяжелой отвесной массой, а более полого.

На Новой Земле есть интересные озера, про которые ненцы говорят, что они «дышат». В них уровень воды изменяется через определенные промежутки времени. Озера Тирчлаха-Иилы-Тоя состоят из двух смежных соединяющихся озер, и уровень воды в них качается, как на весах. Ненцы знают, что рыба с водой переходит из одного озера в другое, знают, при каком уровне воды надо ловить ее.

Из-под «Шумного» ледника Сульменовой губы течет ручей, который бурлит в самую стужу в январе или в феврале. Второй такой ручей течет из-под ледника в Глазовой губе. Зимой над этими ручьями то столбом, то грибом стоит пар...

Многие островки, которые я знал 50 лет назад, теперь исчезли. В заливе Литке были три высоких, скалистых островка причудливой формы. Ненцы назвали их «Три русских», они стояли как три человека. Теперь их осталось только два, третий разрушился. А островок был приметный, высокий.

Против устья реки Саввиной тоже был остров, довольно большой, на котором во множестве гнездились чайки. Теперь от острова остались отдельные камни.

Во многих местах на Южном острове Новой Земли, там, где 30 лет назад круглый год лежал снег, а то и лед, теперь весной и летом растет трава и даже цветут цветы.

Все эти изменения надо наблюдать и изучать. А этого никто не делает. Надо также разрешить вопрос о вечной мерзлоте на Новой Земле. Промерзает там земля с поверхности, а копнешь глубже чем на полметра — земля не смерзлась. Никогда не встречал я там вечной мерзлоты, а я искал ее немало. Ненцы говорят: «Теплая наша Новая Земля».

Может быть, в связи с Третьим Международным геофизическим годом на эти факты обратят внимание».

Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал мужественно готовиться к смерти. Он собрал, вымыл и сложил свои кисти. Пел старинные ненецкие песни, которых уже никто, кроме него, не помнил. Ходил в гости к друзьям, прощался.

— Просяйте, — кротко говорил он и низко кланялся.

— Далеко ли собрались, Илья Константинович?

— Да пока в больнису. А потом, наверно, дальсе. — И добавлял: — Пойду искать Русанова. И опять мы с ним будем идти в холодных льдах...

Говорил еще старым друзьям:

— Будьте новоземельцами, будьте крепкими, как Север!

Андрей Миллер вспоминает:

— Когда я узнал в сентябре шестидесятого года о смерти Вылки, мне даже нехорошо стало. Никак не думал, что это так на меня подействует. Ведь я ему жизнью обязан! Пошел на похороны, как положено. У нас, новоземельцев, есть земляческий обычай: собираться всем вместе, если кто из наших умрет. Когда Вылка умер, у меня были срочные дела, но я все бросил, поехал хоронить. Это для меня было важнее всего... Он в гробу лежал маленький и как бы круглый, не подберу слова... Мы спросили: а где его ордена и медали? Марья Савватьевна говорит: «Ой, забыли! Срочно надо ехать домой!» Поехали за орденами... Мы все плакали. Моросил сентябрьский кислый дождь. Мы вынесли Вылку, понесли гроб на руках до главной улицы, с полкилометра. Потом гроб положили на машину. Я шел и вспоминал все, что сделал мне Вылка, такая тоска была, будто отца хоронил!

В 1911 году в Москве, зимой, сидя в теплой мастерской В. Переплетчикова, молодой Вылка записал нетвердой в русской грамоте рукой: «Тому назад 35 лет мой отец, Константин Вылка, через Карские ворота перешел на Новую Землю своим карбасом со своим родным племянником. У моего отца мать была: глаза ничего не видели. Отец был холостой. Он был бедный. Поселился на Новой Земле и женился. И родился я на Новой Земле».

1972—1976.

Статьи, интервью

Северный волшебник слова [19]

Современная советская литература щедра талантами. Но мы не всегда любопытны к нашему словесному богатству. В самом деле, стоит начать считать, как одних только первостепенных талантов наберутся у нас десятки.

Вероятно, то, что я напишу сейчас о Писахове, не будет открытием. Вероятно, о нем писали уже, но писали, по-видимому, редко и очень давно. Наши литературоведы забыли о сказках Писахова, будто их нет давно, будто они когда-то были, как был когда-то князь Владимир Красное Солнышко.

В Архангельске я пошел к Степану Григорьевичу Писахову. Дом его мне показали — все знают. Вышел — маленький, с желтыми усами книзу, страшными бровями, с длинными густыми волосами — помор, поэт и художник. Вышел человек редкого дара — дара, почти исчезнувшего у нас: человек, сумевший почувствовать тончайшие переливы народного сказа, народного склад,а речи.

Он ввел меня к себе, сразу заговорил, засмеялся, стал необычайно привлекательным. И подарил мне свежую книжку своих сказок, написав на ней: «С приветом не от того Севера, которым пугают людей юга: моржи, медведи, льды, дикие люди, наполняющие город Архангельск... — от Севера, красой своих просторов венчающего земной шар!»

Потом я уехал на Белое море. Я давал эту книгу рыбакам, поморам, морякам, ее читали вслух с таким вкусом, с таким упоением, какого удостаиваются, право же, немногие писатели.

Писахов — гиперболичен. Он буен в поэзии точно так же, как в жизни. Писахов летал с польским летчиком Нагурским на Новую Землю. Было это в давние времена. Я видел этот самолет на картине Писахова. Он похож на этажерку.

Писахов мог в полном одиночестве отдаться творчеству на крохотном островке в Ледовитом океане. Стоит вообразить этот островок в двадцать метров шириной, седой мох, камни, океан вокруг, тускло-красный диск незаходящего солнца, оторванность от всего мира — есть от чего похолодеть! Писахов же провел время на этом клочке земли в сладком волнении — он писал картину.

Писахов мог купаться в полынье. Он мог ходить на паруснике в страшные северные штормы, мог зимовать в таких условиях, о которых теперешние поморы знают только по рассказам стариков.

Может быть, поэтому его сказки так пронзительно-озорны, так жизнерадостны и так богаты необычными поэтическими

смещениями.

Герой его сказок Сеня Малина — всесилен. «Простое дело, — говорит он, — снег уминать книзу: ногами топчи, и все тут. А я кверху снег уминаю, — когда снег подходящий да когда в крайность запонадобится». Он пьет звездный дождь, саркастически смеется над всем злым и спит на берегу, натянув на себя море.

Язык Писахова — явление первородной мощи. Язык этот, может быть, и есть тот самый язык, на котором говорили вольные новгородцы, заселившие четыреста лет назад Белое море. Язык Писахова древен и чист по складу своему, по ритму, по выразительности — и он же весьма современен по социальной заостренности, так как почти все сказки Писахова социальны.

Сказки создавались у нас десятилетиями, создавались объединенными усилиями сотен и тысяч словотворцев. Сказки «обкатывались», шлифовались, канонизировались, пока, наконец, не получалось песни, из которой слова не выкинешь.

Написать сказку, равноценную народной, пустить ее в народ — труд великий, и может сделать это только большой поэт, только человек, безмерно знающий дух и характер своего народа.

Этими качествами Писахов обладает вполне. Но он не только поэт-сказочник, но еще и поэт-художник. И так же, как в сказках, вечной темой для своих картин Писахов избрал Север. Полотна его по своей тончайшей прелести, по настроению, по выражению национальному стоят, на мой взгляд, в одном ряду с полотнами Поленова, Нестерова, Левитана!

Если скандинавы, главным образом норвежцы, открыли всему миру свой Север, то наш русский Север — Белое море, побережье Кольского полуострова, острова в Ледовитом океане — поэтически еще, к сожалению, мало тронут. Мало, мало поэтов видели наш Север: Пришвин, Шергин... и тем дороже должно быть всем нам творчество Писахова.

Степану Григорьевичу Писахову исполняется в этом году восемьдесят лет. Юбилей редкий и дата славная, и должна она быть отпразднована не только архангельцами, но и всеми нами, всей страной.

Необходимо издать наиболее полный сборник сказок Писахова. Необходимо устроить в Москве выставку полотен этого оригинального художника. Нужно бы, по примеру Павла Радимова, издать альбом картин и сказок Писахова.

Нужно поклониться этому северному волшебнику слова, этому редкому таланту пера и кисти.

1959

Вдохновенный певец природы [20]

В 1843 году Сергей Тимофеевич Аксаков купил подмосковное имение Абрамцево и переселился туда со всем семейством.

Он был далеко не молод к этому времени — ему шел пятьдесят второй год, — он часто болел и начал слепнуть. Давно тосковал Сергей Тимофеевич по спокойной деревенской жизни. Хотелось послушать перед смертью токование тетеревов, ржание кобылиц на рассвете, плеск рыбы в розовом тумане.

После переселения в Абрамцево страсть рыболова и охотника вспыхнула в нем с новой силой. Он уже не видел поплавков и мог ловить только на донные удочки с колокольчиками. Но опять, как сорок лет назад, дрожали у него руки и кружилась голова от восторга, когда он слышал нежный звон колокольчика после поклевки, когда вываживал крупную рыбу, ощущал ее тяжесть и ее упругую силу.

После переселения в Абрамцево произошло чудо, немало удивлявшее впоследствии историков литературы. Воспоминания детства и юности, проведенных в Оренбургской губернии, в диких степных краях, нахлынули на него с необычайной силой. Он оглянулся на прожитое и, пожалуй, впервые понял, что всю жизнь делал что-то не то, что-то не главное. Тогда Аксаков начал писать книгу. Он начал писать ее в таком возрасте, в каком другие уже откладывают перо. Книга называлась «Записки об уженье рыбы».

Аксаков писал о самых счастливых минутах своей жизни, о повадках рыб, о насадках, о характере рек, о рыболовных снастях. Это была книга натуралиста, книга-пособие, но дышала она такой любовью к закатам и восходам, к росистой земле, таким восторгом перед родной природой, что выход ее ошеломил современников. Книгу читали даже те, кто ранее был равнодушен к природе, кто никогда не держал удочки в руке, никогда не выезжал дальше Охты в Петербурге или Сокольников в Москве.

А старый Аксаков между тем, побуждаемый, одобряемый восторженными письмами читателей, начал новую книгу, еще более удивительную и прекрасную — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Память его оказалась удивительно свежей и острой. Он закрывал глаза — и к нему прилетали милые кулички и юркие бекасы. Он чувствовал запах ружейного дыма и дурманящий дух болот, видел дрожащую на стойке собаку, слышал нервный взлет тетеревов, гром выстрела и торопливое шуршание своих сапог по траве.

Аксаков плохо видел и не мог писать. Он диктовал домашним

в своем покойном, несколько сумрачном кабинете. Сердце его билось от воспоминаний. Ему хотелось смеяться и плакать, голос его срывался от волнения. Но он диктовал глуховато и размеренно и находил удивительные по поэтической точности и выпуклости слова. Неоспоримой достоверности описаний его мог бы позавидовать любой ученый-натуралист.

Талант Аксакова был своеобразен. Ничего «сочинить» Аксаков не мог, он писал только правду, только то, чему сам был очевидцем. Все творчество его поэтому автобиографично.

Книги «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» — яркий пример того, как биография одного человека перерастает в биографию целого края, в биографию общества. Жестокость и буйство помещиков, красоту степей, жизнь крестьян, обычаи и порядки, изустные легенды — все это Аксаков описывает, не упуская ни одной мелочи, на всем подолгу задерживая свой взор.

Он будто заново учится писать — непритязательно, спокойно, великолепным народным языком. По остроумному замечанию одного из современников, Аксаков пишет так, будто не прочитал до этого ни одной книги.

Новые его произведения ничем не похожи на статьи о театре и литературе, в которых ранее с таким блеском проявлялись его ум и разностороннее образование.

Ему все кажется, что он мало помнит, мало может сообщить читателю. О каждой своей вещи он думает как о последней и вкладывает в нее всю свою душу. И каждый раз, заканчивая книгу, Аксаков с изумлением убеждается, что не рассказал и десятой доли того, что знал, что воспоминаний хватит еще на целую книгу. И он начинает следующую книгу, уже как самую последнюю, — и опять оказывается, что он спел еще не все свои песни.

Умер Аксаков в ночь на 30 апреля (12 мая) 1859 года. За четыре месяца до смерти он продиктовал дочери последнее свое произведение — «Очерк зимнего дня».

Влияние Аксакова на всю последующую литературу было огромно. Пейзаж стал неотъемлемой частью русской литературы. Певцами родной природы стали потом многие прекрасные поэты — от Тургенева до Пришвина. Но первым певцом ее был Аксаков, и тихие песни его звучат для нас через столетие.

1959

Щедрость души [21]

Герои рассказов молодого писателя Глеба Горышина, как правило, немногословны. Да и сам автор будто бы немногословен. Точнее — он экономен. Нет нужды говорить, сколь завидно это качество. Качество это завидно вдвойне еще потому, что, обогащенное внутренней поэзией, пульсирующим подтекстом, оно позволяет писателю выражать то, что трудно выразимо словом.

«Хлеб и соль» — так назвал Горышин свою первую книгу. Это название символично. Мы богаче, конечно, но хлеб и соль все равно первородны, а Горышин ищет в жизни настоящее.

В рассказах Горышина приходит и уходит любовь, льют дожди, текут реки, гонят по рекам плоты, валят лес и сажают яблони... Все обыденно, все просто. И говорится об этом как бы небрежно, как бы вскользь. Но в самой своей сути эти рассказы туги и наполнены ощущениями мощными. Люди у Горышина очень обыкновенные: иногда слабые, простые, часто неуверенные в себе, совсем не героические внешне, но обладают они чем-то таким, что делает их неизмеримо выше любого героя западной литературы. Это высшее обязательно присутствует в каждом рассказе, независимо от того, печален он или радостен. Это высшее — государство, народ, партия. Во имя народа, во имя партии живут и борются эти люди.

У героев Горышина есть цель. И всегда эта цель — главная. Хлеб и соль жизни. Люди Горышина — строители. Каждый из них закладывает по камню в фундамент будущего.

Может быть, начало строительства в Сибири будет иметь потом такое же значение для человечества, как открытие новой части света. Увидеть и запечатлеть это начало — долг литературы. Показать пионеров Сибири еще необжитой, девственной — задача для писателя увлекательнейшая.

Почти все рассказы Горышина — о Сибири. Горышин пишет о том, что знает не из вторых рук о тех местах, где сам был, о тех людях, с которыми сам ел хлеб и соль. Он пишет свои рассказы, наполняя их внутренним восторгом перед героями, не потому, что писать рассказы о Сибири — модно, а потому, что Сибирь томительно взяла его за сердце.

Над рассказами Горышина хочется думать. Их хочется перечитывать — первый признак таланта. А прочитав их, хочется самому сделать что-нибудь настоящее. Хочется научиться гонять плоты по холодным рекам, хочется не спать ночи, убирая хлеб. Или вести машину по степи. Или посадить хоть одну яблоню в

своей жизни.

Рассказы Горышина мобилизуют. Есть книги, судьба которых — срывать людей с места и бросать их в далекое. Есть книги, прочитав которые люди едут на Белое море или на Камчатку или становятся моряками или охотниками... Авторы таких книг представляются мне людьми щедрыми на красоту и добро. Они проходят, подарив вас улыбкой, поманив вас куда-то, так что сожмется от глухого волнения сердце.

1959

Добрый талант [22]

Два года назад Детгизом была издана книжка «Подслушанный разговор». Она была изящна, украшали ее гравюры, полные тончайшей лирической прелести. Мало было стихотворений в этой миниатюрной книжечке, но в каждом из них присутствовало то, что сразу позволило выдвинуть автора их в число поэтов — не забавников, не рифмачей, донельзя довольных своей малолетней аудиторией, но редких людей, обладающих счастливым даром быть детским поэтом в самой своей сути. Автором этой книжки был Юрий Коринец, тогда еще студент Литературного института.

Юрий Коринец выпустил новую книгу стихов — уже по-настоящему детгизовскую, большого формата, с яркой обложкой, с заманчивым названием «Триста тридцать три жильца». В этой книге уже новые стихи, и содержание их и форма таковы, что можно уже с совершенной уверенностью сказать: в детской литературе появился новый талант!

Стихотворение, давшее название книге, написано с такой изобретательностью, наполнено таким современным содержанием и в то же время так просто по форме, так легко запоминается, что, несомненно, станет надолго одним из любимейших стихов нашей детворы.

Оно полно доброго юмора и бесконечной любви к старому дому и его жильцам.

Но это лишь зачин книги, лишь одна сторона многообразного дарования поэта — легкая, полная неожиданностей и прекрасной «детскости», идущей от считалки, от детских игр, от детского фольклора.

А вслед за ним следуют еще и еще стихи, в которых поэт то добр, то грустен, то ироничен, то весел, то серьезен. И в каждом стихотворении — особый мир, глубокая, интересная мысль.

В стихах «Где лучше?» сталкиваются философия сидня, лежебоки и философия поэта и труженика. Стихи «Тишина» напоены таинственностью ночных шорохов, загадочностью мира, светом радостных звуков. В «Лесном состязанье» — четкий ритм считалки, калейдоскоп сценок, суматоха движений, звериный крик и шум. А стихотворение «Лапки» — полузагадка, написанная с той безыскусственностью, которой владеют только мастера.

В поэме-сказке «Колесо» (удостоенной, кстати, премии на всесоюзном конкурсе) Ю. Коринец разворачивает перед юным читателем глубоко поэтическую картину рождения и развития колеса. Поэта упрекали за то, что он не вывел в этой сказке героя.

Но герой в сказке есть, и герой этот — народ. Тот изумительно талантливый народ наш, который и английскую блоху подковал когда-то, и вот теперь, создал и атомную электростанцию, и спутники, и многое другое — поистине чудесное. Народ этот отменно талантлив, богат на выдумку, изобретателен, щедр и весел, — и сказка написана именно в народных интонациях:

Земля вертелась,
Время шло.
Стояло на земле село.
Окружено лесами,
Отражено в воде —
Угадывайте сами,
В каком году и где.

Наконец, в книге есть стихи, в которых поэт наиболее серьезен, в которых с наибольшей силой ощущается глубина мысли и широкий взгляд на жизнь. Одним из лучших в книге стихотворений такого плана является «Сеть»:

Она была растеньем в поле
И нитью плотного клубка.
И сетью станет поневоле
В искусных пальцах рыбака.
Петля к петле,
Петля к петле —
Он вяжет нить суровую.
И вот однажды на земле
Раскинет сеть
Готовую.
Сеть попадет в морскую глыбь
И оживет, задышит,
Когда впервые стаю рыб
Внутри себя услышит!
Потом сушиться будет сеть,
Сеть будет в воздухе висеть
На длинных кольях, над землей,
Блистая рыбьей чешуей.
Порой в ней промелькнет звезда
Иль водорослей борода...
Но старятся и сети,
Как все на этом свете!
Вода морская сеть разъест,
В ней нити станут рваться,
И с глубиной подводных мест
Придется ей расстаться.
Всю сеть порежут на куски

И сделают
Половики.
И, непривычная к теплу,
Задавленная горем,
Сеть будет сохнуть на полу
И долго пахнуть морем.

Я привел это стихотворение полностью как яркий пример того, какой проникновенной может быть современная детская поэзия, как далеко ушла она от сладеньких дореволюционных стишков, с какой высокой серьезностью может говорить такая поэзия со своим маленьким читателем.

Почему-то принято заканчивать короткие рецензии поспешными и невнятными перечислениями недостатков книги — перечислениями, обычно ровно ничего не говорящими читателю.

Я не хочу делать этого прежде всего потому, что знакомство с поэзией Юрия Коринца ничего, кроме радости, не принесло мне. И потому, что сам он о своем творчестве думает, вероятно, больше и мучительней, чем кто бы то ни было.

1960

Песнь человеку и природе [23]

В прошлом году я больше месяца пробыл на Севере, на Белом море, видел незаходящее солнце, мрачные, пустынные берега, блеск моря, сильных людей, жизнь которых проходит в постоянной опасности, в борьбе с суровой природой. И по мере того, как я узнавал все это ближе и ближе, я все больше огорчался, что я не художник и не могу увезти с собой эту красоту запечатленной на полотне. Потому что героические деяния заражают, потому что жизнь мужественных людей возбуждает желание стать лучше и хоть чем-то походить на них.

И вот когда я увидел картины Рокуэлла Кента, мне стало радостно, что на свете живет художник, любящий Север, думающий о людях как о борцах и видящий мир наполненным чистыми красками жизни.

В картинах его нет тематического разнообразия — все они как одна песнь человеку и природе, солнцу и морю, горам и вересковым долинам, домам и шхунам. На его картинах горят могущественные солнца, окруженные багровыми световыми кольцами; ослепительной белизной сверкают снега; страшные ледники обрываются в изумрудные моря; работают у моря на берегу люди, и у людей этих ноги как столбы, плечи широки, лица мудры и спокойны; дома этих людей строены навек — не только для себя, но и для правнуков.

Север — страшный, ледяной и немой и первозданно прекрасный, завораживающий — дышит на нас с картин Кента. Чтобы так писать о земле, надо чувствовать ее всем телом — ногами, глазами, ушами, руками, — надо падать на нее в изнеможении, надо строить на ней дома или рубить лес, надо ходить по ней, смотреть на нее неустанно, надо плавать по ее морям и рекам, ловить рыбу, есть и пить с ее обитателями и вместе с ними страдать или петь песни, когда уходит горе и приходит радость.

И Рокуэлл Кент все это познал. Родился он в 1882 году в США, в семье фермеров — потомков ранних переселенцев. Кончил школу в Нью-Йорке, изучал архитектуру в Колумбийском университете и занимался живописью у художника Роберта Генри. Жизнь его была полна приключений и борьбы. Он был ловцом крабов, чернорабочим, плотником и моряком. Жил в суровых краях: на острове Монхенган у побережья штата Мэн, на Ньюфаундленде, на Аляске, на Огненной Земле.

Он сам построил шхуну и отправился на ней в плавание по Северной Атлантике. Потерпев кораблекрушение возле берегов

Гренландии, больше года жил у эскимосов. Он влюбился в этот народ и приезжал потом в Гренландию еще два раза.

Но Рокуэлл Кент не только ловил рыбу, строил дома и лодки, рыл землю и укладывал кирпич, — натруженными руками он еще рисовал и писал книги, потому что видел, как прекрасны люди и мир, и не мог остаться равнодушным к их красоте. Он писал картины и книги о том, что видел и чем жил. И это были настоящие картины и книги, потому что, наверное, нет на свете ничего прекрасней, чем человеческая жизнь на нашей такой крохотной в мироздании, но в то же время и такой великой планете.

Рокуэлл Кент принадлежит к числу величайших гуманистов нашего века не только потому, что он прекрасный художник и писатель, но еще и потому, что высшей своей гражданской целью поставил он борьбу за мир. Он не уединился на ферме в Адирондакских горах, которую выстроил своими руками, нет, он смело вступил в бой и одержал немало побед в борьбе за самое святое право человека — жить мирно на земле.

Сейчас Кенту семьдесят девятый год. Он отец пятерых детей, дед шестнадцати внуков и прадед трех правнуков. Картины его находятся в лучших галереях мира. Рокуэлл Кент — член Всемирного Совета Мира и председатель Национального комитета американо-советской дружбы.

Вместе с супругой Рокуэлл Кент гостил недавно в Советском Союзе. Он уехал с надеждой снова побывать у нас, оставив нам жар своей дружбы и свой прекрасный дар — восемьдесят картин, свыше восьмисот рисунков и гравюр и большое собрание книг.

И советские люди, которые смотрят теперь эту замечательную коллекцию, с уважением и признательностью думают об этом мудром и большом человеке, который своими произведениями учит верить в жизнь, правду и красоту.

1961

Памяти Хемингуэя [24]

Жизнь великого американца Эрнеста Хемингуэя оборвалась. Он погиб 2 июля у себя дома в Сан-Вэлли, рано утром, собираясь на охоту.

Произведения Хемингуэя издавались во всех странах огромными тиражами. Миллионы американцев, итальянцев, русских, французов, немцев, англичан читали и перечитывали его книги. Статьями и книгами о нем, вышедшими на всех языках, можно было бы заполнить отдельный зал крупнейшей библиотеки.

Почему же всем честным людям на земле так дорого имя Хемингуэя? «Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке, — говорил Хемингуэй. — Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем нужно научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь».

Людей и жизнь Хемингуэй изучал на всей планете. Его всегда влекли те события, при которых человек вынужден победить или умереть, при которых человек обнажается весь — во всей своей красоте или мерзости.

Не так уж часто случается, когда писатель, даже гениальный, бывает во всем подобен лучшим своим героям. Хемингуэй был как раз таким писателем. Это был крепкий, мужественный человек — солдат и охотник, боксер и рыбак. Он сражался в Италии в первую мировую войну. Он был свидетелем испанской трагедии 1936 года. Он исколесил бесчисленное множество боевых дорог, попадал в катастрофы, падал с самолетом в дебрях Центральной Африки. Тело его было исполосовано шрамами от десятков ран. Он дружил с бойцами-матадорами, рыбаками, охотниками, рабочими, матросами, потому что сам был бойцом.

Больше всего Хемингуэй ненавидел фашизм и войну и именно поэтому участвовал в качестве солдата или корреспондента почти во всех войнах первой половины XX столетия.

«Те, кто сражается на войне, — писал он, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто разжигает, затевает и ведет войну, — свиньи, думающие только о неприкрытой экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться».

Он знал цену и крови, и человеческому мужеству, и поэтому не было для него большего счастья, чем похвала солдата, матадора или рыбака.

Своим творчеством Эрнест Хемингуэй открыл новую страницу в истории мировой литературы. Он стал писать в начале двадцатых годов и никогда не мечтал о легкой писательской доле, — он мечтал только о долгой жизни, чтобы успеть написать обо всем, что видел и думал.

Его рассказы, романы и пьесы написаны в принципиально новом стиле — стиле двадцатого века. Он жил и писал в мире, потрясаемом катаклизмами, в мире, где человек одинок и несчастлив. И потому многие романы и рассказы его наполнены такой едкой горечью, а герои его — настоящие люди, жаждущие счастья для себя и других, — так часто умирают. Произведения Хемингуэя полны большой правды о человеке и веры в него.

За послевоенные годы значение Хемингуэя как писателя и антифашиста выросло еще более. Особенно любили его произведения у нас в СССР, любили и думали о нем, и жадно ловили слухи: «Хемингуэй приветствует революцию на Кубе!», «Хемингуэй вручает Фиделю Кастро кубок за победу в рыболовном соревновании!», «Хемингуэй принимает Микояна!», «Хемингуэй собирается к нам», «Хемингуэй на своей моторной лодке бороздит воды Гольфстрима!..».

Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радует мысль о существовании где-то близкого, родного человека.

Его загорелое лицо, твердые серые глаза столько раз смотрели на нас со страниц газет и журналов. Его борода, белая и широкая, напоминала нам бороду Льва Толстого.

Радостно было сознавать, что этот человек живет в одно время с нами и так же, как мы все, напряженно размышляет об этом времени.

Герои Хемингуэя часто умирают трагической смертью. Такой же смертью умер на 62-м году жизни и автор книг об этих героях. Он как-то написал: «В молодости смерти придавалось огромное значение. Теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит».

К счастью для нас, живых, смерть не уносит с собой всего человека. Остаются его дела — дома, которые он построил, или книги, которые он написал...

1961

Ответы на анкету журнала «вопросы литературы» (1962, № 9) [25]

1. Опыт мой, вероятно, тот же, что и у большинства моих сверстников. В детстве и юности — война, жизнь мрачная и голодная, затем — учеба, работа и опять учеба... Словом, опыт не особенно разнообразен.

Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней. Для писателя она особенно важна. Человек с богатой внутренней биографией может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок.

Печататься начал я в 1952 году. В каком-то сборнике вышла у меня одноактная пьеса «Новый станок».

2. До сих пор я не выделял себе какую-нибудь проблему особенно. Мне кажется, что каждый писатель, имеющий смелость причислять себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем.

Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов — вот некоторые из проблем, которые меня занимают. Эти же проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях всех наших наиболее талантливых прозаиков и поэтов.

Жизнь специально я не изучаю и материалов не собираю, кроме тех случаев, когда едешь по заданию редакции. Я вообще не понимаю этого термина — «изучение жизни». Жизнь можно осмысливать, о ней можно размышлять, но «изучать» ее незачем — нужно просто жить.

Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два, — иногда много времени спустя после поездки.

Но это выходит как-то само собой.

3. Я не думаю, что литература сразу и непосредственно влияет на жизнь человека и на его нравственное состояние. Тому пример хотя бы многие несправедливые, нечистоплотные критики, которые, конечно, прочли и Толстого, и Чехова, и Хемингуэя, — прочли и ничему не научились.

И все же я верю в воспитательную силу литературы. И думаю, что писатель, всю жизнь свою проповедующий добро, правду и красоту в человеке, все-таки возвышает нравственные качества

своих современников и потомков — тех, конечно, кто имеет охоту читать и думать над прочитанным. А насколько глубоки бывают качественные изменения в человеке под влиянием литературы — не берусь судить. У каждого по-разному, вероятно.

Важно только, чтобы писатель совершенствовался нравственно сам — тогда он сможет и будет иметь право учить чему-то других. Низкий духовный уровень писателя неумолимо сказывается на его книгах. Читать эти книги или неинтересно, или грустно. А иногда стыдно.

4. Традиции честности перед собой и читателем.

Что же касается исканий, то форма должна служить идее. И наиболее плодотворны те искания, в которых «взыскующий» стремится с наибольшей полнотой и силой высказать свой замысел.

А в общем, каждый ищущий, если он талантлив, приходит в конце концов к простоте.

5. К. Паустовский написал мне года четыре назад совершенно ошеломляющее письмо. Кроме того, много хорошего говорили и писали мне и В. Панова, и Е. Дорош, и В. Шкловский, и И. Эренбург, и М. Светлов... Я уж не говорю о том, сколько доброго сделал мне покойный Н. И. Замошкин, в семинаре которого я был пять лет.

И я эти добрые слова хорошо помню и радуюсь, что в свое время были у меня такие талантливые наставники. Спасибо им!

6. Со страхом и надеждой я приступаю теперь к антивоенной повести. Вот, кстати, важная проблема, может быть, самая важная сейчас, и страшно, что можешь написать об этом недостаточно сильно.

Как я хочу написать об этом честно и сильно!

1962

О Лермонтове [26]

В 1958 году мне захотелось написать рассказ о Лермонтове и Пушкине. Меня заняла мысль, почему Лермонтов, который боготворил Пушкина, не был знаком с ним. Мне нужно было посмотреть на Неву, на Мойку, и я поехал в Ленинград. Темен этот город в конце декабря, быстры в нем слабые дни и медленны ночи. И вот в один из таких дней я долго сидел в гостинице, смотрел на Исаакий, ждал, пока рассветет, но все не рассветало, а когда настал день, я пошел в дом Пушкина на Мойке.

Не знаю, как сейчас, а тогда лежали там на подоконниках, в папках, похожих на обложки ресторанных меню, отпечатанные на машинке записки, выдержки из дневников и писем тех, кто был возле Пушкина в последние его часы на земле.

Обо всем было там написано — о том, как Пушкин забывался и опять приходил в себя, как просил пить и морошки, как звал друзей, прощался. И кто что говорил, и кто приезжал.

Это не литература, это просто торопливые, краткие записи друзей, которые понимали, *кто* умирает на красном диване в кабинете.

В доме, в квартире все теперь приблизительно. Книги не те и диван не тот, мебель не та, что была при Пушкине. Но одно там не приблизительно. Есть там небольшой стенд, под стеклом — жилет, наполовину спаленная свеча и светлая лайковая перчатка. В жилете этом стрелялся Пушкин, свеча горела возле гроба при отпевании, а перчатка — Петра Вяземского. Другую он бросил в гроб Пушкину.

У всех русских есть какое-то горькое, вековое сожаление о Пушкине, даже вроде бы чувство вины... Пушкина убили, а он был молод, около тридцати восьми лет — это ли возраст для писателя! Тридцать восемь лет ему было, вот что страшно, вот что нас мучит и сейчас.

Лермонтову же было неполных двадцать семь.

Образ его смутен, загадочен для нас. Это потом уже, когда стал он мертв и гениален, как о далекой звезде, говорили о нем, что был он хорош, обаятелен и велик во всяких своих поступках. Потом, когда друзья и не друзья кинулись припоминать, то припоминали только хорошее и много при этом привирали.

Зато когда он был мальчик еще, когда он был гвардейцем, гусаром, поэтом только для друзей, всерьез его никто не принимал. Упоминания о нем в письмах и дневниках его знакомых были редки и почти всегда неприязненны. По этим дневникам и письмам выходило, что сумрачен он был, желчен,

некрасив, хром, неблагодарен, циничен...

Царь его ненавидел, причем ненавидел откровенно, открыто. Почему? Не любил царь и Пушкина, но тому он многое спускал. По отношению к Лермонтову он был жесток. По одной версии, узнав о смерти несносного поручика, он сказал: «Туда ему и дорога!», по другой — «Собаке собачья смерть!».

Лермонтов собирался выйти в отставку. Он был гусар в полном смысле этого слова. Он устал к двадцати шести годам и жаждал заняться литературой.

Не то удивительно, что он устал от службы. Удивительно, как он успевал, таскаясь по российским дорогам, по Кавказу, стоя в нарядах, пируя с друзьями, — как он успевал писать свои высокие, горчайшие стихи!

Как бы между делом он закончил и беспрестанно улучшал, отделывал своего «Демона». Он написал множество стихотворений, чуть ли не каждое из которых было поводом для статей Белинского. Он создал, наконец, своего «Героя» — все эти разнообразные главы дотоле невиданной в русском языке прозы.

Мало того, он задумывал уже исторический роман. Эпоха Екатерины II, Отечественная война 1812 года и современная ему жизнь — вот было содержание его будущего романа. Он хотел эпопеи. Это о нем с восхищенным испугом говорил долго спустя Лев Толстой: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Все это хорошо известно, и я лишний раз напоминаю об этом, потому что действительно страшно подумать, что бы написал еще этот изжелта-смуглый поэт с сумрачными глазами.

Но какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке? Зачем, едва прощенный, опальный армейский офицер тотчас по прибытии своем в Петербург появляется на балу у Воронцовой, в присутствии Михаила Павловича? Зачем почти тотчас дерется он на дуэли с Барантом? Мало ему было Кавказа на первый раз? А он знал ведь из «Свода военных постановлений», что участники дуэли и их секунданты рассматриваются как «умышленные убийцы» и им грозит, как крайняя мера, «лишение всех прав состояния, наказание шпицрутенами и ссылка в каторжные работы»!

Наконец, что ему был Мартынов? Неужели в нем он видел врага, неужели в Мартынове для него слились и российское крепостничество, удушливое самодержавие, цензура, жестокий свет — словом, все, что он ненавидел?

А эти условия дуэли — непременно стреляться до трех раз и пистолеты самого крупного калибра! Был ли враг ему Мартынов? Если был, то зачем стоял Лермонтов у барьера с пистолетом,

поднятым вверх? Или он хотел еще раз испытать свою судьбу, уподобиться своему странному герою-фаталисту?

Совсем не то было в деле с Пушкиным. Тому Дантес был враг, враг личный, и недаром, уже смертельно раненный, лежащий на снегу, он все-таки стрелял в Дантеса и, когда попал, подбросил в радости пистолет и закричал: «Браво!» А тут? «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!» — радостно говорил Лермонтов Столыпину в первый же день свой в Пятигорске. А в день дуэли — вишни в картузе... Почти мирная беседа, когда ехали они верхом к обрыву бок о бок.

И опять, опять, как в случае с Пушкиным, друзья не смогли удержать его от рокового шага. Да и были ли у него там, в Пятигорске, друзья, то есть люди, которые понимали бы, на кого они все вместе, по выражению того же Лермонтова, «в сей миг кровавый» поднимали руку? Нет, конечно, не они поднимали, не они, — поднимал Мартынов, и нехотя поднимал, ведь они дружили когда-то, и если даже он не понимал, какой человек стоит перед ним на обрыве, все же Мартынов не Дантес был. И еще прибавим — не установленная, но весьма вероятная, умелая, скрытая рука жандармов, направляющая, ставящая эту трагедию, сделала свое дело.

И никто не написал о нем тогда, как Одоевский о Пушкине, — «Солнце русской поэзии закатилось...». Глухо дошла в Петербург весть о смерти поэта. А между тем Лермонтов был именно солнцем русской поэзии. И после смерти Пушкина не было на Руси поэта блистательней, чем Лермонтов.

Ему шел двадцать седьмой год. Убийство — всегда убийство, и нет для него оправдания. Но, убивая Лермонтова, убивали не только человека — вычеркивали блестящую главу из русской национальной истории.

1964

Предисловие к роману А. Нурпеисова «сумерки» [27]

Абдижамил Нурпеисов родился в Кзыл-Ординской области, на берегу Аральского моря в семье рыбака-охотника. В 1942 году он кончает среднюю школу и воюет на фронтах Великой Отечественной войны, после войны работает и учится, в 1956 году оканчивает Литературный институт имени М. Горького, став уже к этому времени писателем-профессионалом.

В 1950 году в Алма-Ате выходит его роман «Курляндия», удостоенный затем республиканской премии, в 1958 году — роман «Желанный день», а в 1961 — 1964 годах — первая и вторая книги трилогии «Кровь и пот». Роман «Сумерки», впервые переведенный на русский язык, является началом трилогии.

А. Нурпеисов, таким образом, принадлежит к молодому поколению казахских писателей, пришедших в литературу в 50-е годы. Я думаю, нет нужды говорить здесь, какими сдвигами в жизни всего нашего общества ознаменованы именно 50-е годы. Кроме того, развитие казахской литературы за последние полтора десятка лет — слишком серьезная и большая тема, чтобы говорить о ней вскользь. А я хочу лишь сказать несколько слов о романе «Сумерки» и его авторе, хотя еще Лермонтов заметил, что предисловие к роману — последнее дело...

После «Абая» Мухтара Ауэзова казахскому писателю нужен не только талант, но и смелость, чтобы взяться за исторический роман. Потому что «Абай» для казахской литературы стал тем эталоном, которым всегда будут измеряться эпические произведения других писателей. И может быть, А. Нурпеисов не взялся бы писать свою трилогию, но любовь его к своему народу, к жизни рыбаков из бедных аулов, его восторженное пристрастие к степям своей родины были так велики, а история казахов — как древняя, так и новая — освещена в литературе еще так скупо, что Нурпеисов решил стать на какое-то время писателем именно историческим.

Шесть лет жизни отдал автор своему роману, а прожил за это время шестнадцать лет. Он встретился со своими героями в глухом 1914 году, а расстался — в 1930-м. Вместе с ними он ощущал грозные зарницы надвигающихся перемен, вместе с ними воевал и любил, многих он недосчитался к концу романа, многих похоронил. Всего несколько рыбаков, несколько несчастных женщин были сначала с автором на берегу моря, в сумеречной, элегической степи, как бы в доисторические времена. Но с каждой

новой главой, с каждой частью романа герои все множились, степь все раздвигалась, и уже города — сначала как миражи, видения — все чаще появлялись на страницах романа. Приходили, оживали баи, мурзы, студенты, урядники, русские купцы, караванщики, конокрады, колчаковцы, большевики, белогвардейцы, солдаты, восставшие рабочие, ссыльные, генералы... И автор любил их, и сострадал им, презирал, смеялся над ними и оплакивал погибших.

Теперь роман дописан. Теперь герои ушли от автора, и он ничего не может больше для них сделать, они отделились он него. Герои всегда живут сами по себе, автор может забыть их или даже отказаться от них, они все равно будут жить уже в сознании читателя — и тем дольше и ярче, чем больше любил их, чем ярче их видел в свое время автор. Я бы мог многое рассказать читателю о героях Нурпеисова, но боюсь быть пристрастным — слишком долго я в них вчитывался и о них думал.

Целую зиму провел я в горах под Алма-Атой, в ущелье Медео. Там было много тишины и много солнца. Снег таял на обрывах, обращенных к югу, и всю зиму в горах пахло весной. Черные и серые дрозды, которые улетают от нас на всю зиму, там бегали по вытаявшей земле и перелетали в кустах барбариса по ущельям. Иногда по целым дням валил крупный снег, шоссе в горы заваливало, машины не ходили, деревья под снегом тяжелели и цепенели, и если с ветки срывалась нахохлившаяся птица — снег долго тогда сыпался кисеей. Мир вокруг меня как бы глох, только одна Алматинка внизу все рокотала и несла клочья пены и завитки пара.

Приезжал ко мне наверх Нурпеисов, мы выходили из теплого, тихого дома на мороз, на снег, и Нурпеисов рассказывал, как душиста и зелена бывает степь весной, как горько и сочно пахнет полынью на Арале и как нескончаемо звенят в вышине жаворонки.

В ту зиму я работал над переводом романа «Сумерки». Непривычны и чужды сначала были мне мир казахов, их жизнь и их обычаи, но каждый день я снова и снова как бы уходил туда, в 1914 год, на берег моря, к рыбакам и баям, свыкался с ними, и скоро все они стали мне как давние знакомцы, и мне было весело работать.

Итак, А. Нурпеисов впервые предстает перед русским читателем и, я думаю, очень волнуется. Я понимаю его — ведь он автор, а русский читатель — читатель требовательный. Но я верю, что эта неторопливая жизнь, эти вспышки народной ярости, доброта и усмешка, обычаи родов, праздники и битвы, с такой обстоятельностью нарисованные автором, тронут сердце русского

читателя точно так же, как трогали они сердца казахов.

1966

Несколько слов о В. Лихоносове [28]

У Виктора Лихоносова сейчас счастливое время — у него выходит, можно сказать, первая книга. Правда, две книжечки у него уже вышли, но эта — самая полная, таким большим тиражом и в таком большом издательстве — все равно как бы первая.

Поэтому я пишу это предисловие с дружеской завистью к моему младшему собрату. Мне представляется, как дни его сейчас наполнены ожиданием книги и мыслями о том, как она появится в книжных магазинах, как ее будут раскупать, читать, как кто-то задумается над ней, кому-то станет грустно или радостно от общения с этой книгой и какой у нее будет переплет, какая бумага...

Виктор Лихоносов — писатель молодой. Про таких, как он, принято даже говорить: «начинающий». Ему всего 29 лет, а писать он начал каких-нибудь три-четыре года назад, и литературная судьба его сложилась счастливо. Я не люблю слова «начинающий». В нем есть плохой привкус, хотя «начинающим» быть, безусловно, лучше, чем «кончающим». Начало всего сулит нам много встреч впереди.

Каждый писатель проходит известный искус, прежде чем утвердиться во мнении издателей и читателей. Часто ожидание признания растягивается для писателя на долгие годы. Гораздо реже оно приходит быстро. К Виктору Лихоносову оно пришло быстро.

Едва написав несколько рассказов, он начал печататься в московских журналах, затем почти одновременно вышли у него две книжки, приняли его и в Союз писателей, и вот теперь выходит его новая книга, в которую уже, кроме рассказов, входят маленькие повести.

Произошло это в первую очередь потому, что Лихоносов талантлив. Все, что он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и все пронизано острой, даже какой-то восторженно-печальной любовью к человеку. Любовью к миру в его географическом понятии — к закатам и восходам, к медленным рекам и полям — и к людям, живущим среди этой прекрасной русской природы, к людям, которые, несмотря ни на что, все-таки достойны самой нежной, сильной и постоянной любви и самого пристального внимания.

Я хотел бы обратить внимание читателя на то, что почти все герои Лихоносова — странники в самом высоком смысле слова. Они в постоянном поиске, в охоте к перемене мест, но не в той мучительной охоте, от которой страдал Онегин. Их уносит вдаль

тоска по красоте, они не потому едут, что жизнь вокруг них особенно мрачна и безысходна. Жизнь в общем, по Лихоносову, везде одинакова, но героям его все кажется, что где-то будет лучше. Просто они, пока молоды, пока не прилепились, не прижились на одном месте, хотят подольше побродить по свету в поисках своего счастья.

«Что-то будет...» — так назван один из рассказов Лихоносова. Это «что-то будет» постоянно преследует чуть ли не всех персонажей Лихоносова, да, вероятно, и самого автора. Лихоносов еще не устоялся, еще жаден на дорогу, на встречи, на новые места.

Как писатель Лихоносов влюблялся по очереди в прозу Чехова, Бунина, Платонова, Паустовского. В этом смысле он прошел хорошую школу. Его собственные длительные поездки по стране помогли ему взглянуть на мир широко, его собственная тоска по странствиям заводила его далеко.

Писатели не выдумывают своих героев. Все, что происходит в их рассказах и романах, происходит и с самими писателями, только в другой последовательности. В самом деле, откуда бы взялись все эти люди, их говор, такой естественный, живой, такой колоритный, местный и в то же время такой общерусский, откуда бы взялись их судьбы, горе и радости, откуда бы взяться всем этим ночам, звездам, ночным звукам, ярким дням, поездам, вокзалам, пристаням и пароходам, если бы все это в свое время не увидел и не пережил Лихоносов?

Благословенно же это, по выражению Пришвина, родственное внимание ко всему, что происходит на земле! Благословенна любовь к людям, звучащая в лихоносовских рассказах, берущая в плен своей элегической музыкальностью, настоянной на огромных пространствах наших русских полей.

В стремлении приободрить начинающего писателя авторы предисловий так часто прощают ему неудачные места, слабые скороговорки, все внимание свое и читателя обращая на те «искры божии», которые конечно же есть в любой книжке даже не слишком одаренного автора.

К счастью, в данном случае мне нет нужды лукавить ни перед собой, ни перед читателем. Один рассказ Лихоносова может понравиться больше, другой — меньше, но это вовсе не значит, что один рассказ написан лучше, а другой — хуже. У него нет серых произведений, это я говорю смело, потому что читатель, конечно, тут же может проверить мои слова.

Виктор Лихоносов не только талантлив, он вооружен еще той требовательностью к себе, без которой не бывает настоящего мастерства, а он, безусловно, мастер. Поэтому каждый его рассказ

написан тщательно, без компромиссов и скидок.

Стремление к совершенству видно в каждой строчке всего написанного Лихоносовым. И еще во всех рассказах Лихоносова виден подступ к чему-то большему, напряженные поиски того главного, самого главного, о чем должен написать каждый настоящий писатель.

Что-то будет — не только в жизни героев рассказов, но и в труде их автора. Что-то будет — вся книга убеждает нас в этом.

В. Лихоносовым написано не так много. В скобках мне хочется заметить, что русский писатель нетороплив в работе — не то что западный. Многие западные писатели пишут по сотне рассказов в год!

В эту книжку вошли три повести и три рассказа. Ранее Лихоносовым были напечатаны еще восемь рассказов. Вот и все, что этот писатель может пока предложить читателю. Но и этого немногого, по моему глубокому убеждению, достаточно для того, чтобы поздравить нашу литературу и читателей с новым хорошим писателем.

1967

Заранее условившись, что Олег Кибитов писатель одаренный и те немногие рассказы, которые впервые выходят у него отдельной книжкой, интересны — поговорим сначала о русском рассказе, о его национальных корнях.

Тема бесконечная, что и говорить, и не затрагивая бесчисленных граней этой темы, мы все же можем выделить для себя хотя бы одну: отличие русского рассказа от западной новеллы.

Один и тот же жанр, казалось бы, но там логика, здесь поэзия, там события, здесь жизнь.

Западную новеллу, написанную даже не слишком талантливым автором, почти всегда выручает острота сюжета. Остроумный, захватывающий сюжет, необычайные ситуации, в которые попадают герои, внезапный, часто парадоксальный конец — вот главные особенности западной новеллы.

Ничего или почти ничего этого нет в русском рассказе. Сюжетная линия его, как правило, тщательно затушевана, как бы убрана вовнутрь, и очень часто на первый взгляд в рассказе ничего не происходит.

Герои сидят и разговаривают, приезжают и уезжают, встречаются, расстаются... Едут на сенокос, например, как в рассказе О. Кибитова «Большие белые птицы». Много этого или мало для рассказа? Кажется, банальные все истории и ничего не происходит, нет захватывающих дух событий. Все так, конечно, и все же...

Разве не банально все то, что происходит в «Даме с собачкой» Чехова? Курортное знакомство, переходящее в легкую связь, расставание, а потом обыденная, налаженная годами жизнь у него и у нее, редкие свидания тайком, любовь, слезы... Попробуйте пересказать содержание человеку, не читавшему рассказа — тот, скорее всего, пожмет плечами: о чем только пишут? Ничего интересного!

И сколько таких рассказов у Чехова, Бунина, Короленко, Горького и у советских писателей Паустовского, Нагибина, Лихоносова, Битова, Белова...

Дело, следовательно, не в случае, послужившем основой для рассказа, не в его оригинальности или неоригинальности, а в том, с какой душевной мерой подошел к этому случаю автор. Дело прежде всего в том, что автор, наделенный в высокой степени ощущением родства со всеми людьми, делает этих людей как бы соучастниками всего происходящего в его рассказе.

Дело в том, наконец, что русский рассказ кроме основного тона имеет, как правило, множество обертонов, кроме одного чистого и ясного звука — множество призвуков. И чем чище взята основная нота, чем больше призвуков слышится в ней, тем лучше рассказ — от этого никуда не уйдешь.

Говоря о достоинствах русского рассказа, я вовсе не хочу, так сказать, выпятить эти достоинства за счет западной новеллы — нет, речь идет о различии сюжетов — внешнего и внутреннего.

Когда писатель почувствует вдруг необычайность повседневной жизни, если у него дрогнет сердце от вида какой-нибудь осенней лужи или от синего клочка неба в серых тучах, если тут же нахлынут на него воспоминания о счастливых или несчастливых днях, минутах, пережитых им, его близкими, если ощутит он вдруг связь времен и братство людей и захочется ему обо все этом рассказать и если есть еще у него талант, чтобы рассказать об этом хорошо, тогда сразу явятся и герои и заговорят с ним, и покажут ему свои лица и души — тогда и получается настоящий рассказ — не для вагонного чтения, не нуждающийся в остром сюжете или ловкой композиции.

И опять же, повторяю, чем сильнее наделен автор универсальной общностью со всеми остальными людьми — общностью не низшего порядка, конечно, не в питье, еде и тому подобном, — а общностью в высокой области духа и сердца, тем нужнее будут его писания людям, лишь бы хотели слышать имеющие уши.

Написавши уже два-три предисловия к книжкам моих товарищей по ремеслу, я все больше прихожу к выводу, что вступления или предисловия, если они так уже необходимы, — должны писать сами авторы.

Правда, скромность почти всегда мешает высказаться откровенно. Но кто, как не автор, лучше и полнее может раскрыть перед читателем свой замысел? Историю написания своего произведения? Наконец, мысли, ощущения, которые владели им во время работы?

И конечно же кому, как не автору, знать тайные причины, побудившие его писать именно о том, о чем он пишет, а не о другом — причины, так часто ускользающие даже от профессиональных критиков, не говоря уж об ином торопливом читателе?

Все-таки, от какого бы лица ни выступал автор, он пишет о себе. Даже если он пишет о лошади или о собаке. Не будем бояться высоких примеров: вряд ли Толстой был бы тем Толстым, каким мы его знаем, сложись жизнь его иначе. О чем писал бы он, если бы не вырос в усадьбе, не служил бы в армии, не участвовал

бы в Севастопольской обороне?

Или вот свидетельство И. Бунина о происхождении рассказа «Косцы»: «Когда мы с моим покойным братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе в Москву и стояли в Казани, грузчики, чем-то нагружавшие наш пароход, так восхитительно сильно и дружно пели, что мы с братом были в полном восторге... И все говорили: «Так могут петь, свободно, легко, всем существом, только русские люди». Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках с племянником и братом Юлием по большой дороге, как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с такой же свободой, легкостью и всем существом.

Написал я этот рассказ уже в Париже, в 1921 году, вспоминая Казань и этот березовый лес».

Точно так же и в рассказах Олега Кибитова отражен его душевный жизненный опыт. Олег Кибитов писатель молодой — достоинство в данном случае немаловажное. Начинает он довольно уверенно, и потому годы, которые у него впереди, сулят, быть может, читателю еще немалые радости.

Биография Кибитова типична для всего поколения 50 — 60-х годов. Окончил школу, потом техническое училище. Три года работал токарем-карусельщиком на Уралмашзаводе. Затем учеба на факультете журналистики, работа в редакциях... И вот теперь — первая книжка[30].

В этой книжке собрано не все, конечно, что написал Кибитов. И она не может дать полного представления о нем как о писателе. Но и в этих немногих рассказах уже проглядывают цепкость писательского взгляда, хорошее чувство слова и верность традиции русского рассказа. А традиционный русский рассказ, как я уже сказал, особенно труден, потому что требует простоты, ясности, но в то же время и некоего иного звука, призвука, который долго потом отдается и дрожит в душе читателя, уловившего этот призвук.

Первая книжка рассказов, особенно если рассказы интересны, — всегда загадка: что же нам даст автор во второй, третьей, десятой? Или, может быть, обещание останется невыполненным? Может быть, автор, овладев ремеслом, махнет рукой на поэзию и покатится по легкой дорожке?

Читая первые удачные рассказы молодых писателей, всегда испытываешь тревогу: знает ли этот молодой автор, в чем его сила и в чем слабость, не даст ли он слабости побороть силу?

Читая О. Кибитова, почему-то думаешь, что он стоит на верном пути и знает, куда ему идти, какой дорогой ему идти.

Пожелания доброго пути начинающим писателям стали у нас

своеобразной традицией. Ну что же, с богом! — скажем и мы Кибитову, как, бывало, говаривали наши деды, умащиваясь в санях и подтыкая под себя полы тулупа перед дальней дорогой...

1968

Веселье и грусть всегда соседствуют в русской осени. Весело оттого, что урожай собран, идет везде засолка капусты на зиму, уже запаривают бочки, везут и везут к избам бело-сизые хрустящие кочаны — и сколько же кочерыжек и морковки переедят ребятишки за эти дни!

И мешки с картошкой везут в каждый дом, ссыпают под пол, и грибов, если год грибной, позасолено в кадушках и банках, и рябина ворохами рдеет на верандах, и яблоки зарыты в сено по чердакам, чтобы дозрели, выжелтились.

А если ясный день, то такое вдруг ударит по глазам синее небо, какого и весной не увидишь, так прозрачны, отчетливы дали, такая радостная желтизна на жнивье, и такие зеленые, почти изумрудные квадраты озимых по склонам холмов!

В такие дни особенно весел частый стук топоров на поляне. Это плотники строят мне баню с каменкой, по-северному, под тесовой крышей. Плотники стучат, баня растет венец за венцом, и я, откровенно сказать, боюсь, что она будет готова раньше, чем я допишу эти несколько страниц, — так споро идет работа, что даже глядеть на это радостно.

Ну а грусть — оттого, что сыплет и сыплет лист, все чаще натягивает дожди, и птицы улетают на юг... И нехорошие мысли, что вот еще одно лето прошло.

Коротко в России лето, но всегда, когда ждешь его, предвкушаешь — таким бесконечным, жарким, светоносным кажется оно, а придет — то погода никак не налаживается, то холода, циклоны, ветры... Мелькнет, и нет — это Пушкин заметил — оттого и грусть.

Что же сказать о Владимире Солоухине?

Совсем неспроста начал я свою речь о нем с бани, с капусты да с картошки.

Потому что, доведись строить баню самому Солоухину, уж он не упустил бы такого случая, а сел бы тут же за стол и подробнейшим образом написал бы о том, какие бывают бани, откуда пошли на Руси и как их рубят — в угол, в лапу или еще как, — и как кроют, и что такое охлупень, перевод и так далее... В ход пошло бы все: и древние русские летописи, и история русского деревянного зодчества. А еще написал бы, как выбирал он и возил себе бревна и доски, как доставал дубовые плахи на сваи, как рядился с плотниками и печником, да какие были плотники, откуда родом, да как работали — все бы описал! Ну, а в заключение не преминул бы написать, как созвал он друзей,

когда баня была готова, как поддавали они пылу-жару, как хлестались на полке березовыми вениками, а потом — как сидели чисто умытые, сбросившие с себя груз годов, в сладкой послебанной истоме сидели за столиком и какие же были грузди на столе, какие рыжики и какая водка, настоянная — на чем? — ну, скажем, на черносмородиновых почках!

И получился бы прекраснейший рассказ, а то и целая книга. Книга о русской бане.

Не знаю, есть ли на свете счастливые писатели, но если под писательским счастьем понимать внутреннюю свободу в выборе любезного твоему сердцу сюжета, прибавить еще свободу выбора образа жизни, ну и не забыть, конечно, прочного успеха у русских и зарубежных читателей, то есть, иными словами, сознание, что то, что ты делаешь — делаешь хорошо, то Владимиру Солоухину можно только позавидовать.

Есть у него родная деревня, есть дом «о семнадцати окон», как он любит говорить, и не покупной дом, а родовой, есть у него собрание старопечатных и рукописных книг, икон, есть множество чудесных увлечений, и чуть ли не каждое из этих увлечений превращается со временем в интереснейший рассказ или книгу.

Каждый талантливый писатель — единственный в своем роде, потому что пишет лишь себя, лишь о мире, который окружает его небывалую, отличную от всех личность.

Что там ни говори, а герои Чехова — все эти бесчисленные врачи, художники, учителя, землемеры, генералы, мужики, помещики и прочие, и прочие, — это он сам в разных ипостасях, это круг его родных и знакомых, люди, встреченные им в жизни, это, наконец, его душа, воспринимающая мир по-чеховски, душа, любящая, сострадающая одному и презирающая другое, душа, вовсе не напрасно пришедшая в этот мир, мелькнувшая в нем кратким сиянием, нет, не напрасно, если не напрасен вообще наш труд, мир.

Владимир Солоухин, какое бы место в нашей литературе мы ему ни отводили, тоже единствен, как Чехов.

Кстати, о месте В. Солоухина в нашей литературе. Как было бы соблазнительно, если бы каждый писатель шел под номером: номер один, номер два и т. д. Хоть и скучновато, зато сразу знаешь, кто чего стоит.

Так вот — совсем не желая браться за определение номера Солоухина, я уверен в одном: у В. Солоухина совершенно особое место в литературе, особая область, и соперников у него в этой области нет. Можно бы, конечно, вторгнуться и в его область, да что толку? Солоухина в его деле не перещеголяешь.

В писательской манере Солоухина самое, пожалуй, интересное то, что ему как-то нет надобности дробить свое писательское «я», награждать частицами этого «я» своих героев или выдавать его за «я» какого-нибудь Петра Ивановича.

Обычно писатель, пишущий какое-то произведение от первого лица, придумывает ему профессию, жену или любовницу, место действия, сюжет... И читатель получает, с одной стороны, как бы исповедь самого автора, с другой стороны, автор всегда может сказать: нет, любезный читатель, это все-таки не я, это мой герой вам рассказывает свою жизнь.

Солоухин же никогда не прячется за своего литературного героя. Если он пишет, я — это значит: я, Владимир Солоухин.

Если он пишет: «Стол в нашей деревенской избе стоит таким образом, что, когда обедаешь, смотришь прямо в окно. А так как я садился обедать всегда на свое место, то и видно мне было во время обеда одно и то же...» Это значит, стол в солоухинской избе, в деревне Олепино, во Владимирской области, и на свое постоянное место садится не герой рассказа, а автор В. Солоухин.

Если Солоухин пишет об отце, матери, о сестре, о соседях — это его, В. Солоухина, отец, мать, сестра и соседи.

Этот прием (если это вообще можно назвать приемом) придает всем солоухинским вещам необычайную достоверность.

Но тогда что же это, мемуары? — может спросить догадливый читатель. В том-то и дело, что не мемуары, а рассказы и повести, то есть новеллы и романы, как их называют на Западе, со всеми присущими их жанру чертами.

Но достоверность достоверностью, а пора сказать наконец и о таланте. Талант — вещь трудно определимая, но легко ощутимая. О нем вернее всего можно было бы сказать словами шутливой поговорки: «Талант как деньги — или они есть, или их нет».

Так вот, именно талант позволяет Солоухину, дает ему смелость и, не побоюсь сказать, право писать о разных случаях из своей жизни так поэтично, так незамысловато, что щемит сердце от ощущения поэзии и правды, и жизнь человека и писателя Владимира Солоухина становится — как бы это поточнее сказать? — заразительной для его читателя.

Солоухин закладывает у себя в деревне сад, я читаю об этом и ловлю себя на том, что и мне уже хочется копать ямы, ездить в плодовые питомники, выбирать там молодые яблоньки.

Солоухин едет на зимнюю рыбалку — а я вдруг начинаю думать: «Где-то и у меня были валенки, ватные штаны, зимние удочки, надо бы съездить!»

Солоухин горюет — и мне горько.

Солоухин любит родину — мне хочется любить ее еще

больше, чем я любил ее до прочтения его книг.

У Селинджера в его «Над пропастью во ржи» герой — мальчик Колфилд — всех писателей разделяет на тех, кому хочется позвонить и кому позвонить не хочется. «Вот Фолкнеру я бы позвонил!» — говорит он.

Владимир Солоухин как раз тот писатель, кому хочется позвонить. Хочется приехать к нему в деревню. Хочется посмотреть на жизнь, о которой он так хорошо пишет, на людей, которых он так любит.

1974

Выступление в книге «Писатели высказывают свое отношение к войне во Вьетнаме» [32]

Хотя неисчислимые протесты разнообразного характера людей из всех уголков земного шара против американской агрессии во Вьетнаме, по-видимому, не достигают ушей американского правительства и, следовательно, до сегодняшнего дня как будто напрасны, я считаю, что писатели должны протестовать еще более активно, еще более громко.

Я считаю, что американская агрессия во Вьетнаме является преступлением против человечества.

Когда в далекой стране одна половина народа подстрекает другую, а сотни тысяч молодых американцев пересекают океан, чтобы убивать и быть убитыми, когда напалм и всевозможные бомбы сбрасываются на деревни из бамбука и, вместо того чтобы закатать рукава и взяться за работу, чтобы сделать жизнь на земле лучше, молодые американцы стреляют, вешают и жгут, когда они по приказу своего правительства творят то же самое, что немцы творили на нашей земле и на земле Европы всего лишь немногим больше чем двадцать лет назад, тогда президент и его советники лгут, лгут пасторы, напрасно призывая благословенье божье, молясь о победе американского оружия. И генералы, журналисты и политические деятели лгут, превознося «подлинную демократию» своей страны, потому что, когда демократия творит зло, она перестает быть демократией.

Однако, несмотря ни на что, я верю в силу слова, в силу честных, мужественных слов, ибо, определенное словами, любое событие получает свою подлинную оценку. Временами слово бессильно остановить зло, потому что писатель не стоит у власти, писатель не может давать приказы и не может остановить кровопролития. Но словами писатель может заклеймить каждое злое действие, даже когда злое и грязное деяние побеждает.

Тридцать лет назад во время гражданской войны в Испании режим Франко одержал победу, но величайшие писатели того времени, включая американцев, честно и громко сказали свое слово об этом режиме. Режим получил наименование фашизм, и, как бы долго ни правил Франко, он уже получил оценку словом, он фашист. Его правительство уже получило оценку истории. Оно получило свою оценку еще до прихода к власти.

Я твердо убежден, что точно таким же образом теперешнее американское правительство получит и даже уже получило свою

должную оценку в протестах всех народов.

1966

Не довольно ли? [33]

Говоря о сегодняшней лирической прозе, нам необходимо помнить, какой мужественной ей нужно было быть, чтобы отстоять самое себя. Лирическую прозу стегали все, кому не лень. Иной маленький рассказ вызывал, бывало, такую злую реакцию в критике, что количество написанного об этом рассказе в сто раз превышало объем самого рассказа.

Мы еще не настолько оскудели памятью, чтобы забыть версты проработочных статей, сопровождавших лирическую прозу на протяжении многих лет. Каких только ярлыков не навешивали на нее! «Очернительство» и «клевета» были еще не самыми сильными литературоведческими терминами. Дело доходило до того, что статьи-фельетоны появлялись даже в «Крокодиле», подверстанные к фельетонам о жуликах и рвачах. Иные статьи недавнего времени надолго отбивали у авторов охоту работать в области лирической прозы, а у редакторов — иметь с ней дело.

И все-таки лирическая проза выжила и процвела. Произошло это потому, что лирическая проза пришла на смену потоку бесконфликтных, олеографических поделок и принесла в современную литературу достаточно сильную струю свежего воздуха. Она не могла не вызвать ожесточение известной части критиков, потому что сначала робко, а потом все смелее начала ломать установившиеся каноны как в самой прозе, так и в критике. Да, и в критике, — потому что писать о лирической прозе набором штампов и газетных прописей, составлявших лексикон рецензий о «производственных» романах, уже нельзя было, нужно было подтягиваться до уровня нового писателя.

Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, — если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?

Конечно, не добротой одной жива литература, но разве доброта, совестливость, сердечность, нежность так уж плохи по нынешним временам? И вздох может пронзить...

— А дальше? А дальше? — спрашивает В. Камянов.

Что же дальше, и дальше что-нибудь будет, будут сожаления и радость, будет поэзия, а я что-то не слыхал, чтобы поэзии грозила когда-нибудь опасность перепроизводства. А потом,

почему, собственно, В. Камянов спрашивает об этом современных писателей? С этим вопросом надо было бы обратиться еще к Тургеневу и Чехову, к Пришвину, к Толстому, наконец, ибо что же такое, как не лирическая проза, его «Детство», «Отрочество» и «Юность».

Отрицая значение лирической прозы в целом, В. Камянов рассматривает почему-то только произведения о деревне (Шуртаков пошел еще дальше и все свое выступление посвятил деревенской прозе). Условимся поэтому о терминологии — деревенская проза еще не лирическая проза. Очевидно, что лирическая проза — это и «Родные» Лихоносова, и «Неотправленное письмо» В. Осипова, и произведения В. Конецкого, Г. Семенова, Ю. Смуула...

Лирические прозаики принесли в нашу литературу не только вздох и элегию, как утверждает В. Камянов, они принесли еще правдивость, талантливость, пристальное внимание к движениям души своих героев. Они дали нам если не широкие в каждом отдельном случае, то многочисленные картины жизни нашего общества, картины поэтические и верные.

Не довольно ли требовать от лирической прозы того, что ей не свойственно, и не пора ли, наоборот, заметить ее заслуги? Ратуя за глубокую эпическую литературу, нужно ли унижать лирическую прозу и вступать с ней в «принципиальный спор», как это делает В. Камянов?

Не соглашаясь с В. Камяновым в его оценке возможностей лирической прозы, тем не менее, если перейти к литературе вообще, — придется всем нам поставить перед собой один-единственный главный вопрос: о чем нам писать, о чем говорить и думать нашим героям?

Ответить на этот вопрос — значит создать произведение великое. И решить эту задачу в высшем смысле может только талант сильный и смелый.

Активный герой, которого предлагает нам В. Камянов, не выход. Да и что такое активный герой? Если герой живет в произведении, значит, он активен, поскольку активна сама жизнь. Пьер Безухов и князь Андрей — такие разные образы, но разве оба они не активны?

Русская литература всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем, — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории.

Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба

у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества.

Многое из того, что волновало их, теперь для нас несущественно и нас теперь не взволнует, но критерий, с которым должно подходить к настоящей литературе, важен и для нас, но нравственные проблемы — и для нас проблемы, от этого мы никуда не уйдем.

Литература наша развивается интересно. Худо-бедно, но мы все многое сделали, и поэтому можно с оптимизмом смотреть вперед в ожидании произведений более глубоких и важных, нежели те, которые мы сейчас имеем.

Конечно, легко сказать: поднимемся до вершин литературы! Кто откажется... Кто скажет: не хочу? Но все мы по одежке протягиваем ножки, так стоит ли нам хлопотать особенно? Не есть ли все наши призывы к совершенствованию звук пустой и сотрясение воздуха?

Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезнейшее отношение к задачам литературы даже и при малом таланте помогут мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда нелишне.

В. Камянов хочет видеть нашего современника в литературе «личностью духовно значительной». Я тоже. Думаю, что этого же хотят и писатели, упомянутые в статье «Не добротой единой...».

Что же нам мешает? Наша робость? Время? Отсутствие душевного опыта или недостаточный талант? Или в самом деле засилье бедной лирической прозы?

На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос, почему Толстой был эпическим писателем, а Чехов — лирическим.

Итак, подождем, потерпим. А пока что будем принципиально уважать лирическую прозу!

1967

О Бунине [34]

Вы задали так много вопросов, что отвечать на них я просто не могу из-за времени. Отвечу только на один — хуже ли стал Бунин писать в эмиграции.

После «Братьев» и «Господина из Сан-Франциско» Бунин стал самым могучим, самым прекрасным русским писателем. Конечно, десятки лет ему приходилось писать о России только по памяти, и это не могло не отразиться на его писаниях. Но как художник, как мастер слова — он, безусловно, вырос.

Я действительно намереваюсь написать книгу о Бунине. Что это будет за книга? Есть у Стефана Цвейга цикл повестей о великих людях под общим названием «Звездные часы человечества». Такой же примерно представляется мне и моя будущая книга, если сподоблюсь я ее написать...

1968

Почему не спросил я адреса этой виллы? Не знаю. Скорей всего, потому, что не думал попасть в Грасс. Все-таки ехал я не по своей воле, а по заранее расписанной программе.

И вдруг оказалось, что Грасс совсем близко от Ниццы, — и мы поехали. Был яркий весенний день, от синевы небес весело ломило душу, дорога струилась, складчатые отроги гор поворачивались беспрестанно своими гранями, хотелось ехать, но иногда шум машины внезапно утомлял, и тогда думалось, что лучше бы побыть в тишине. И такие прелестные кафе со снежно-белыми столиками во дворах, залитых солнцем, проносились мимо, так было везде пустынно и малолюдно в этот мартовский день!

Мы не выдержали и остановились возле одного из кафе, вошли во двор, поднялись на веранду, сели за тугую скатерть, выложили сигареты, вольно облокотились... Как жарко и нежно светило солнце. Как потягивал вдруг ледяной ветерок с гор!

Внизу, во дворе за одиноким столом пировала какая-то семья, дети возились, собака прыгала вокруг стола. Быстрый носовой французский говор вспыхивал там, как блестки на волнах.

А я вдруг стал воображать эту виллу Бельведер — и подумал, что, в сущности, это первый дом, где Бунин жил многие годы подряд. Что это был первый его дом!

Странно все-таки, что Бунин, которого критики не называли иначе как барином, помещиком, — никогда не имел своего угла. Вечный бродяга, жил он то у родственников в Орловской губернии, то по отелям, гостиницам...

Трудно понять человека, дожившего почти до старости и нажившего два чемодана рукописей и любимых вещей. Не говорю уже о Толстом — скромнейший Чехов всю жизнь мечтал стать домовладельцем и стал им.

И не беден был Бунин, нет, по тогдашним временам получал он высокие гонорары, любил жить широко — это досталось ему, наверно, от отца — любил путешествовать, побывал чуть не во всем мире, а возвращался каждый раз не к родным палестинам, а в гостиницу Лоскутную.

Жалел ли он, что нет у него детей, родного угла, где все свое, родное, привычное, где все настраивает на рабочий лад, на ежедневный постоянный труд?

Никогда не говорил он об этом.

И странно еще, что всю вторую свою половину жизни провел он оседло, почти никуда не ездил, будто потерял вдруг тягу к

новым местам. Или это потому, что жил бедно? Даже слишком бедно...

Каюсь — не люблю мемориальных музеев, до сих пор не был во многих знаменитых усадьбах. Но по дороге в Грасс мне вдруг так захотелось увидеть эту виллу, это печальное пристанище, где Бунин проводил свои, может быть, самые страшные ночи в мыслях о мимолетности славы и о скорой неминуемой смерти, так мне стало горько, будто ехал я на дорогую могилу.

И еще я думал, что и этот дом был, в сущности, чужой ему дом. Все в этом доме было ему чужое, и сами стены хранили память о многих поколениях чужих людей.

Все-таки и в этом доме был он минутный гость, странник, присевший на минуту перед дальней дорогой, только вот дороги у него как раз и не было. Даже эфемерного утешения, что дом твой станет когда-нибудь родовым гнездом для твоих детей и внуков — у него не было.

И мне не хотелось в «благоговейном молчании» ходить по комнатам этой виллы, а хотелось только взглянуть на стены, оглянуться вокруг, увидеть то, что долгие годы видел из окна и во время прогулок он.

Я думал, Грасс — небольшое местечко, а увидел большой город, как наша Ялта, с крутыми улицами, со множеством домов, рассыпанных по склонам.

Внизу сильно пахло духами от парфюмерной фабрики, как и везде, было скопище тигрино рявкающих автомобилей, кафе, ресторанов и кинотеатров.

Мои дамы стали спрашивать о вилле Бельведер, останавливали прохожих, сначала всех подряд, потом стали выбирать стариков, мы колесили вверх и вниз, заезжали в кафе и табачные киоски — никто не знал такой виллы...

Как же так, растерянно думал я, странно, что никто не знает, неужели не найдем? Наконец, одна из дам вспомнила, что в богадельне живет какой-то русский старик и уж он-то наверное должен знать.

Долго крутились мы по узким улочкам, искали богадельню, наконец нашли. Немного отступя от дороги стоял большой дом, за домом виднелся парк. Мы вошли в прихожую. Вышла бесшумно нам навстречу сестра в шелестящей черной одежде, выслушала, что ей говорили, молча повернулась и пошла впереди нас.

Я шел последним, и случилось так, что, закрывая растворенную дамами дверь, я вошел на галерею, глядящую громадными окнами в парк; я не сразу обернулся, а когда обернулся — оцепенел на миг: на галерее в креслах, на диванах,

на стульях сидело множество старух, все глядели на меня, и все молчали.

Были среди них милые благообразные старушки, но были и страшные, лет за девяносто, с мертвыми лицами, тусклыми глазами, восковыми носами, совершенно лысые, с трясущимися головами! И все они молчали, уставившись на меня. Я слегка поклонился, проходя, — только две или три молча кивнули мне в ответ.

Я вошел в столовую, где уже сидели мои дамы в ожидании сестры-хозяйки, присел за стол и вдруг отчетливо вспомнил детский сад, в который я ходил бог знает когда: так же пахло манной кашкой, компотом, клеенкой и стираным бельем...

Вышла сестра постарше, тоже в черном и в белом рогатом чепце. Поговорив с полминуты, дамы мои опечалились.

— Что? Умер? — спросил я со стеснившимся сердцем.

— Нет, но два дня назад увезли в госпиталь...

Последняя надежда исчезла. Больше, по-видимому, никто не мог нам указать адреса. Мы поднялись, вышли.... Выходя, я опять кивнул старухам. На этот раз мне не ответил никто.

Медленно поехали мы по улицам Грасса, а я думал о старухах. О том, что когда-то все они были девочками, девушками, любили, и их кто-то любил, даже из-за некоторых из них, может быть, кончали самоубийством. Были у них мужья, любовники, дети, дома. А теперь им только ждать: чья теперь очередь, кого раньше повезут в госпиталь, а потом на кладбище.

Я уж не надеялся попасть больше когда-нибудь в Грасс и увидеть дом Бунина. Я ехал назад по той же прекрасной горной дороге, между пепельными вершинами гор иногда синело море. Рестораны, отели, бензозаправочные колонки, рекламные щиты, развлекавшие раньше, — вдруг надоели.

Я вдруг вспомнил, что уж самый конец марта, что у нас на Оке, в Тарусе, может быть, пошел уже лед, что скоро разлив, по вечерам красно будут гореть там и сям по берегу костерки, бакенщики и рыбаки начнут смолить лодки. Недавний мой Париж...

И вот вечером в богатом отеле, мгновенный гость, стал я вспоминать все, что знал о нем, силясь представить его жизнь в чужой провинции. «Нерадостной была его старость». Это, конечно, неточные слова. Когда человеку шестьдесят и за шестьдесят, радостного в этом мало. Еще меньше ее в семьдесят, в восемьдесят лет. Конечно, не о радости следует говорить в данном случае. Но о покое.

Я еще не знал, какие два грустных дня предстоит мне провести, когда вечером входил под своды парижского вокзала,

чтобы ехать в Прованс.

Вспомнил я совершенно ободранную, тысячу лет не ремонтировавшуюся его парижскую квартиру на рю Оффенбах, представил, в какой — даже не бедности — нищете доживал он последние дни, как ослабевшей рукой писал неуверенное свое завещание: «Если будет после меня издание моих литературных работ...», вспомнил кладбище Сен-Женевьев, с прелестной церковкой, с березками, и приземистый серокаменный крест на его могиле. Тут же почему-то пришло на ум мне и другое кладбище, здесь, в Ницце, как ехал я туда мимо королевских дворцов в парках — как изумленно, даже оторопело входил я в этот поистине «город мертвых» — с улицами и проулками, где вместо домов возвышались гробницы и склепы с бесчисленными ангелами скорби и опрокинутыми светильниками на фронтонах, как, нагулявшись, наплутавшись, намучившись, вышли мы наконец к могиле другого изгнанника, полжизни прожившего в Лондоне, умершего в Париже, а похороненного почему-то здесь, под южным солнцем, среди желтого мрамора, исполосованного птичьим пометом.

1968 — 1969

Поедемте в Лопшеньгу [36]

Перечитывая книги Паустовского, вспоминая разговоры с ним, я теперь думаю, что страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям.

Вот некоторые выписки из одной только его книги «Золотая роза».

«Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать (и писал очень много! — *Ю. К.*) вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам».

«Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев».

«Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу».

«Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры».

Сознание, что он едет куда-то, всегда потрясало Паустовского. У него есть очерк, который он называл «Ветер странствий». Без этого ветра ему трудно было бы жить и писать. Почти все счастливые минуты в его жизни связаны с путешествиями.

Когда он ехал, он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге.

Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя.

«Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по

траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже родился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее».

Он написал потом знаменитую свою книгу «Кара-Бугаз».

И — как минута наивысшего счастья:

«Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко...

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ».

Таких воспоминаний о счастье дороги в его книгах сотни.

Как-то осенью сидел я в теплом тарусском доме Паустовского. Как всегда, говорили о том, кто из общих знакомых что пишет, куда уехал или откуда вернулся...

— Да, Юра! — оживленно сказал вдруг К. Г. — Я не показывал вам подзорную трубу? Нет?

И торопливо встал, подошел к полке и подал мне потертую подзорную трубу.

— Посмотрите! Замечательная вещь. И знаете, откуда она? С фрегата «Паллада»!

Потом сел опять за стол, стал смотреть за окно.

— А вы знаете, кому из писателей я больше всего завидую? Бунину! И совсем не таланту его. Гениальности, конечно, всегда позавидуешь, но я сейчас не об этом... Вы представьте только, где только он не был! Какие страны видел еще в молодости! Палестина, Иудея, Египет, Стамбул... Что там еще? Да! Индийский океан, Цейлон... Счастливый человек! Знаете что?.. Давайте с вами поедем в следующем году на Север. Как это там у вас? Лопшеньга... Поедемте в Лопшеньгу?

— Татьяна Алексеевна не пустит, — сказал я.

— Не пустит... — согласился он и вздохнул.

С Паустовским познакомился я в Дубултах весной 1957 года... Прошло, значит, с тех пор четырнадцать лет, и та весна, как и любая другая весна, случившаяся раньше или позже, все будет удаляться от нас, пока не споткнется о нашу гробовую крышку... Странно, как подумаешь, соотношение времени истории с личным временем каждого из нас.

Весной же 1967 года сидел я в Париже в гостях у Б. Зайцева, и

говорил он мне об И. Бунине. А начал свой рассказ так:

— Познакомился я с Иваном... кха... познакомился я с Иваном Буниным в 1902 году...

Я даже вздрогнул от какого-то страха, — тогда еще Чехов был жив! Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями, а мой отец еще и не родился! Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажется Б. Зайцеву столь уж долгой. Я даже уверен в этом!

Значит, четырнадцать лет прошло с той весны, как впервые увидел я Паустовского и услышал его голос. Я был влюблен в него тогда. Не любил, а именно влюблен. До того, что помню даже, какое пальто тогда у него было, — ратиновое, с пристежной подкладкой, простеганной ромбиками, — и шапка пыжиковая.

Вообще атмосфера влюбленности и связанного с ней некоторого трепета окружала Паустовского в последние его годы.

В 1963 году, в самый разгар славы Е. Евтушенко, поехал я с ним на Север и могу засвидетельствовать: от поклонников его отбою не было. Но то была качественно другая слава. К Паустовскому же отношение было, как бы это сказать... Да вот пример. Осенью 1960 года собрались мы с Федором Поленовым, внуком художника и директором музея, в гости к Паустовскому. Дошли до ворот, и тут Поленов даже как-то по-детски забоялся и дальше идти отказался. Пошел я один.

— Константин Георгиевич, — говорю, — там за воротами еще гость.

— А почему же за воротами?

— Стесняется вас.

По правде говоря, я тоже стеснялся каждый раз, наведываясь к Паустовскому.

Я не знаю, когда именно заболел Паустовский астмой. Но уже тогда, в Дубултах, болезнь крепко захватывала его, он все переменял комнаты, никак не мог устроиться, чтобы было тепло и солнечно. Иногда в погожие дни он одиноко бродил по песчаным дюнам, фотографировал что-нибудь, посматривал на белок, выходил к морю, но ненадолго — с моря дул сырой ветер, чуть не до горизонта громоздился ледяной припай, и пахло снегом.

Я не бывал в Дубултах летом и осенью, но весной там прекрасно! Почему-то много солнца, легкий морской воздух, заколоченные дачи, дома отдыха закрыты, кругом безлюдно, да и в Доме творчества обычно человек пятнадцать народу. Ранней весной там хорошо работается. Говорят, Паустовский именно в Дубултах написал чуть ли не всю «Золотую розу».

Но за тот месяц, когда видал я его каждый день, он, по-моему, почти не работал — много гулял, читал что-нибудь. Редко бывал он один, чаще был окружен собеседниками, смеялся и говорил, говорил своим слабым, сиплым голосом — чаще всего что-нибудь смешное. Любил рассказывать и слушать хорошие анекдоты. Вообще юмор, ирония были присущи ему в высшей степени.

Так он мне и запомнился тогда — сутулый, маленький, в очках, — и всегда возле него три-четыре собеседника.

Очков своих он как-то стеснялся, что ли, не подберу лучшего выражения. Во всяком случае, почти никогда не фотографировался в очках, торопился снять.

Прочитал он тогда мои первые рассказы и своей восторженной оценкой так смутил меня, что я несколько дней стеснялся к нему подходить. Рассказа три он отобрал и написал письмо для передачи Э. Казакевичу.

Любопытная деталь! В письме, в конце, кажется, он писал о весне и что на рассвете слышны с моря крики гусей... Так вот, дело было в начале марта, в море широкой полосой тянулся ледяной припай, — и для гусей было еще рано. Но была солнечная весна, закаты долго зеленели над морем, проступала яркая Венера — гуси должны были прилететь. Они тут же и прилетели в воображении Константина Георгиевича.

В следующий раз увидел я его ровно через год, тоже весной. Тогда впервые я попал на Оку, в Поленово. Была середина апреля, по оврагам еще белел снег. Ока стояла высоко, заливала все луга окрест, по лесам шуршали вороха прошлогодних листьев, закаты были широки, зелено-желты, и Ока по вечерам долго и выпукло сияла отраженным светом среди темных берегов.

Не успел я приехать в Поленово, как узнал, что Паустовский в Тарусе, и дня через два собрался к нему.

А в Тарусе было парно, грязно, все бежало, булькало, лилось, Ока лежала внизу мутным необозримым морем, в облаках случались голубые просветы, тогда столбы света падали на окрестные холмы и становился виден прозрачный пар над оголенной черной землей, над перелогами.

Паустовский, нахохлившись, сидел у себя в саду над разлившейся Таруской, и мне даже страшно стало — до того худ он был, бледен, так глубоко завалились у него глаза и такой тоскующий был взгляд куда-то вдаль, за Оку.

— А, Юра! — сипло выговорил он, подавая слабую руку. — Просили чехи у вас рассказов? Я им хвалил вас... Вас пора переводить... Вы сейчас из Москвы, да? Сергея Никитина знаете? Очень талантливый...

Заговорил, будто только вчера мы с ним виделись, но говорил трудно, отрывисто, слабо, дышал так жадно, нервно, часто, что плечи ходуном ходили.

— Астма вот... Душит...

И улыбнулся застенчиво, будто извиняясь, и опять заговорил о литературе, о новых именах, о весне, о Болгарии... Подошла Татьяна Алексеевна, работавшая в саду, погнала нас в дом.

Не знаю точно, когда поселился Константин Георгиевич в Тарусе. Купил он сначала полдома с верандочкой, потом пристроил порядочную бревенчатую комнату, из веранды сделали столовую, а внизу, как бы в полуподвале (как почти у всех тарусян), — кухню и к кухне еще прируб, нечто вроде амбарчика, через который и был вход.

Счищая возле амбарчика грязь с сапог, я успел сказать К. Г., что собираюсь летом на Север, на Белое море, стал рассказывать о поморах. И, едва взойдя в теплую бревенчатую комнату, он тут же полез на полку, достал географический атлас, снял очки и, поднеся атлас близко к глазам, начал отыскивать места, куда я собирался ехать.

— Яреньга... Лопшеньга... — бормотал он. — Какие названия! Юра, возьмите меня! Возьмете? Я вот поправлюсь... Врачи пустят — возьмете?

И с тоской поглядел за окно, на заливные луга, на Оку.

За все время — с той, далекой теперь весны в Дубултах и до рокового июльского дня 1968 года — бывал я у Паустовского и говорил с ним раз двадцать, не больше. Все-таки я стеснялся его всякий раз почти как в начале знакомства, боялся помешать ему, утомить, попасть не вовремя, хоть, наверное, все это я и навыдумывал и К. Г. был бы рад всякому моему приходу... Ведь расспрашивал же он у всех обо мне, где я, что пишу. Да и не может писатель быть все один да один. Одному хорошо работать, но ведь не работаешь же все двадцать четыре часа. Писателю нужны люди, новости, пустяки всякие, мало ли что. Помню, как удивил меня напор Катаева.

— Приходите, приходите! — звал он нас с В. Росляковым. — Утром, днем не зову, днем я работаю, а вечером приходите! Поговорим...

А последние годы мне и видеть-то Паустовского было почти невозможно: то он лежал в больнице с очередным инфарктом, то жил в Ялте или в подмосковном каком-нибудь санатории, то, слышал я, уехал во Францию, в Италию...

Так что мало встреч было у нас с ним, и было бы поэтому непростительной самоуверенностью с моей стороны говорить, что я хорошо знаю его как человека.

И все-таки хочу отметить, что Паустовский-человек удивительно соответствовал Паустовскому-писателю. Бывают, и не так уж редко, прекрасные писатели и плохие люди... Паустовский же был хороший человек, с ним было хорошо. Он почти не говорил о своих болезнях, а жизнь его, прямо сказать, была мучительной в старости. Большой силой духа надо обладать, чтобы месяцами, а если все сложить, то и годами лежать в больницах и не потерять себя как человека, человеческое в себе не растратить.

Писал он в последние годы много, издавался широко, не только издавался, но переиздавался, его перечитывали, а это, по словам Льва Толстого, первое дело, когда перечитывают. Я в Москве не мог подписаться на его собрание сочинений, а подписался в Ленинграде, купил очередь у барышника за сто пятьдесят рублей старыми деньгами. А брат моей жены, студент-физик, дежурил всю ночь по очереди с приятелем в Минске, чтобы подписаться на последнее собрание сочинений.

В этом смысле Паустовский был счастлив, конечно, — мало ли даже и очень талантливых писателей заканчивало у нас свою жизнь никем не читаемыми.

Но я почти не слыхал от него, чтобы говорил он о своих книгах, о своей работе, один раз только сказал, что хочет составить книгу из читательских писем с комментариями.

То и дело, бывало, слышишь от него:

— Вы Вознесенского знаете? Хороший он человек? А правда, чудесная поэтесса Ахмадулина? Картины Юры Васильева видали? А как вы относитесь к Конецкому? А Окуджава вам нравится?

Литературу он любил страстно, говорить о ней мог без конца. И никогда не наслаждался, не любил в одиночку — торопился всех приобщить к своей любви. «Юра, вы Платонова знаете? — спросит и сразу начинает волноваться от одной только мысли о Платонове. — Нет? Непременно достаньте! Это гениальный писатель! Вот погодите, он у меня в Москве есть, я вам дам, вы приходите. Какой это писатель — лучший советский стилист! Как же это вы не читали?»

Он был смугл, с хорошим лбом с залысинами, уши у него были большие, щеки втянуты от болезни, и от этого отчетливей и тверже скулы, тоньше и больше казался горбатый нос и резче морщины, рассекавшие лицо от крыльев носа.

Происходил он с одной стороны от бабки-турчанки, была в нем польская кровь, была и запорожская. О предках говорил он, всегда посмеиваясь, покашливая, но было видно — чувствовать себя сыном Востока и запорожской вольницы ему приятно, не однажды возвращался он к этой теме.

Сидел он чаще всего сутулясь, и от этого казался еще меньше и суше, смуглые руки держал всегда на столе, все что-нибудь трогал, вертел во время разговора, смотрел на стол или в окно. Иногда вдруг поднимет взгляд, сразу захватит тебя целиком своими умными темными глазами и тотчас отвернется.

Смеялся он прелестно, застенчиво, глуховато, возле глаз сразу собирались веера морщинок — это были именно морщинки смеха, глаза блестели, вообще все лицо преображалось — на минуту уходили из него усталость и боль, и я не раз ловил себя на желании рассмешить его, рассказать что-нибудь забавное. Это же стремление подмечал я во всех почти собеседниках Паустовского.

Трудно представить себе более деликатного человека, так сказать, в общежитии. Если болезнь не укладывала его в постель, обязательно выходил в сад навстречу гостю и разговаривал час и два и провожал всегда до ворот. И если гость был не неприятен ему, непременно на прощанье скажет что-нибудь очень ласковое. «Очень я вас люблю!» Или: «А знаете, я о вас все знаю — постоянно у всех спрашиваю!»

Однажды в октябре пробирался я в деревню Марфино, километрах в пятнадцати от Тарусы, по Оке. У меня тогда только что вышла книга в Италии, и, конечно, не утерпел, заехал по дороге к Паустовскому похвастаться. Он был один, видимо, скучал и очень обрадовался. Книжку взял он торопливо, почти схватил, снял, как обычно, очки, близоруко щурясь, стал рассматривать обложку, перелистывать страницы и так радовался, будто это не мои, а его рассказы впервые вышли на итальянском. И во все остальное время, пока я у него сидел, говорил, как красиво в Марфине, и как там работается, и какая вообще чудесная осень, — он все косился, поглядывал на книжку (она лежала на столе), все брал ее и начинал снова перелистывать, разглядывать вновь и вновь, глухо посмеивался, что на обложке помещена была рыночная картинка с лебедями, которых рисовали у нас в то время на обратной стороне клеенки.

...Паустовский был добрый и доверчивый человек. К сожалению, иногда слишком даже добрый и доверчивый. Свое хорошее мнение о каком-нибудь человеке он часто распространял и на писания его. Зато скольким действительно талантливым писателям он помог, сопровождая добрыми словами их первые книги, неустанно повторяя их имена во многих своих интервью, как у нас, так и на Западе.

Я не был учеником Паустовского в прямом смысле этого слова, то есть не занимался у него в семинаре в Литинституте, да и литературно я, по-моему, не близок ему. Но он так часто

говорил обо мне с корреспондентами и писателями разных стран, что во многих статьях Паустовского называли моим учителем.

В высшем смысле это правда — он наш общий учитель, и я не знаю писателя, старого или молодого, который не воздал бы ему в сердце своем.

Как я сказал уже, Паустовский был очень доверчив. Жил в Тарусе прекрасный старый врач и замечательный человек Михаил Михайлович Мелентьев. Как-то Паустовский был у него со своими болезнями, и Мелентьев вдруг предложил ему бросить курить.

— Вы знаете, Юра, — с некоторым даже изумлением говорил мне Паустовский, — Мелентьев тайный гипнотизер. Предложил мне бросить курить... Ну, потом заговорились, я и забыл о его словах насчет курения. Выхожу на улицу, по привычке достаю папироску — чувствую, не хочется, противно даже... Так и бросил!

Я потом приставал к Мелентьеву, чтобы и меня загипнотизировал.

— У вас не выйдет! — смеялся Михаил Михайлович. — Я же терапевт! А Константин Георгиевич решил, что я и гипнозом промышляю, уверился в этой мысли и курить бросил...

Я написал как-то о Паустовском, что «...то, что он любит, когда-нибудь будет любимо всеми, как любимы у нас сейчас левитановские, поленовские и прочие места». Написано это было в 1962 году, а через пять лет поехал я в Болгарию, добрался до приморского старого городка Созополя, случилось там что-то много поэтов и прозаиков, уговорили меня заночевать, и вот ночевал я в том же доме, где ночевал Паустовский, сидел в старом дворике, где сидел Паустовский, пил вино, которое понравилось Паустовскому... Глеб Горышин был в Болгарии года за три до меня, и в путевом очерке у него тоже есть мысль, что надо стараться стать таким человеком, который оставляет после себя прекрасный след, — Горышина в Болгарии тоже преследовала память о Паустовском.

К слову сказать, много человеческой радости принесли Паустовскому заграничные поездки в последние годы жизни. С юности зачитывался он книгами о европейских цивилизациях, и воображение его разыгрывалось до того, что он в изобилии писал заграничные рассказы. И Андерсен ехал по Италии, Григ гулял по лесистым фиордам Норвегии, шли корабли из Марселя в Ливерпуль, парижский мусорщик высевал золото из пыли... Герои Паустовского жили чуть ли не во всех странах мира, тогда как автор всю жизнь видел эти страны только на картинках. И только в старости удалось Паустовскому увидеть те страны, о которых он когда-то писал. Он совершил поездку на теплоходе вокруг Европы, побывал в Болгарии, в Польше, во Франции, Англии,

Италии. Эти поездки, я думаю, укрепили любовь его к Тарусе, к Оке, к родине. Это Паустовский написал, побывав в Италии: «Все красоты Неаполитанского залива не променяю я на ивовый куст, обрызганный росой». Не слишком ли красиво сказано? — подумал я когда-то. А теперь знаю: не слишком! Потому что сам пережил подобное чувство, когда в апреле в Париже вообразил вдруг нашу весну, с громом ручьев по оврагам, с паром, с грязью, с ледоходом и разливом на Оке.

Лето 1961 года было для Паустовского счастливо. Болезнь как-то отступила, редко напоминала о себе, погода стояла все время хорошая, жаркая, и Паустовский махнул рукой на режим, на свое положение больного, начал курить, каждый день ездил на рыбалку, все время был на народе, был постоянно весел и по утрам хорошо работал.

А народу перебывало у него в то лето великое множество: приезжали авторы, привозили стихи, рассказы, то приступала, то откладывалась поездка в Италию, на съезд Европейского сообщества писателей, постоянно приезжали журналисты, всех надо было принять и со всеми поговорить.

В такое время рыбалка становилась просто необходимым отдыхом для Паустовского. Часа в два мы с писателем Борисом Балтером обычно сходились на берегу, вытаскивали из сторожки бакенщика мотор, устанавливали на лодке. Бакенщик Коля тащил бензин. Минут через пять подходил Паустовский. Одышка его мучила. Он пристраивался где-нибудь тут же, стыдливо доставал стеклянную штуку с резиновой грушей и несколько секунд дышал каким-то составом. Отдышавшись, он подходил к лодке, и начинался разговор о моторе. Бакенщик Коля относился к мотору мистически.

— Это вам, Константин Георгиевич, не что-нибудь! — заикаясь, кричал он. — Это вам мотор, так? Агрегат. Так? Его понимать надо, а не просто дернул, сел и не поехал...

После глубокомысленных разговоров о моторе лезем в лодку. Коля с берега еще раз клянется, что мотор — как часы!

Едем обычно в сторону Егнышевки, Марфина — на тот случай, чтобы легче потом было грести вниз по течению, когда мотор сломается. Паустовский с удочками, в простых штанах, в сандалиях, загорелый — доволен беспредельно. Балтер уступает ему место на руле. Паустовский газует, щурится от ветра. Видит он плохо, и Балтер по временам кричит ему:

— Прямо по носу бакен! Правее! Левее!

Исполнять команды для Константина Георгиевича наслаждение. Лодка-казанка идет быстро, ветер теплый, солнце сильно светит, река сверкает, а высоко в небе рассеянно стоят

редкие облачка. Прелестна Ока в этих местах, прелестны ее мягкие плесы, мягкие холмы кругом, леса, подходящие к самой воде, сочно-зеленые берега, и бронза сосновых стволов, и беспрестанно открывающиеся новые и новые дали.

Где-нибудь между Велегожем и Егнышевкой мотор обычно глохнет, и мы пристаем к берегу. Балтер, чертыхаясь, возится с мотором, я купаюсь, Паустовский в стороне ловит рыбу. Потом гребем вниз. Я на веслах, — весла железные, короткие, неудобные, мотор на корме задран и безмолвен. Паустовский с Балтером загорают. Иногда Паустовский смущенно предлагает:

— Давайте, Юра, я погребу...

У Велегожа мы с Паустовским выходим, идем на пристань ждать попутного катера. Балтер остается с лодкой. Вокруг него уже несколько специалистов ожесточенно обсуждают мотор.

И так почти каждый день.

Мы сошлись однажды втроем — Паустовский, Балтер и я — на площади в Тарусе, чтобы ехать на рыбалку, и только собрались идти на берег, к избушке бакенщика, как нас обогнала серая машина.

— Вон машина Рихтера, — тут же сказал Балтер.

— Да? — Паустовский близоруко прищурился вслед машине и вдруг тихо засмеялся, опустив глаза и покашливая. — А вы знаете, Юра, что Рихтер здесь, у нас, дом себе строит? Замок! И машину себе специально купил в Америке, чтобы туда ездить...

— Вездеход, — уточнил Балтер.

— А что! — Паустовский оживился необычайно. — А что вы думаете! Туда ведь к нему только на вездеходе и ездить, иначе не проедешь. Вы знаете, ведь он сначала привез рояль в избушку бакенщика, так и жил — рояль и больше ничего...

И опять засмеялся. Было видно, что такая жизнь в сторожке и мысль, что Рихтер решил поселиться и строился тогда на Оке под Тарусой, очень нравились ему.

Места между Тарусой и Алексином открыты давно. В разное время жили тут Чехов и Пастернак, Заболоцкий и Бальмонт, А. Толстой, играл Игумнов, десятками наезжали художники на этюды, поленовская семья устраивала спектакли в Тарусе. Ираклий Андроников жил, вез вещи из Серпухова на телеге и потерял пушкинскую трость. Хотел пощеголять в Тарусе и чуть с ума не сошел. Потом трость нашли...

Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба, — умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш-Крандиевский, умер врач Мелентьев, у которого в доме двадцать лет подряд звучала

музыка.

Но если раньше Тарусу знали и любили сотни людей, то Паустовский создал Тарусе всесоюзную славу, и Таруса избрала его своим почетным гражданином.

Своими ушами слышал я, как в автобусе, который встряхивало на выбоинах в асфальтовом шоссе, разглагольствовал подвыпивший тарусянин.

— Во! Видал? — говорил он, валясь на кого-то после очередного толчка. — Паустовский два мильона на дорогу пожертвовал, так? Построили шоссе. А теперь? Одни ямы... Еще, значит, два мильона давай!

Нет, не давал Константин Георгиевич миллионов на дорогу. Но благоустраиваться Таруса стала после статей Паустовского.

Популярность тарусянина Паустовского была велика. К нему в гости пытались водить даже экскурсии. Владимир Кобликов, калужский писатель, рассказывал, что выходит будто бы однажды Константин Георгиевич из бани, идет себе потихоньку с чемоданчиком, вдруг обращаются к нему приезжие люди, по виду не особенно образованные, и спрашивают: «Скажите, а где тут могила Паустовского?» И что будто бы страшно понравился Константину Георгиевичу этот вопрос и он потом любил рассказывать об этом случае.

Могила Паустовского теперь действительно в Тарусе. Над рекой Таруской. Недалеко от Ильинского омута.

1975

Ф. Поленов и его рассказы [37]

На Оку, в поленовские места попал я впервые десять лет назад в апреле. Мне повезло в том смысле, что ехал я не вообще на Оку, а именно в Поленово, вместе с внуком художника Федором Поленовым. Весна — везде весна, но половодье на Оке, залитые луга, снег в оврагах, пустынность — не было еще на реке ни дебаркадеров, ни бакенов, — простор, кипы белых облаков, опрокинутые в воде, дымки от костров, возле которых смолились лодки, — все это сразу и навсегда взяло меня в плен. Михаил Пришвин очень верно заметил как-то, что Ока — самая русская река из всех русских рек.

И уже в тот первый весенний вечер поразила меня в Федоре Поленове горячая любовь и, я бы сказал, сыновняя преданность родным местам. В тот первый вечер, едва поздоровавшись с отцом, едва жадно обежав музей и погоревав возле «Аббатства» с обгоревшими после пожара стропилами — закатился он в ближайшую рощу на тягу, а потом, уже в темноте, побежал к какой-то ему одному ведомой березе, чтобы напоить нас с утра березовым соком. А на другой день позвал он меня в Тарусу, и долго бродили мы по весенней парной жиже, и неутомимо показывал он мне разные тарусские достопримечательности. Я понимал его тогда: то, что сильно любишь сам, так радостно показать другому...

Я думаю, что стремление заразить своей любовью как можно большее количество людей и побудило Ф. Поленова взяться за рассказы. О Поленове написано очень много, слава этих мест разошлась далеко по стране. Но не только красотой своей дороги нам эти места, а еще и тем, что тут жили и работали в разное время чуть ли не все наши писатели, музыканты и художники: Чехов, А. Толстой, Бальмонт, Пастернак, Заболоцкий, Паустовский, Прокофьев, Игумнов, Рихтер — называю первые пришедшие на память имена, о художниках же вообще не говорю, потому что, наверное, нет русского художника, который с конца прошлого века не побывал бы в Поленове и в его окрестностях и не увез бы отсюда поэтических картин.

Поленовские места поэтому не только красивы сами по себе, но еще одухотворены в нашем сознании присутствием высокой поэзии, которая столько лет рождалась и рождается на берегах Оки.

Но не о художниках или писателях пишет Федор Поленов. Мир его рассказов географически очень мал. Пьяный луг, речка Любосна, деревни Страхово и Бёхово, сосновые, дубовые,

березовые боры и рощи — вот, собственно, и все, о чем решил поведать нам автор. Мало этого или много? Для меня было «мало» в том смысле, что мне хотелось читать еще и еще о том, как косят сено в лугах, вместе с автором пройти не только по долине речки Любосны, но и по другой речке, словом, мне было жалко расставаться с поленовскими местами и с людьми, населяющими их.

Как я уже сказал, о музее В. Д. Поленова и о местах, окружающих его, написано очень много, но написано, как правило, людьми заезжими, у которых не всегда хватало терпения узнать эти места лучше, и поэтому во многих писаниях так много скороговорки и так много общих мест. В самом деле, разве все эти «величавые спокойствия реки» или «шумы столетнего бора» не приложимы к любому другому краю? Красивых мест у нас много, и любви и поклонения достойно каждое из них. Но нужно родиться и вырасти в каком-то краю, чтобы досконально узнать его историю и все скрытое от постороннего глаза, чтобы быть верным этому краю до конца. В самом деле, любовь автора к месту, которое когда-то называлось Борок, а потом стало зваться Поленовом, может показаться преувеличенной, но вот что пишет по этому поводу Ф. Поленов:

«Я прошел по таежным путям сопок Сихотэ-Алиня, видел не раз феерии океанских закатов, помню изумительную красоту шведского побережья и Або-Аландских шхер Ботнического залива, знаю, как четкими тонами Рокуэлла Кента красят свой небосвод заполярные широты... Сказочна красота развалин средневековых замков на балтийских прибрежьях, не оторваться от переливчатой игры сполохов полярного сияния! Я счастлив, что видел все это, и никогда не смогу забыть увиденного. Но ничто, ничто, даже непревзойденная красота Заонежья и Северной Карелии не заслонит от меня берега тихой Любосн***ы*** на ее последней излучине у Пьяного луга!»

Много раз бывал я в Поленове во всякое время года, и мне уже казалось, что я хорошо знаю эти места. Но вот я прочел эти немногие рассказы, составляющие книжку, написанные протяжно и обстоятельно, подробно и возвышенно, и понял, как, в сущности, мало я знал о поленовских местах и как меня обогатил автор.

Будем надеяться, что Ф. Поленов не все успел сказать нам, что знает, и что к этим семи рассказам со временем будут прибавляться новые и новые, прославляющие один из поэтических уголков нашей Родины.

1968

Опыт, наблюдение, тон [38]

Литературоведение многие термины заимствует из соседних областей. Пластичность — это вряд ли точное понятие применительно к искусству слова, так же как и музыкальность. Тем не менее мы все знаем, что такое пластичность и что такое музыкальность, и можем оперировать ими в обсуждении.

Насколько я понимаю, пластичность прозаического произведения достигается тем, что автор преподносит нам обилие совершенно точных, поэтических деталей той жизни, которая у него происходит в рассказе или в романе. Это обилие деталей в своей совокупности и дает нам ощущение как бы нашего присутствия в этой жизни. Чем произведение пластичнее, тем оно сильнее нас затягивает в себя, и мы как бы начинаем быть по очереди всеми героями, которых нам показал автор.

Убеждая в чем-то читателя, я должен писать так хорошо, чтобы читатель мне поверил и полюбил то, что я люблю, и возненавидел ненавидимое мной. Хотя я говорил, что музыка и слово это два разных понятия, но сейчас для подтверждения своей мысли сошлюсь на музыку. Существует так называемый абсолютный слух. Абсолютный слух — это такое явление, когда музыкант правильно слышит тональность и слышит решительно все звуки любых инструментов в самых сложных аккордах оркестра. Таким абсолютным слухом должен обладать писатель для того, чтобы писать пластично. Абсолютным слухом на все явления жизни. И еще, как уже сказал Г. Березко, абсолютным зрением. Возьмем любой пример: женщина берет ведро и идет доить корову. Обыкновенное действие. Но когда я пишу, я в своем воображении иду вместе с нею доить эту самую корову. Я вместе с нею выхожу на крыльцо, вместе с нею оглядываюсь и смотрю, какая погода, какое небо, какие тучи. Вместе с нею потом иду я по двору, вижу, какой двор, какая земля, вместе с нею слышу какие-то деревенские звуки, вместе с нею вхожу в сарай, чувствую запахи хлева, сена, навоза, вместе с нею начинаю доить и слышу, как бежит молоко...

Если я все это увижу, пронзительно и подробно опишу, то одно только описание, как женщина вышла на крыльцо и пошла доить корову, могло бы составить целую книгу.

Мы взяли элементарный пример, но важен самый метод.

Из закона абсолютного зрения и слуха вытекает закон абсолютного вкуса и чувство гармонии. Не менее важно из обилия объектов, которые писатель увидел, выделить те, которые создадут полноту картины и в то же время не перегрузят

страницы обилием материала, который утомляет читателя.

Язык персонажей далеко не всегда дается писателям. Создается порой впечатление, что пишет глухой человек. Между тем я боюсь сказать, что ***о*** важнее для произведения — авторская речь или язык персонажей. Одно неверное слово в прямой речи способно исказить образ.

Если я люблю природу, я предполагаю такую же любовь к ней и в читателе, и если я пишу рассказ или роман и действие происходит на природе или в городе, на улице, я никогда не упущу случая, чтобы дать пейзаж. Тем более что пейзаж помогает в создании настроения.

Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам.

Каждый рассказ, который мною написан, имеет свою историю, свое начало и конец и свою судьбу. И придумывались они, конечно, по-разному.

Сначала просто ездишь, просто смотришь, что-то тебя поражает, чем-то ты наполнен — какими-то впечатлениями, какими-то воспоминаниями. Приезжаешь в Москву, начинаешь рассказывать друзьям о том, что ты видел, слышал, что тебя поразило. Потом задумываешь сюжет... Содержание всегда образуется из той суммы жизненных воспоминаний, впечатлений, которые сразу являются к автору, когда он начинает писать. Если рассказ хорошо задуман и хорошо «пошел», то к тебе является вдруг все то, что раньше видел, и тогда огромное наслаждение — наполнять страницы картинами, которые ты любишь.

В разное время пишешь по-разному. Есть рассказы в совершенно разных тональностях. Я помню, как писал рассказ «Некрасивая» — рассказ довольно жестокий: о девушке, которую никто не любит, и первый парень, который ее провожает, очень грубо, «по-деревенски» к ней относится (хотя то, что он делал, покажется грубым для человека более или менее вежливого, интеллигентного, для него же это обыкновенное отношение). Закончив этот рассказ, я скоро сел за другой — «Голубое и зеленое» — рассказ о первой любви. Я хотел его писать, используя те же самые приемы, что и в «Некрасивой». Начинал его раза три и чувствовал, что у меня ничего не получается, потому что там очень молоденькие, очень наивные герои и любовь их весьма романтичная — школьная любовь. Поэтому я интуитивно понял, что писать в том же ключе, в каком я писал предыдущий рассказ,

нельзя, теперь надо писать в виде лирической исповеди, несколько сентиментальной, наивной. Материал диктует стиль. То, о чем хочешь сказать, тебя направляет.

Слух должен быть не только на то, о чем пишешь, но и на то, что ты сделал. Иногда рассказ не получается с самого начала: написал две-три страницы — и чувствую, что нет того звука, который мне нужен. В этом случае я просто не доканчиваю, бросаю, считая, что рассказ мне не удался, и все. И наоборот бывает. Начинаешь рассказ, напишешь один-два абзаца и чувствуешь: пошло, тебя схватила какая-то власть, и ты попал в гармонию с тем звуком, тоном, который единственно необходим данному произведению. Поэтому я пишу очень быстро, на рассказ трачу день-два, на некоторые — три.

Мне кажется, самое главное в рассказе это начало и конец. Середину можно как-то продлить или сократить. Но правильно начать и кончить — это важнее и труднее всего. Между прочим, я обратил внимание, что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом — это строчки, являющиеся «ключом» или подводящие итог стихотворения. Так же, мне кажется, и в рассказе: конец и начало — это самая важная вещь.

1968

«Северный дневник» — книга для меня несколько необычная. И потому, что писалась она больше десяти лет, и потому, что составляют ее очерки.

Впервые на Белое море я попал в 1956 году. Полтора месяца шел я побережьем от деревни к деревне (а они друг от друга километрах в сорока — пятидесяти), где пешком, а где на карбасах и мотоботах. Вы только представьте себе старенький мотобот, груженный мешками с мукой (где, в каком затоне дотлевают теперь его многострадальные ребра?), и как остановился он среди стекленеющих вечерних вод, и как якорь плюхнулся, и круги от него пошли по всей бухте, и заколыхалась опрокинутая, отраженная в воде деревня. Мы долго ждали, и мотобот несколько раз принимался сиротливо завывать сиреной, пока от темного берега не отделилось черное пятнышко карбаса с мерно пошевеливающимися усиками весел по бортам.

Когда позабылся уже шум мотобота, а потом прекратились и скрип уключин, и плеск весел и я ступил на твердый песок, другие звуки обступили меня. Вот с шуршанием и шелестом боков кинулись в сторону овцы, вот проехал верхом парень с растопыренными локтями, и фырканье его лошади, мягкий топот копыт по песку долго были слышны между избами, и детские голоса с разных сторон прилетели ко мне, и бульканье случайной волны с обнаженных отливом камней...

Там и сям на берегу красно горели и дымили костерки, дети пекли картошку, перебегали от костра к костру, а другие копались в песке, выковыривая себе морских червей для завтрашней рыбалки, и, когда я выбрался на берег с колотящимся от предвкушаемого счастья сердцем, они не оставили своих занятий, но зоркие взгляды их и внимание к себе я сразу почувствовал, а один белоголовый мальчик, когда я проходил мимо его костерка, предложил вдруг доверчиво:

— Дядь, а дядь! Картох печеных хочешь дак?

Так начался для меня Север. Я был тогда один — чужой, приезжий, но это было прекрасное одиночество: лучше слушалось, думалось и смотрелось. Я ездил на Белое море еще и еще, пока наконец не взялся за «Северный дневник».

Сидя осенью в чудесной деревушке на Оке и дописывая последние главы «Дневника», я думал, что северные мои странствия — и открытия, и восторги, и печали — уже позади, но как же я заблуждался! Север не отпускал меня, а притягивал все сильнее. Мне хотелось глубже проникнуть в жизнь края, где все

было необычным — и быт, и язык, и характеры. Потомки древних новгородцев, пришедших несколько столетий назад осваивать этот суровый, прекрасный край, поморы сохранили чистоту и образность истинно русского языка, своеобразие быта. Они не знали крепостного права, не испытывали иноземного ига... География моих дальнейших поездок на Север все расширялась, из каждой поездки я привозил один-два очерка, печатал где придется, пока вдруг не обнаружил, что, собранные вместе, очерки составляют картину северной жизни (разумеется, далеко не полную) за доброе десятилетие.

Я взялся за очерк неслучайно. Жанр этот — весьма емкий и гибкий. То, что твой герой — живой, конкретный человек, а не собирательный образ, конечно, представляет для писателя определенные трудности, но в то же время здесь заключена и сила жанра. На Севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюленьем промысле, при случае работал наравне со всеми, и люди становились мне ближе, будто и я родился на Севере. В то же время я со скрупулезностью исследователя (а вдруг пригодится будущему историку?) узнавал, и сколько стоит килограмм выловленной семги, и сколько зарабатывает рыбак за сезон, и многое-многое другое.

В каждой поездке случались мгновения, когда я ощущал, что вот эта минута, этот день являются для меня как бы наградой за что-то. Я попадал в такую обстановку, где все было прекрасно: и море, и звуки, и запахи, и люди... И тогда я не видел необходимости в рассказе, в выдумывании героя — герой был рядом со мной, я мог любоваться им. У меня была иная задача: получше запомнить этот день и час, этого человека и мир вокруг него — море, тундру, белую ночь... Я не сочинял ничего. Я даже фамилии своим героям не придумывал, все они у меня живут под своими именами...

Думаю ли я о романе? Конечно, я хотел бы написать роман... Но что делать, если сюжеты мне приходят очень локальные, в которых один-два персонажа и действие происходит в течение одного-двух дней. А на этой почве ничего «романного» не взойдет. Да и о сюжетах в точном значении этого слова говорить не приходится. А так, однажды померещится тебе река, пароход, мужчина и женщина, они веселы, и вдруг «виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...», как говорил пушкинский Моцарт. Вот вам и рассказ... Роман же мне по-прежнему не дается. Одно только я твердо знаю: над романом работать приятнее. Это как долгое путешествие, полное всяких неожиданностей, тогда как рассказ — всего-навсего однодневный переход.

Что я пишу сейчас? Вот летом поеду в Архангельск, буду собирать сведения для повести о Тыко Вылке. Я уже написал о нем очерк, но мне кажется, что в биографии этого замечательного ненецкого художника, полярного исследователя и общественного деятеля заключено еще очень много интересного, и пока живы люди, знавшие его, нужно торопиться. Вот и опять Север...

Кроме рассказов, сочиненных недавно и ждущих своего часа, у меня собралось много набросков, кусков, черновиков, которые предстоит окончить и отделать.

Сейчас работаю над небольшой повестью, герой которой занимается тем, что размышляет о своей жизни — сначала в Кракове, потом в Закопане. Некоторые свои воспоминания об июльской Москве сорок первого года, свои ощущения в грозные те дни я хочу отдать своему герою. Но хотя повесть будет написана от первого лица, она, конечно, не автобиографична.

1973

«Единственно родное слово» [40]

«Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе».

Так Юрий Казаков начал один из своих ранних рассказов. Лет двадцать назад. Его проза сразу же обратила на себя внимание. И пока критики выясняли, что здесь от Бунина, что от Чехова, рассказы и очерки складывались в сборники — «Северный дневник», «Голубое и зеленое», «Двое в декабре», «Во сне ты горько плакал»... И их язык поражал уже не только преданностью классической традиции, но и еще чем-то, только ему, Казакову, свойственным...

Мы разговариваем у него дома, в Абрамцеве.

Комната кажется маленькой. И еще отгороженной. От дома, от улицы, от шума и суеты. Едва доносится из сада детский смех, да за стеной слышны шаги матери, которая так и не вошла...

— Моя мама, — говорит Юрий Павлович, — хоть и прожила жизнь в городе, родом из деревни. И когда еще живы были ее братья и собирались все вместе здесь, в Москве, то тут же в разговоре их начинали проскальзывать деревенские словечки и выражения. Позднее каждое лето я отправлялся в деревню, в Горьковскую или Ярославскую область, и постоянно ловил себя на мысли, что все это уже видел: забыл, а тут вдруг вспомнил.

Я когда-то Далем увлекался. Боже мой, думалось, сколько слов перезабыто! А попадаешь, как у нас говорят, в глубинку, тут не только Даль... Недаром наши фольклористы до сих пор ездят «за словом».

Он тушит папиросу, вдавливает ее в тяжелую чугунную пепельницу и продолжает неторопливо:

— И вот — я на Севере. Окунувшись в поток настоящей, живой речи, я почувствовал, что родился во второй раз. Бога ради, не воспринимайте это как красивость. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез *начинает быть*. У меня это случилось на берегу Белого моря, терпкого от водорослей, от резкого, непривычного, неповторимо морского запаха. В этих краях каждое слово обживалось веками.

— Смотрите, как точно, — Юрий Павлович листает

«Северный дневник»: — «Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится, — это тебе *зеленец*...

А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда *белёк*...

Потом пятны идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас *серка, серочка*...

А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-о-ой... И называется *серун*... А на третий свой год самый настоящий *лысун*. Понял ты? не серун — *лысу-ун*! Лысун, а самка — *утельга*».

Зеленый — не цвет, а примета, еще и сказать-то нечего, только обозначить ласково — зеленый, и возраст — птенец. А потом белек — как малек. И вот уже: серка, серочка — свое, родное, изгибающееся в руках. Уже личность, а заматерел — и лысун. Не просто тюлень — самец. А вот самка — утельга, нежнее, беззащитнее...

Здесь о погоде говорят — «отдавает». Это конкретно: отпускает, как грехи отпускает, на волю выпускает, и можно снова идти: в море, берегом — за добычей. А о дюнах говорят «угорья», «у-горья», почти горы... Но вот интересно: в Новгородской области, на прародине нынешнего северного языка, говорят теперь совсем иначе, более на общерусском, если можно так выразиться.

— И в городских ваших рассказах речевой поток скорее новгородский, чем беломорский.

— Это, кажется, неизбежно. Островки, сохранившие для нас *неприспособившийся* язык, — глухие, труднодоступные деревни с их различными наречиями, от мягкого южного до сурового сибирского. А «городское эсперанто», на котором все и со всеми могут общаться, — символ индустриального города. Конечно, никто не спорит, такой язык удобней, экономичней... Без лишних затрат. Но они-то и были главным в общении.

Впрочем, язык живет по законам времени. И в том, что он стал автоматизированным, — своя правда. Хоть это и обидно. Сами посудите: вот идет человек по городу, по своей улице, открывает дверь своим ключом... и попадает в чужую квартиру. «Ирония судьбы...», не правда ли? Теперь представьте телефонный разговор: голос вроде знаком, слова обычные, и смысл — как всегда. Поговорили, а потом выясняется: не вам звонил человек. Вот и сюжет для небольшого рассказа, слегка фантастического, правда...

И все-таки то, что в жизни раздельно, — язык города и язык деревни — в литературе может синтезироваться, взаимообогащаться. Я не ощущаю резкого языкового различия между своими деревенскими и городскими рассказами, потому

что источник их тот же: чувство, настроение, впечатление. И слово как некий объем должно вмещать запах, цвет, движение.

...Есть в Абрамцеве тихая речка Яснушка. Ее не видно из окон, но она — неподалеку. Спокойный бой часов медленно наматывается на ленту магнитофона... «Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...»

— Юрий Павлович, на упомянутых вами островках неприспособившегося языка выросла целая литература — «деревенская проза». И, завидев ее рождение, сразу же заговорили о том, что наш нынешний обиходный язык по-прежнему выразителен и разнообразен, по-прежнему индивидуален. Иначе откуда бы такое языковое богатство?

— Да нет, для меня современный язык, безусловно, усреднен. А стилевое разнообразие — от мастерства писателя, от великой его способности оживить слово. Но только — настоящего писателя. Десятки же книг написаны будто одной рукой — нивелированным языком и по его правилам: удобно, экономно, без лишних затрат. То же самое получается и на основе языка местного, самобытного, когда он искусственно обыгрывается.

— А вам не кажется, что язык «деревенской прозы» намертво привязан к определенной местности даже в том случае, когда не надуман, и писатель чувствует на этом языке? Не обрекает ли местный язык писателя на провинциальность?

— Ну, это не о настоящем таланте. Шесть страниц нового рассказа Лихоносова — зрелая проза. О Распутине заговорили с первой же его крупной вещи. И иного языка, кроме деревенского, я у них не представляю. Или — Бунин. Ведь он писал об Орловской губернии, в которой провел детство. И жестокость его прозы — от особой, жестокой нищеты Орловщины. И бунинская деревня из нее. Хотя, увиденная его глазами, она стала символом всех деревень России.

— Да, но язык Орловской губернии отражался в языке бунинских героев: авторская же речь (то, что вы однажды назвали «ремарками») строится по иным законам. И не может быть привязана к какой-либо местности.

— В этом-то вы правы, конечно. Все же хороший рассказ похож на театр: и без ремарок должно быть понятно, кто, что и почему в данный момент говорит. А там — лишь добавить «текст от автора», всю собственно изобразительную сторону сюжета. Для этого существует испытанный литературный язык. Однако почему не допустить возможность стилизации, когда смешение речи

автора и персонажа задано определенной целью, творческой «сверхзадачей»? Для произведений, построенных на иронии и сарказме, стилизация необходима. И Зощенко без своей «корявости» — не Зощенко. А ведь он был превосходным стилистом. В свое время попробовал написать еще одну повесть Белкина. Представьте себе, написал: точно воспроизвел пушкинскую стилистику, некую таинственность сюжета... Или — распутинская стилизация, вы послушайте, — Юрий Павлович снимает с полки синий томик — и наугад из «Живи и помни»:

— «Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал на всю ивановскую патефон...»

— Понимаете, — книга захлопнулась, — это же кадр. На одном дыхании, залпом! Ни слова чужого. И патефон «наяривает», ведь «играть»-то ему никак нельзя, потому что — изба, а в ней жаркие, полные плечи, и стаканы граненые и — радость. Настоящая, безыскусная. И слово, единое на рассказчика и героя, дыхание в унисон, для меня понятно и оправдано.

— А не ограничивает ли деревенская тема, не уводит ли в прошлое, не толкает ли к простому бытописательству?

— Хлеб и земля не только образы — конкретика философского мышления. Поэтому деревня, по-моему, у талантливого писателя и не может стать прошлым, преходящим. Ведь происходит не описание, а познание основ, осознание.

— Но ведь «поздний» Казаков — прежде всего городские рассказы?

— Писатель не часто обращается в новую веру. Если я вернулся в город и новые рассказы мои — не рассказы «деревенщика», то и город у меня не очень-то урбанистический.

«Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы...»

Это — «Во сне ты горько плакал», один из самых абрамцевских рассказов Юрия Казакова. И — один из последних. Рассказ по-прежнему остается его главным жанром.

— Юрий Павлович, чем дорог вам рассказ?

— Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не могу уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни. И слово каждый раз иное.

В «Голубом и зеленом», например, слово светлое, цветовое, ясность мира, увиденного впервые глазами подростка, а в

«Некрасивой» — постоянная безысходность, слово — рукой зажатое в горле. Каждому сюжету соответствует определенный стилевой ключ. Вот совсем недавно закончил рассказ несколько неожиданный. Он вырос из поездки к другу, из случая в дороге. Я попал в туман, а туман всегда рождал во мне ощущение потерянности. Но никогда еще — столь полную иллюзию неподвижности. Я понимал, что машина движется, но не мог оторвать глаза от стрелки, показывающей, что бензин на нуле. И вот возник сюжет: некто едет, видит на дороге дом за странно непрерывной оградой, входит — так начинаются чудеса. Этот рассказ, поскольку он несколько фантастический, написан в иронической манере, совершенно не свойственной мне. И слова как будто стали другими. Очевидно, стиль в рассказе — это не просто человек, но и сегодняшнее состояние твоего восприятия, и то, **что** именно ты сейчас пишешь. Сценарий для кино совсем другая работа, и ты в ней чувствуешь себя другим.

— Вы не первый раз обращаетесь к кино. Была экранизация «Голубого и зеленого»... Значит, кино не случайный эпизод?

— Если бы не было рассказа, я бы сказал, что сценарий для меня — лучший способ выражения. Крупный план, дополнительное акцентирование деталей... Это импульс, галерея мгновений. Но, признаться, сценарий — работа неблагодарная: слишком много людей над тобой, слишком много поправок, и отказаться нельзя, так как от тебя уже зависят другие люди, и к зрителю выходит в конце концов не то, что ты сначала написал. А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня. В свое время я взялся за перевод одного большого романа в надежде, что сам вдохновлюсь на роман. Да так, видно, и суждено умереть рассказчиком. Кстати, вот уж где искусственный язык, так это в наших исторических романах...

— Вы ведь тоже обращались к истории — в «Звоне брегета» — рассказе о Лермонтове, о его несостоявшейся встрече с Пушкиным.

Юрий Павлович пожимает плечами: что делать?

— У нас уже выработались некие обязательные атрибуты прошлого. Да вспомним хотя бы фильм «Дворянское гнездо»: мраморные колонны, зеркальные полы, утонченные выражения... Все это было, но только у нескольких семейств в России. А в общем, жили и думали проще, грубее. И я своим «Брегетом» отдал дань искусственности, хотя и работал над языком долго. А точнее — не над языком, в том-то и дело, а над деталями языка: как описать гусарский мундир, что такое «выпушки», как подзывать

лихача. Специально ездил в Ленинград, чтобы увидеть, каким путем мог Лермонтов идти к дому на Мойке... С деталями как будто справился, а вот говорят мои герои напряженно и слишком изысканно. И рассказ вышел наиболее деланный из всех.

Это еще раз доказывает, что к речи надо иметь вкус, слово чутьем находить. И беда, когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушенный запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать, жить. Тогда дело совершенно безнадежно. Значит, это в тебе самом нет того изначального, единственно родного и настоящего слова.

1979

— Юрий Павлович, давайте начнем беседу с вопроса, как говорится, «в лоб»: что такое хороший писатель?

— Мне кажется, что хороший писатель — это прежде всего писатель, думающий над вопросами *важными*. Талант талантом, но если даже и талантливо написано, например, о том, как молодой парень неожиданно для окружающих стал дояром, и как над ним смеялись девушки-доярки, и как он вызвал одну из них на соревнование и победил ее... Хотя нет — талант не позволит его обладателю заниматься подобной чепухой. У хорошего писателя всегда ощущается что-то еще помимо того, о чем он пишет. Это как в звуке: есть основной тон и есть обертоны, и чем больше обертонов, тем насыщеннее, богаче звук.

Так что серьезность мыслей, которые вызывает рассказ, — главное в определении таланта. Затем следует умение расположить слова так, чтобы они составили максимально гармоничную фразу. Писатель должен обладать абсолютным внутренним слухом. Тут необходима память на речь, на то, как говорят люди. Чтобы авторскую ремарку — кто говорит: полковник, купец, крестьянин, доктор, — всегда можно было опустить. Писатель, этим качеством не обладающий, пишет как глухонемой. Знает, что***о*** должен в данный момент сказать герой, но не чувствует слов — берет первые попавшиеся, стертые, казенные.

Как гармонична и точна фраза в русской классике XIX века!

— Вероятно, внимание писателя к классике порождается и его стремлением к тому, чтобы видеть мир именно своими глазами, воплощать его в своем слове.

В предисловии к собранию сочинений Бунина А. Твардовский писал о его творческом опыте, который «не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма». «То же, — заметил далее А. Твардовский, — можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени».

Согласны ли вы с этим замечанием А. Твардовского?

— Бунин после большого перерыва был издан у нас в 1956 году. Тогда я и прочел его впервые. Может быть, и не было бы такого потрясения, если бы лет за десять до этого не побывал летом в деревне, на севере Кировской области, где влюбился в эти стародавние избушки. Был я в ту пору двадцатилетним

музыкантом и повлекся туда, обуреваемый охотничьей страстью. Вспоминаю, как я ходил-бродил там один с ружьем — наивный, юный, робкий. Никакого во мне неверия тогда не было, была только светлая юношеская вера в будущее (несколько лет спустя я от имени того арбатского мальчика и написал рассказ «Голубое и зеленое»).

Помню, как увидел я идущего по пашне мужика — с коробом на левом боку, с ремнем через правое плечо, — который бросал зерно так, что оно билось о край короба и рассыпалось веером. Мерно шагал он, и в шаг — вжик, вжик — летело зерно... По радио, в фильмах тогда все пели про комбайны, технику и так далее. А тут идет мужик в портках и босиком (ведь то был, кажется, 1947 год).

Об экономических проблемах сельского хозяйства я тогда не думал. И тем более я не думал, что стану писателем. Но мне захотелось внимательнее присмотреться к человеку с коробом. И вот когда десять лет спустя я стал читать Бунина, мне все виделся этот босой мужик, серые избы, слышался вкус хлеба с мякиной.

Да, когда на меня обрушился Бунин с его ястребиным видением человека и природы, я просто испугался. И было чего испугаться! Он и то, о чем я бессонными студенческими литинститутскими ночами столько думал, волшебно совпало. Вот вам истоки этого влияния.

— Вы говорите о повлиявшем на вас бунинском «видении». В свое время критика находила в ваших произведениях влияние и Чехова. Но не мешала ли вам порой сила любви к учителям? Не возникало ли иногда желание наоборот в чем-то оттолкнуться от них?

— Чехов не «мешал» никогда. Он вошел в мою жизнь, как говорится, с младых ногтей, вместе с Толстым. Знакомство с ними, когда я не помышлял еще о писательстве, было плавным и как бы не обязательным... Когда же я стал расти в литератора, только-только расправил крылышки, по мне и ударил Бунин. Резко, внезапно, неестественно сильно. Недаром в ту пору Катаев говорил пораженно, скольких молодых робких талантов сгубил Бунин: как начали они писать под него, так и не выбрались потом.

Конечно, я подвергся самому откровенному влиянию, и несколько моих рассказов — ну, например, «Старики» — написаны явно в бунинской манере. Но вот что мне обидно: когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последующие мои вещи написаны вообще вне этого влияния), мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин, Бунин, Бунин... (Ну разве «Осень в дубовых лесах» — Бунин?)

— В произведении любого современного писателя можно найти влияние той или иной традиции, каким бы нетрадиционным оно ни казалось. Но, наверное, нельзя увидеть современную жизнь строго по-бунински, по-чеховски и так далее, не впадая в противоречие с самой жизнью, предлагающей писателю бесконечное количество тем, которые требуют нового осмысления. Если говорить о таком качестве произведения, как «современность», то какую роль, на ваш взгляд, играет здесь современность самой темы?

— Художник всегда пишет о главном в жизни человека. Когда писатель говорит: я пишу о строительстве водонасосной станции, — жалко и его, и читателя. Это ведь задача в первую очередь газетного репортера, очеркиста. Если писатель ориентируется только на тему, на материал, книга устаревает быстро. Была в свое время очень известная писательница, темой владела, не халтурила. Но каждый раз целью ее было «попасть в точку», выбрать актуальную тему. Реакция читателя была непосредственно бурной, но стоило измениться жизненной ситуации, как вещи ее становилось малоинтересным читать. Другие стали колхозники, другие жизненные проблемы, другие экономические условия. Скучно читать: МТС давно нет и проблемы не осталось. Сейчас вы мне возразите: а Овечкин?

Он, конечно, истинный писатель. Но перечитайте его очерки — как многое с той поры переменилось! Заслуга Овечкина прежде всего в том, что он первый стал честно, остро, проблемно писать о состоянии сельского хозяйства, но сама его критика, мне кажется, сейчас уже не представляет особого интереса...

Думаю, что задача литературы — изображать именно душевные движения человека, причем главные, а не мелочные. Потому до сих пор для нашей литературы главная фигура Лев Толстой. Дворянство, помещики, крепостное право — все это ушло, а читаешь с прежним наслаждением, как сто лет назад. Не ушли описанные им движения души. Толстой современен.

— Мы ведем речь о темах, действительно **важных**, понимаемых не конъюнктурно и решаемых художественно выразительно. В таких случаях остроактуальное и долговременное неразделимы... Ну, а кто особенно интересен из современных наших писателей?

— Трудно ответить. Я несколько отстал от журнальной литературы за последние годы и не читал многих новых книг. Так сложилось, что 340 дней в году я живу на даче в Абрамцеве, анахоретом. Грустновато, но я нахожу отраду в одиночестве. Одиночество тяжело, когда не о чем думать. Если есть о чем, то оно только помогает.

Вспоминаю свою молодость и бесконечные наши разговоры в Доме литераторов. Говорили, спорили, а как мало осталось в памяти! Основное, что осталось: как читали стихи. Я получал от этого не только душевное, но и слуховое наслаждение. Прекрасные голоса читающих, богатство оттенков и тембров — от шепота до гула. У меня есть полурассказ-полуочерк, — сам-то я считаю его рассказом, хотя писал как очерк, — «Долгие крики» (стихотворение того же названия есть и у Евтушенко), о том, как на северном перевозе мы кричали по очереди, чтобы нас услышали.

— Это что, продолжение классической темы столичного витийства и тишины во глубине России?

— Нет, я в данном случае имею в виду мощь голоса. И то, как теперь вспоминается мне наша молодость.

Конечно, и наши споры были не праздными. Случались у меня в молодости и прекрасные встречи, когда я молчал и восхищенно слушал. На всю жизнь в памяти беседы с Твардовским, он говорил о литературе по-народному, поражал внезапными оборотами, сравнениями. Доводилось мне знать Светлова. Застал я еще и Юрия Олешу...

Потом вышла его книга «Ни дня без строчки», и, честно говоря, мне было больно ее читать. Видно, как художник страшно хочет написать просто рассказ, просто повесть, но вынужден записывать образы, метафоры...

Это поэт может писать даже за столом в кафе. Мне Винокуров говорил, что письменный стол ему нужен, чтобы *записать* стихотворение, а сочиняет он его, гуляя. А прозаик садится за стол и чем дольше сидит, тем больше и лучше пишет.

— Обязательно? А неужели вы никогда не писали залпом?

— Пожалуй, редко, но бывало. Так я написал половину повести «Разлучение душ» — повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год. Писал я ее влюбленный, в разлуке, в Крыму. Писал дней шесть, потом сорвался, уехал в Москву, так и не кончил... Действие происходит в Кракове и в Закопане. В 1963 году, когда я был в Варшаве, мне рассказали о каком-то теологическом «предсказании», что, мол, надо ждать конца света 13 февраля 1963 года. В своей повести я использовал это как условный прием, перенес в нее ту атмосферу, — герой бессонной ночью подводит итоги своей жизни.

— Эта повесть, кажется, еще не опубликована?

— Да вот все никак не окончу. Я вообще с некоторой боязнью отрываю от себя написанные вещи. Часто звонят мне из одного журнала, из другого. «Нет, — думаю, — это отдавать еще рано, пусть отлежится».

— А если говорить об уже опубликованных произведениях, — вы часто к ним возвращаетесь? Правите, доделываете, шлифуете?

— Я никогда не создаю новых редакций, вариантов уже напечатанного, ибо этому все равно не будет конца. Доведу, как мне будет казаться, до блеска, а через год-два попадется на глаза — и снова решу, что надо переписывать. Но не править же всю жизнь!

— Рассказ появился... И пошли оценки, мнения, замечания, наверное, и советы — друзей, редакторов, критиков. Как вы ко всему этому относитесь?

— Друзья... Судя по надписям, которые они делают мне на своих книжках, рассказы мои им весьма нравятся. Редакторы? Если вещь принята, никаких замечаний не делают. А критики, хоть они и редко теперь обо мне пишут, тоже сменили гнев на милость, так что грех жаловаться.

— И все же: чего вы ждете от критики?

— Кто ж его знает, чего от нее ждать? Тут уж какой критик попадется. Это во-первых. А во-вторых, как правило, если критик ограничен площадью, то трудно ему и развернуться, поневоле скомкаешь, читателя, может быть, и заинтересуешь, а автору-то не откроешь ничего.

Вообще же, на мой взгляд, наиболее плодотворна такая критика, когда произведение рассматривается как часть общественной жизни, как выражение сознания общества, а не просто — хорошо ли, плохо ли написано, удался ли образ, нет ли...

— Представляете ли вы себе своего читателя?

— Не представляю. Никогда не видал ни в электричке, ни в поездах, ни в читальнях, чтобы кто-нибудь читал мои книги. И вообще что-то странное происходит с моими книгами, их как будто и в помине не было.

Я участвовал в нескольких литературных декадах, ну и, как правило, книжные базары, распродажа. К моим коллегам подходят за автографами, даже толпятся вокруг, а я один как перст, будто все мною изданное проваливается куда-то.

— Вы говорили о компаниях прошлых лет. Что-то, наверное, ваших ровесников объединяло...

— Климат был общий.

Я учился тогда в Литературном институте. Пришел туда человеком, прямо скажем, малограмотным. Тогда такие были условия жизни — военные и послевоенные трудности, забота о хлебе, одеже. Интересы упирались вот во что: обменяют ли такие-то талоны на такие-то продукты. Второе: когда я занимался музыкой, то главным считал не культуру музыканта, а технику, то

есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо б — 8 часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше...

Словом, мое занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне.

В юности я любил шляться по Арбату. Друг у друга мы тогда не собирались, как сейчас: квартир отдельных не было, дач. Коммуналки, где в комнате — по семье. Вот мы и бродили...

Мы считали, что мы — лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей Родины, но и в «столице Москвы» — на Арбате. Мы друг друга называли земляками.

Раньше еще существовало целое понятие «двор», теперь его нет. Мой десятилетний сын, живущий в высоченном новом доме, в своем дворе никого не знает.

— При словах «Арбат», «двор» сразу же вспоминаешь песни Булата Окуджавы. Многие из них именно об этих уходящих понятиях нашего двора, нашей улицы. Когда-то говорили, что песни Булата Окуджавы — однодневки. И вы утверждали в нашем разговоре, что если явление, лежащее в основе литературного произведения, преходяще, его со временем становится скучно читать.

Как же по-вашему: долговечна поэзия Окуджавы? Или нет?

— Долговечна, поскольку за этими ушедшими реалиями у Окуджавы всегда стоит нечто большее. Судьба поколения... Да и дворов в Москве еще весьма много. Ну да разве дело в этом?..

Помню, как Окуджава только-только начинал...

Перед вами человек, который один из первых услышал его едва ли не самую первую песню «Девочка плачет...». Помню, как я случайно встретил Вознесенского, и тот, зная, что я бывший музыкант, сказал мне: «Появился изумительный певец. Жаль, у меня нет слуха — я бы тебе напел...»

Помню, чуть позже, большой дом на Садовом кольце, поздняя компания. Окуджава взял гитару...

Потом всю ночь бродили по улицам, по арбатским переулкам. Чудесная огромная луна, мы молодые, и сколько перед нами открывалось тогда... 1959 год.

Господи, как я люблю Арбат! Когда я из своей коммуналки переехал в Бескудниково, то понял, что Арбат — это как бы особый город, даже население иное.

Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где «Зоомагазин». Удивляюсь сейчас многотерпению моих соседей: каждый божий день играл я на контрабасе. К счастью, это не скрипка, звук глухой — и не жаловались. Понимали, что человек

«учится музыке». Кстати, в нашем дворе жил Рихтер со своей женой Ниной Дорлиак. И когда летом, с открытыми окнами, он играл на рояле, а она пела, я бросал все и слушал. Правда, тогда я не знал еще, что он — Рихтер.

— А все-таки: что толкнуло вас к писательству? Была ли для вас тяга к литературе желанием высказать нечто конкретное или это была страсть писать «вообще»?

— Если вам это очень интересно, скажу. Я стал писателем, потому что был — заикой.

Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся, дико страдал. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось.

— Вот интересно: ваша любимая атмосфера — арбатская. А рассказов о ней у вас раз-два — и обчелся. Критики склонны причислять вас скорее даже к «деревенщикам»: странник, Манька, старуха Марфа...

— О городе я зато начинаю писать теперь. А тогда все получалось по контрасту.

Так сложилось, что в детстве я никогда далеко не уезжал, жили мы плохо, трудно. Потом война — не до поездок было. Потом — учился, учился. Некогда разъезжать...

Во время студенческих каникул, в 1956 году, я поехал на Север. И это было огромное для меня впечатление. До этого я очень долго носил свои рассказы в журнал «Знамя», получая отказ за отказом. Нет, не то чтобы рассказы были плохие (все они потом вышли в свет), а, знаете, «настроение не то» и прочее. И так я им надоел, да и неудобно, наверное, стало, что как бы в виде «компенсации» меня от журнала решили послать в командировку, чтобы, что называется, «приблизить к жизни». Предложили выбрать любой край Советского Союза. А у меня уже сложилась такая, несколько умозрительная, схема. С одной стороны, давно хотелось написать очерк, с другой — я в ту пору очень увлекался Пришвиным, его, в частности, одной из лучших вещей «За волшебным колобком». И вот, думаю, поеду-ка я по следам Михаила Михайловича и погляжу, что осталось, что изменилось. Ведь интересно: он там путешествовал в 1906 году, а я ровно через пятьдесят лет.

Ну и махнул я туда.

— Так зародился «Северный дневник»?

— Нет, это потом, позднее. «Северный дневник» я решил писать в году 60-м. А первыми рассказами о Севере были, кажется, «Никишкины тайны», «Манька»...

Как москвича, никогда никуда не выезжавшего, Север меня просто-напросто покорил. Белое море. Эти деревни, ни на какие

деревни на свете не похожие. Люди здесь жили крепко. Я ввел в «Северный дневник» экономические данные (может быть, даже в ущерб художественности, но все равно для будущего историка интересно) : кто сколько зарабатывает и так далее. Большинство наших колхозников в 50-е годы получали трудодни. А тут — деньги, и хорошие деньги. Ловили и сдавали государству рыбу...

Что поразило еще? Быт необыкновенный. Избы двухэтажные. Представьте, там не было вообще замков. Если кто-то уходил в море — избу он не запирал. Ставил палку к двери, — значит, хозяев дома нет, и никто не заходил. Помню, надо мне было добираться берегом из села Зимняя Золотица в Архангельск. Разговаривая с одной старушкой, я спросил ее: «Как же я один доберусь? Безопасно ли?» Она мне отвечает: «Я вот уже восемьдесят лет на Севере живу, и ни одного случая не было, чтобы отняли у кого что...» Патриархальный — но не в плохом, а в хорошем смысле слова — быт. Часто я там ночевал по избам, и, если лез в карман: сколько, мол, с меня? — очень удивлялись, обижались.

Мне казалось, что я был едва ли не первым странствующим человеком на Белом море. Это сейчас путешествовать стало модно... Я тогда за полтора месяца не встретил там ни одного приезжего.

В одной избе я — опять же старухе — сказал, что я литератор (слово «писатель» по отношению к себе употреблять было неловко). А она мне говорит: «Была у меня тут одна, тоже литературой занималась». У меня сердце упало, обскакал, думаю, меня кто-то! Оказалось: то была исследовательница Севера Озаровская и речь шла о 1924 годе.

Поразили меня северная природа, климат, белые ночи и совершенно особые серебристые облака, высочайшие, светящиеся жемчужным светом. Знаете, белые ночи, они ведь даже психику человека меняют. Там маленькие дети бегают по улицам до часу, до двух ночи.

В общем, заболел я Севером и стал ездить туда часто.

— Чем вы объясняете вспыхнувшую в те годы у ваших литературных сверстников любовь к странствиям, путешествиям, поездкам? Должно быть, не только модой?

— В ту пору начали возводиться стройки, Братская ГЭС, поднимали целину. Туда и поехали все мои друзья. Великие стройки были действительно веянием времени. И еще одна причина: тогда был в большом почете среди нас Хемингуэй, который, как известно, часто писал от первого лица: он и путешественник, и охотник, и рыбак, и корреспондент. «Географически» богатая личность. И этот хемингуэевский

настрой («зараза» — слово грубое) дал *тонус* многим нашим писателям, находившимся под его влиянием, и вообще много хорошего. Страна-то у нас вон какая огромная: тут тебе и экзотика, и социалистическое строительство, — и все побежали: чем дальше, тем лучше.

Вот и я побежал...

— Вы вспомнили Хемингуэя. Теперь, когда повальная мода на этого писателя прошла, некоторые критики склонны сводить его значение только к тому, что принесла и унесла мода. То есть к манере: диалог с подтекстом, рубленая фраза, культивирование «хемингуэевских» качеств личности. Что же для вас в его творчестве плодотворно и сейчас?

— Подтекст и прочее («Старику снились львы» — как пароль!) — это для нашего брата, писателя. А мода на Хемингуэя коренилась в другом и для нас, и вообще для читателя. Хемингуэй был и остается антифашистом, человеком, ненавидевшим войну, писателем, давшим всем нам незабываемые картины Европы военной и послевоенной, республиканской Испании. Он был писатель не просто хорошо писавший, а хорошо живший.

— В статьях последнего времени критика почти единодушно причисляет вас к зачинателям деревенской прозы. Согласитесь, довольно парадоксальный путь: к деревне — через Арбат и Хемингуэя!

— Хемингуэй повлиял на меня не стилистически — он повлиял на меня нравственно. Его *честность*, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, — вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя.

— Чем бы вы объяснили такую вашу привязанность к старикам и старухам? Это ведь ныне излюбленные образы в нашей прозе.

— Старики — то, что меня на Севере тоже изумило.

Учтите, что двадцать лет назад это были другие старики, чем сейчас. Нынешние уже «моложе». А тогда я имел возможность беседовать с людьми, которые родились в 70 — 80-е годы прошлого столетия. То есть они полжизни прожили до революции.

Как хорошо помнили они и песни, и сказки! Они помнили время, для нас уже легендарное. Смотрю сейчас на ваш магнитофон, и сердце слезами обливается: если б он у меня был в те годы! Сколько бы я за этими стариками записал! А потом лучшее бы обработал, и «Северный дневник» мой был бы куда подробнее, пристальнее. Ведь когда разговариваешь с человеком,

записывать в блокнот не всегда удобно, да и не поспеешь. Манера-то говорить у каждого своя. А был бы магнитофон... В общем, упущено много.

— По-видимому, многие герои «Северного дневника» — это реальные люди, за которыми вы записывали?

— Нет, как правило, они «придуманные». То есть встречались мне, конечно, чем-то похожие типы, — взял одного, другого, третьего и слепил в уме... Вообще писатель никогда ничего не выдумывает: в любом замысле так или иначе трансформируется живая жизнь.

— То есть сперва появился очерк «Северный дневник», а потом вы уже часто пользовались лишь формой очерка, писали рассказы, только имитирующие записки очевидца, путешественника. Вы следовали каким-то жанровым образцам, создавая «Северный дневник»? Почему вам показалось необходимым писать весь его от первого лица?

— Ну, не в третьем же лице писать о своих странствиях? Вообразите: «Вышел из карбаса молодой высокий симпатичный человек с рюкзаком, в плаще «Дружба». «Здравствуйте», — говорит...».

— Отмеченная критикой связь ваших рассказов с русской классической жанровой традицией, — ощущаете ли вы ее сами? Что вы думаете о роли сюжета в рассказе-характере, рассказе-настроении (в их отличии от зарубежной сюжетной новеллы)?

— Фабульность, занимательность, по-моему, чужда русскому рассказу (за исключением, может быть, «Повестей Белкина»), — попробуйте пересказать, например, содержание «Дома с мезонином». Ну, а сюжет — как же без сюжета! Герой, как правило, покидает страницы рассказа иным, изменившимся по сравнению с тем, каким он появился. Вообще же придумывать сюжет для меня всегда намного труднее, чем писать.

— Внутри каждого вашего сборника обычно ощущается единство. Похоже, что рассказы образуют цикл. Взять хотя бы вашу последнюю книгу «Во сне ты горько плакал». Очевидно, за таким построением стоят какие-то осознанные принципы?

— Ну, единства-то, на мой взгляд, нет совсем. Какое же единство, когда я пробовал писать так и сяк за два десятка лет. «Никишкины тайны» — нечто сказовое: чуть не в каждой фразе инверсии; «Голубое и зеленое» — исповедь инфантильного городского юноши; «Некрасивая» — «жестокий» рассказ, и уж совсем по-новому написан «Во сне ты горько плакал».

— Юрий Павлович, а как вообще возникает у вас замысел того или иного рассказа?

— Вы хотите, чтобы я говорил конкретно? Давайте возьмем

книгу «Во сне ты горько плакал» и посмотрим прямо по оглавлению.

«На полустанке». Этот рассказ возник из воспоминаний о крошечной, заброшенной станции на севере Кировской области, которую я запомнил еще с тех пор, когда студентом Гнесинского училища, запасшись нотной бумагой, ездил записывать песни. Рассказ «Вон бежит собака» начался с названия. Давным-давно, стоя у окна со своим знакомым, я услышал простую его фразу: «Вон бежит собака!». Был в ней какой-то ритм, застрявший во мне и лишь через некоторое время всплывший и вытянувший за собой замысел. И еще: ехал я на автобусе в Псков, ехал всю ночь, очень мучился, не спал, ноги нельзя было вытянуть. Ну, а потом муки позабылись, а счастье ночной дороги осталось.

История «Кабиасов» сложнее. В 1954 году я впервые попал на мамину родину. Вот где страшно сохранилась память о войне — сожженные, вообще стертые с лица земли деревни. Место, где я жил, было в пятнадцати километрах от Сычевки, куда мне приходила корреспонденция до востребования. И я часто совершал такие прогулки: шел на почту, получал письма, там же отвечал на них, — и обратно. Однажды я возвращался очень поздно по едва белеющей тропе, и меня вдруг охватил неизъяснимый страх. Да еще вдруг по распаханному полю мне наперерез в звездном свете стало двигаться темное пятно — не то человек, не то животное. Это ощущение запомнилось. Плюс: я знал одного самоуверенного мальчишку, заведующего клубом, которого и вывел в «Кабиасах». И еще: в детстве мать часто рассказывала мне сказку о кабиасах — самую страшную из тех, что я знал.

— А что это за сказка?

— Разве не знаете? Вышли кабиасы на опушку и запели: «Войдем в избушку, съедим старика и старушку». Услыхал это пес и залаял. Кабиасы убежали. Вышли старик со старухой на крыльцо, смотрят, там никого нет, значит, пес зря лаял. И они отрубили ему лапку. Когда на следующий день все повторилось, пес снова отогнал кабиасов, а старик со старухой отрубили ему хвост. На третий раз — отрубили ему голову. И тогда снова прибежали кабиасы и запели свою жуткую песенку. Ворвались в избушку — пса же в живых уже не было — и старика со старухой съели. (Еще страшнее только сказка, как медведь ходит вокруг избы, а его лапу старик со старухой варят в горшке.)

Вот так, из трех разных воспоминаний, и сложился замысел.

— А каково происхождение слова «кабиасы»?

— Точно не знаю. Вообще мать много рассказывала мне сказок в детстве. Язык у меня в основном от матери. Хотя отец

мой тоже из деревни (они оба со Смоленщины, и у меня, кстати, есть еще и такой неопубликованный рассказ: о том, как они познакомились), но, приехав до революции в город, он как-то очень быстро «пролетаризировался». А у мамы речь совсем крестьянская, с самобытными оборотами.

Между прочим, диалектизмы в произведениях, написанных о деревне, считаю явлением абсолютно естественным: а как же обойтись без них, если хочешь описать речь мужиков? Другое дело — авторская речь, ремарки. Тут язык должен быть чисто литературным (на мой взгляд, это правило нарушал, например, В. Шишков). Диалектизмы в создании образа персонажа необходимы, но самому лучше под это не подпадать. Единственный мой упрек астафьевской «Царь-рыбе», которую считаю великолепной книгой, — это злоупотребление диалектизмами в авторской речи...

Но вернемся к нашей теме. О каких еще рассказах вы хотели бы услышать?

— О «Трали-вали».

— Когда я с внуком Поленова странствовал по Оке, мы часто ночевали у бакенщиков, знакомство с которыми и легло в основу создания образа Егора. Когда я уже сел за этот рассказ, то все время почему-то крутил пластинку Рахманинова «Вокализ», работая над ним...

— А вы вспоминали тургеневских «Певцов», когда писали этот рассказ?

— Нет, прямой зависимости я тут не вижу. У меня — о другом. И еще, в рассказе «Трали-вали» я сделал попытку профессионально — как музыкант — описать песню (обычно тут сталкиваешься со штампами, — говорю это опять же как бывший музыкант, — типа: «Песня взмывала ввысь...» и т. д.)... Любопытная история предшествовала рассказу «Странник». Студентом был я на практике в Ростове. Кстати, — опять отвлекусь чуть в сторону, — руководил практикой Ефим Дорош, прекрасный писатель, которого я тогда как-то не оценил: длинноносый, темноглазый, довольно невеселый человек, он в ту пору казался мне чуть ли не стариком. А ему было всего лет сорок. То есть теперь я уже намного его старше. Между прочим, как раз он очень советовал мне писать очерки (сам он тогда работал над «Деревенским дневником»).

Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, что мое дело изучить Россию. И вот мы — в Ростове.

Товарищ мой — он сочинял стихи — писал (ведь практика же) поэму про раскопки, которые велись в окрестностях Ростова. Надо было отчитываться и мне. Пошел я в местную газету. «К

чему лежит ваша душа?» — спросили меня там. Я почему-то ответил: «К фельетону». Тогда из газеты меня направили в городской суд, оттуда послали в милицию, где можно было взять на выбор — убийство, грабительство, поджог. Но это же для фельетона не тема. И вот попалось мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой (а бородатые экземпляры тогда еще редко встречались в России) пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился (во спасение России). Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег. Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным.

Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал... Я написал о нем небольшой фельетон, который с удовольствием опубликовала маленькая районная газетка...

...А когда я вернулся в Москву, то вдруг померещилось мне в фигуре странника нечто большее, чем простой мелкий жулик, — наверное, и какая-то неясная мысль влекла его вдаль. И я написал рассказ.

— Когда вышел «Странник» и некоторые другие ваши рассказы, населенные подобными типами, кое-кто из критиков упрекал вас в любовании иррациональными, темными сторонами человеческой души. Но ведь вот что интересно: странник — пустой, недобрый, вороватый парень, а именно через его восприятие открывается нам мистерия полей, эти подбегающие к дороге березки, вообще красота мира. А видим мы ее глазами жулика.

Кстати, многим вашим героям (вспомним и Егора из «Тралевали») присуще смутное влечение к дороге. Вот и в «Северном дневнике» звучит гимн дороге, и произносите его — вы... Почему же вы так любите странников? Чем они близки вам?

— Да нет, у меня далеко не все рассказы о странниках. Если же говорить о значении дороги, странничества, то для писателя нет ничего лучше. Масса новых впечатлений, глядишь на все жадно, запоминаешь ярко, характеры встречаются такие, что хоть сейчас в рассказ! Только нужно ехать обязательно одному, а если трое-четверо, ничего не выйдет, — приедешь бог знает куда, сядешь с друзьями за самовар, — и опять пошли московские разговоры, будто и не уезжал. А одному скучно, когда один, тянет на люди, поговорить хочется, разузнать, как живут, — ведь каждый человек так глубок, так интересен.

Сказать по правде, я только теперь принимаюсь за городские рассказы, а раньше: поехал на Волгу, в Городец — написал два рассказа, поехал на Смоленщину — три, поехал на Оку — два, и так далее.

Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков!

Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь?

Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увезти с собой какую-нибудь милую подробность. Чтобы потом вспомнить.

Помню, как когда-то мы, молодые писатели, ездили в гости к Илье Григорьевичу Эренбургу, который писал тогда «Люди, годы, жизнь». Интереснейшая была встреча. У него оказался мой первый, и тогда единственный, сборник «На полустанке». Не припомню уже, что я написал на нем Эренбургу, а он в ответ написал мне на своей книге: «Все мы живем на полустанке». То есть в пути...

— Вы пишете и детские рассказы, и даже являетесь членом редколлегии журнала «Мурзилка». Однажды на страницах этого журнала вы выступили в очень необычном жанре — написали статью для самых маленьких о Лермонтове. И вот вышли ваши новые рассказы «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», построенные в форме обращения к маленькому сыну. Дети интересуют вас как собеседники, в обращении к которым вы испытываете особую потребность. Так ли это?

— Одно дело рассказы о *детях*, а другое — *для детей*. Вы упомянули «Мурзилку». Так вот, если иметь в виду самого маленького читателя, то рассказ для него должен быть предельно прост, лаконичен, интересен и поучителен. (Это, кстати, большое искусство; есть писатели, посвятившие этому свою жизнь.) Рассказ же о ребенке, написанный для взрослых, может быть сколь угодно сложен. Во всяком случае, свои рассказы о маленьком сыне («Свечечка» и «Во сне ты...») я бы ни за что не посмел предложить маленькому читателю.

— Юрий Павлович, в одном из ваших очерков, написанных более десяти лет назад, вы говорили о том, что мужество писателя — это мужество особого рода. Как бы вы сейчас могли развить эту мысль?

— Очень ярко помню свою фамилию под своим первым рассказом, — мало того, что я испытывал счастье, но в глубине души думал: «Вот кто-то прочтет, и мой рассказ на него подействует — и человек этот станет иным!» Я уж не говорю о той вульгаризаторской критике, отзвуки которой я еще застал и по которой выходило так: стоит только написать положительного героя — и сразу, немедленно весь народ пойдет по его стопам. А отрицательный герой обязательно деморализует общество. Если писатель изображал отрицательного героя, он, таким образом, «предоставлял трибуну врагу». Вот ведь до чего договаривались!

Но по мере того как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того как сам писал все больше и по мере того как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал не дописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках, думал: «Ну напишу я еще несколько десятков произведений, что изменится в мире? И для чего литература? И для чего тогда я сам?»

Что толку в моих писаниях, если вот даже вся страстная громовая проповедь Толстого никого ничему не научила? Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его «В чем моя вера?», его «Не могу молчать». А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, а должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом и — человека под этим небом?

С какой горечью писал Ленин о ничтожно малом круге читателей Толстого в неграмотной России! За границей же Толстого при его жизни — я имею в виду широкого читателя, — знали недостаточно. И тем не менее Толстой ведь едва не сделался основателем новой религии! Во всяком случае, если с Христом его не сравнивали, то с Буддой же равняли.

С тех пор, кажется, не стало в мире ни одного истинно грамотного человека, который не читал бы Толстого, не думал бы о нем и его учении. Что ж! Казалось бы, слова столь убедительные, столь разумные должны были бы переродить нас, и мы, по выражению Пушкина, должны бы, распри позабыв свои, объединиться для всеобщего благоденствия...

А между тем с перерывом в тридцать лет мы пережили две

страшные войны. Мало того, если сейчас на земле нет войны мировой, глобальной, то ни на минуту не прекращаются войны мелкие, и кто же сосчитал и считал ли кто, сколько сотен тысяч или сколько миллионов людей погибло в разных точках земного шара за все «мирные» годы после мировой войны? Дня не проходит, чтобы газеты, радио не приносили нам страшные вести об очередных зверствах расизма и фашизма разных мастей в Азии, в Африке, в Южной Америке... Господи, да Сахалин времен Чехова, столыпинская реакция детскими игрушками кажутся по сравнению с массовым уничтожением людей в XX веке!

Я говорил о Толстом. А разве один Толстой звал людей к добру? Нет, решительно нет ни одного писателя великого и невеликого, который бы не возвышал свой голос против зла. Читают ли этих писателей все нынешние политики, президенты, премьеры, адмиралы и генералы, все те, кто отдает приказы идти и убивать? Теперь, наверное, не читают, теперь им некогда, но ведь читали же. Читали, когда были студентами — а они все обязательно были! — всевозможных Сорбонн, Оксфордов и Гарвардов. Читали, и ничто не шевельнулось в их душах? Об исполнителях уж я и не говорю...

И вот перед писателем, относящимся к своему делу серьезно, нет-нет да и возникнет вопрос, вопрос гибельный: кому я пишу? зачем? и что толку в том, что книги мои переводятся на десятки языков, издаются в сотнях тысяч экземпляров?

Уныние охватывает тогда писателя, уныние надолго: что уж говорить обо мне, если такие властители дум ни на йоту не подвинули вперед человечество, если их Слово для людей вовсе не обязательно, а обязательны только слова приказов: «В атаку!», «Огонь!»

Значит, бросить все? Или наплевать на все и писать для денег, для «славы» (какая там слава!) или «для потомков»...

Но почему же мы тогда все пишем и пишем?

Да потому, что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота, — если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь и великой литературы?

Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни.

Хоть на день! — это ведь так много...

— Последний вопрос. Когда-то вы входили в «обойму» молодых писателей. Критика долго не могла от этого отвыкнуть.

Вас и хвалили, и ругали, и воспитывали, все продолжая обращаться к вам как к молодому. Теперь ваше время давать советы. Что бы вы сказали нынешним молодым?

— Ни в коем случае не посылать свои произведения на отзыв маститым писателям. Не нужно козырять — такому-то понравилось... Пусть ходят сами по редакциям: волка ноги кормят. Я именно так и старался поступать. Это делает писателя закаленным и самостоятельным.

1979

notes

Примечания

1

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

2

Всесоюзный дом народного творчества.

3

Башли — деньги (слово из жаргона музыкантов).

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

5

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

7

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

«Простор», 1965, № 1.

«Смена», 1955 № 10.

10

Рукопись обрывается; конец рассказа не сохранился.

«Сельская молодежь», 1963, № 2

12

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

«Турист», 1966, № 7.

14

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

15

Опубликовано в журнале «Secolul 20» (1969, № 8). Обратный перевод с румынского Т. Н. Свешниковой.

16

См. журнальный вариант: «Турист», 1967, № 3.

«Новый мир», 1983, № 10.

18

Снасть для ловли рыбы типа вентеря.

«Литература и жизнь», 1959, 10 VI.

«Крестьянка», 1959, № 5.

21

«Литературная газета», 1959, 14 VII.

«Литературная газета», 1960, 3, III.

«Крестьянка», 1961, № 4.

«Московский литератор», 1961, 22 VII.

25

Анкета «Молодые — о себе» содержала следующие вопросы: 1. Какой жизненный опыт предшествовал началу Вашей литературной работы? Когда и где были опубликованы Ваши первые произведения? 2 Какие проблемы, характеры, конфликты современности Вы считаете актуальными? Как Вы изучаете жизнь, как собираете материал для своих произведений? 3. Как Вы понимаете долг писателя в формировании в людях новых, коммунистических качеств? 4. Какие традиции в классической и современной литературе близки Вам? Какие искания в области художественной формы представляются Вам наиболее перспективными? 5. Кто из писателей старшего поколения оказывал Вам творческую помощь, в какой форме она выражалась? 6. Ваши ближайшие творческие планы.

26

Название дано составителями. Ответ на анкету журнала «Вопросы литературы» 1964, № 10, к 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

А. Нурпеисов. Сумерки. М., 1966.

28

Предисловие к книге В. Лихоносова «Голоса в тишине» (1967).

29

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

О. *Кибитов.* Большие белые птицы. Горький, 1973.

31

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

Authors take side on Vietnam. Woolf C, Bagguley J., eds. London, 1967.

«Литературная газета», 1967, 27 XII.

34

Название дано составителями. Опубликовано в кн.: Литературное наследство. М.: Наука, 1973, т. 84, кн. 2, с. 369.

Подготовлено к публикации А. Ю. Казаковым и Т. М. Судник.

Воспоминания о Константине Паустовском. М., 1975.

37

Предисловие к книге Ф. Поленова «Долина Любосны» (Тула, 1968).

«Вопросы литературы», 1968, № 9.

«Литературная газета», 1973, 4. VII.

40

Беседа с корреспондентом «Литературной газеты» (1979, 21. XI).

41

Интервью журналу «Вопросы литературы» (1979, № 2).